ISSN 0130-3562

ЖУРНАЛ

Дон

10-12-2015

120 лет со дня рождения Сергея Есенина

ЖУРНАЛ ДОН ©

10-12-2015

Российский
ордена Дружбы народов
литературно-художественный
ежемесячный журнал

Ростов-на-Дону

ЖУРНАЛ ©
Дон
10-12-2015

Издаётся
с апреля 1925 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Евгений ЕВТУШЕНКО
НЕ ТЕРЯЙТЕ ОТЧАЯНЬЯ 3

Владимир АЛЕЙНИКОВ
СОХРАНЯЮТ ДЕРЕВЬЯ СИЛЫ 37

Юрий БЕЛИКОВ
РАННИЙ ВЫПЛЕСК ЛАВЫ.
Пётр Вегин. Об авторе.
Даже в яркие дни 122

Гарри ЛЕБЕДЕВ
Книга в журнале
ВРОВЕНЬ С НЕБА СИНЬЮ.
Виктор Петров. Об авторе
Богатяновская муза 148

МИНУВШЕЕ ОБЪЕМЛЕТ

Лев АННИНСКИЙ
ПОЛОНИНЫ КАРПАТ 166

ПРОЗА

Игорь ИЗБОРЦЕВ
СВАДЬБА.
ОГУРЕЧНЫЙ ТРАКТ. Рассказы 11

Вячеслав СУКАЧЁВ
СПЯЩИЙ В НОЖНАХ.
Роман. Окончание 49

Михаил Моргулис
ИЗАБЕЛЛА.
РЫЖИЙ ЧАРЛИ. Рассказы 135

ЭКСКУРС

Сергей КРИВОРОТОВ
ТЕНЬ ЛАТИНСКОГО КРЕСТА.
Католическая экспансия
на Нижней Волге 240

© Журнал Дон, 2015

Евгений ЕВТУШЕНКО

НЕ ТЕРЯЙТЕ ОТЧАЯНЬЯ

ПЕРЕСОЛЕННЫЙ МОСТ

В знаменитом фильме «Мост через реку Квай» (1957) пленные англичане строят мост вместе с охраняющими их японскими солдатами, хотя в тех и других борются противоречивые чувства.

Ещё больше поразили меня истории с авральным строительством моста в Лужниках и двух мостов на БАМе. Чтобы обогнать время, в бетон добавляют соль – и он затвердевает скорее, но «пересоленный» мост быстро теряет прочность.

Еще в 1964 году я задумал об этом повесть или даже роман в прозе и долго мучился. Только через полвека понял, что вместо пространной прозы достаточно короткой поэтической метафоры, заключающейся в самом техническом термине «пересоленный мост».

Так долго я не бился ни над одним замыслом.

Мост через реку Квай был рай,
без русского «Давай! Давай!»
для тех японцев с пленными,
без всаживаемых в мозги
гвоздей кремлёвских из Москвы, –
дат съездов или пленумов.

Не важно, что ты за солдат.
Мы были все солдаты дат,
стишки писали «датские»
и к датам строили мосты
порою дивной красоты,
но сроки были адские.

Для показушной быстроты
мы подсыпали соль в мосты
под пропаганду вральскую,
о партия, лишь о тебе,
о заварушке в Октябре,
забыв совсем Февральскую.

Мы строили мосты ко дням
шахтёра, физкультурника,
в честь гостя из страны Мням-Мням,
по морде видно – шкурника.

Мы, как угодно высшим лбам,
взрывали храм, мостили БАМ
по нашей стройморали.
Чтоб нам не накрутили хвост,
однажды даже целый мост
на новый разобрали.

Сам царь Никита в Лужники
проверить прибыл нужники
на личное струительство,
и нас приказ огрел, как плеть:
«Мост – к съезду сдать! Соль не жалеть!
Пора кончать строительство».

Один прохвост, другой прохвост, –
все так пересолили мост,
что ржавые уста моста,
лишь наступала темнота,
скрипели: «Совесть нечиста
твоя, святая простота.
Да, впрочем, так ли ты свята?

Я – пересоленный ваш мост.
Я полон внутренних корост.
И лишь не рабский – честный пот
своею солью мост спасёт,
а вот бахвальство всё снесёт.

Я столько раз вам скрежетал:
металл устал, бетон устал.
Но вновь льстецы и шустрецы,
как в пиво, сыпали сольцы.
Вы мост готовили под съезд?
Съезд сплыл. А соль опоры ест…»

А если соли чересчур,
что заклинанья: «Чур-чур-чур!» –
ведь это смерть всех арматур,
всех языков, и всех культур,
и всех искусств, и всех наук,
как рыжей ржавчины паук.

Когда владычествует ржа,
она не лучше мятежа,
и пересоленный наш мост –
как перессоренный погост.
Но если соли перехлёст,
ответ готов: как соль, он прост.

Вчера, сегодня и всегда:
соль – и спасенье, и беда.
Так, если власти власть слаба,
то не спасут её слова.
Но горе, если власть крута
и заржавела доброта.

А чем же мы себя спасём?
Тем, что есть мера, и во всём.
Хрустят все позвонки страны,
от соли в них искривлены.
Так распрямимся в полный рост –
как пересоленный наш мост!

1964– 2014

НЕ ТЕРЯЙТЕ ОТЧАЯНЬЯ

Ты напрасно на мать разобиделся,
Лёвушка-Гумилёвушка...
С нею встретясь на небе,
прости её,
благослови.
Как же не понимала
твоя золотая головушка
то, что если мы все по колено в крови,
то спасенье в любви.

В коммуналке,
где ныне музей петербургский Ахматовой,
твоей ревности жар,
что вполне объясним,
к человеку, который тебе не отец,
тебя, Лёвушка, знобко охватывал,
но вы схвачены были, как будто сообщники, с ним.

И расслышал и ты,
и дотошные энкавэдэшники,
наглый стук чьих сапог коммуналку шатнул,
вместо: «Вы не теряйте надежд» –
когда не было ни надеждинки,
«Не теряйте отчаянья!»
Пунин Ахматовой нежно шепнул.

И казалось, что всё уже с ними окончено
и как Блок предсказал,
что никто не вернётся назад,
и, забившись в уборную,
Пунина дочка выглядывала в окошечко,
когда их уводили по лестнице в дантовый ад.

А в дверях,
не теряя в униженности величавости,
встала Анна Андреевна,
окаменев,
научившаяся
так бесслёзно отчаиваться
чтоб себе не позволить
ни слабость,
ни гнев.

Ей везло на несчастья...
Она их притягивала.
Стала жизнь одиночкой
в такой многокамерной нашей стране.
Но прощальная фраза
пульсировала и вздрагивала:
«Не теряйте отчаянья!»
и повторялась во сне.

Есть надежды,
какие приравнены к выгодам.
Счастье скользкое – быть
оправдавшим надежды свои подлецом.
Но отчаянье, ставшее мужеством,
может стать выходом,
благороднейшим выходом,
а не концом.

Стихотворение написано после посещения петербургского музея Анны Ахматовой, находящегося в бывшей коммуналке, где Анна Андреевна жила в гражданском браке с историком-искусствоведом Н. Н. Пуниным (1888 – 1953), куда временами приезжал её сын Л. Гумилев (1912 – 1992).

4 августа 2014

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА

Любиночки – что за словечко...
На посиделках у крылечка
шепнула ты: «Смелее будь.
Зайди под кофту... Там как печка», –
и пригласила руку в грудь.

Медведь тряс цепью во дворе.
Изба встречала, скрипнув глухо.
«Я, коль сравнить с тобой, старуха.
Шестнадцать есть?» Набравшись духа,
я сдунул с губ небрежней пуха:
«Давно уж было… В январе...» –
и золотилась медовуха,
шипя в брезентовом ведре.

Как танцевали мои зубы
по краю острого ковша,
когда поверх овчинной шубы
я ждал тебя, любить спеша.

И ты сказала: «Отвернись»,
а я совсем не отвернулся
и от восторга задохнулся,
взмывая в ангельскую высь.

Ты пригрозила, вскинув ступку:
«Бесстыжий... Зыркать не моги!»,
и, сделав мне в душе зарубку,
легко переступила юбку,
и трусики, и сапоги,
став нежным ангелом тайги.

Давно вдова, а не девчонка,
белым-бела, лицом смугла,
меня раздела, как ребёнка,
рукой голодной помогла.
На пасеке в алтайской чаще
смущался я того, что гол,
но я в тебя, дрожа от счастья,
как во вселенную вошёл.

И стал впервые я мужчиной
на шубе возчицкой, овчинной.

Тебе с отвычки было больно –
пять лет назад был муж убит.
Закрыла ты глаза невольно,
его представив, может быть.

Был пчёлами твой лоб искусан.
Узнав, что мне пятнадцать лет,
упала ты перед Исусом
рыдая: «Мне прощенья нет...»

И он простил тебя, конечно,
за то, что ты, почти любя,
стекляшкой бедного колечка
в меня вцарапала себя.

И всею истовостью тела,
грудей нетроганно тугих
ты наперёд тогда хотела –
чтоб я любил тебя в других.

* * *

Реализм еще недоисчерпан,
но сварганить всё можно шутя
из любого чего-то и с чем-то,
как играющее дитя.

Не уверен я –
устоятся ли
слишком умственные инсталляции,
а вот радуги устоят.
Как? – секреты Господни таят.

Шар земной так набит черепами весь,
но природа в нём вечно нова,
потому что в ней неисчерпаемость,
ибо сам он себе голова.

Сохрани себя –
Божию классику, –
шар земной,
всех шаров шаровей,
где российскому кланяюсь кладезю
я, колодезный журавель!

* * *

Без Пушкина, но неразлучно.
Когда по нам стреляли кучно,
его убить в нас не смогли.
И белые стихи России –
они особенно красивы:
чуть-чуть по-пушкински смуглы.

Переделкино – г. Талса (Лос-Анджелес)

Игорь Изборцев

СВАДЬБА

Рассказ

Потому и казни всяческие принимаем от Бога и набеги врагов; по Божию повелению принимаем наказание за грехи наши.

Преподобный Нестор Летописец

Что тебе во всём мире, когда душа погибает?

Святитель Тихон Задонский

Ивана Васильевича никуда не приглашали. Лет десять уж, не меньше. Тогда-то гостем званым в последний раз и сидел… за поминальным столом. Бабу Нюшу, родственницу его дальнюю, провожали в путь всея земли. Царствия ей Небесного… Потом года три в деревне вообще никто обществом не собирался. В себя всё прийти не могли: затылки чесали да нули считали в новых деньгах. А уж как сосчитали – разом друг к дружке и охладели. Лёшка Дашев, крестник, женился, так про Ивана Васильевича – не последнего для Лёшки человека – вспомнить не захотели. Тогда он подумал: оплошность, мол, мало ли что бывает, за память, мол, зашло? Незваным явился, графин хрустальный принёс в подарок. Приняли, конечно, усадили в уголок, но посмотрели так неласково, что зарёкся Иван Васильевич впредь незваным ходить – себе дороже: глядишь, за воротник да и на холодок. Это ж раньше было: красному гостю – красное место… Теперь же – много едоков и без ваших дураков. Так-то…

Нынче, после Петра и Павла, затеяли Касмановы ладить сыну Федьке свадьбу. Дом Касмановых на холме в конце деревни – со всех сторон догляд, так что Иван Васильевич, собирая в палисаднике первую малину, видел, как с понедельника уж засуетилась у своего дома мать жениха Авдотья: колотила половики, одеяла, подушки, скоблила на скамейке под окном кастрюли да чугуны. Со среды начали подъезжать первые гости – которые

издалека; заставили улицу перед домом машинами, и сновали те туда-сюда – в посёлок да обратно – нагруженные сумками. Федька выставлял в окошко громкоговорители и врубал на всю катушку современную музыку, от которой и у куриц вяли уши, так что сыпались они горохом по сторонам от окон, а в саду под яблонями устраивали свадебные столы. «Что ж, – размышлял Иван Васильевич, пощипывая пегий стариковский ус, – умели поить-кормить – умейте и снарядить».

В четверг пахну́ло от дома Касмановых сдобным пироговым духом. Иван Васильевич глубоко вздохнул, вспоминая, как, бывало, и на его столе доходили на блюде под полотенцем пышнотелые расстегаи, начинённые творогом да грибами. Скора и умела на руку была его жена-покойница Анастасия по пирогам. Достаёт, бывало, из печи и приговаривает: «С пылу, с жару, кипит, шипит, чуть не говорит». Да уж, теперь и на поминки некому будет испечь… От печальных воспоминаний грудь переполнилась тягостной истомой. Манящее и будто бы что-то обещающее чувство увлекало его мысль к клубящейся на границе сознания радужной дымке… «Нет, нет там ничего, – дал себе задний ход Иван Васильевич, – однова безысходная стариковская грусть-тоска». Он резко встряхнулся, разгоняя наваждение… крякнул, поперхнулся и смачно чихнул, распугав с завалинки тучных сине-зелёных мух. А пригревшийся там же под июльскими лучами кот Калач, привыкший к стариковским немощам хозяина, и не шелохнулся – лишь лениво повёл в сторону бдящим треугольным ухом. «Это что ж, – рассердился на себя Иван Васильевич, – старые кости захотели в гости? Сиди уж на печи…»

Детская обида, однако, тонюсеньким голоском свербела в голове и целый день не давала успокоиться. «Был бы Алексей жив, первым меня пригласил бы, – изводился Иван Васильевич, – поди, уж не забыл бы…» Алексей Данилович, Авдотьин муж, погиб двенадцать лет назад: пилил дрова, да запнулся и упал грудью на циркулярную пилу. Поговаривали, что, дескать, сын Федька случайно полешко ему под ногу обронил, а тот и зашибся… Только тут – полный мрак, да и кто доискиваться будет? А смерть, одно слово, – жуткая, хотя и мгновенная, без мучений. Иные и тихо умирали, в постели, а какую муку несли через болезнь! Но суд Божий разбирать – пустое дело: каждому своя смерть, в свой срок – по делам да грехам… «Нет уж, – взял себя в узду Иван Васильевич, укладываясь спать, – без пирогов обойдусь – сухой краюхой; в русском брюхе, как говорится, и долото сгниёт. Да и какая это свадьба, если на то пошло? Если

в рассуждение войти, то свадьбы с Воздвижения ладятся до Филиппова поста. А нынче разгар сенокоса, по примете народной – нету счастья в таком браке. Не по-людски…» Иван Васильевич хмурился, понимая, что лукавит. «Ладно уж, – махнул рукой, – сенокос-то свой они, что говорить, справно доводят. Вон стогов сколько уж наметано – что кочек на болоте! А отцовские обычаи и заветы кто ж нынче соблюдает?»

«Сам-то? На себя посмотри… – Иван Васильевич нервно извивал ус в тонкую пегую нить, вслушиваясь в подсердечный укорливый голос совести: – Сам-то в Великий пост с женой расписывался и греха не боялся!» – «Какой там пост? – ворчливо ответствовал рассудочный оправдательный шепоток. – Это когда было? До поста ли тогда?» – «Пост – он всегда пост, так же как и неправда – всегда неправда». – «Да ну вас…» – Иван Васильевич взбил поудобнее ко сну подушку и погасил лампу, словно надеясь покровом темноты усыпить нелицеприятного подсердечного увещевателя. Не тут-то было: с совестью, как говорится, не разминуться…

Он долго по-стариковски ворочался, но угодить обременённым годами костям – дело непростое. Да и дому не спалось. Он скрипел половицами, ворочал рассохшимися потолочными досками, просыпая вниз чердачную труху. Комнату наполняли невнятные шепотки, вздохи, отголоски давно умерших или покинувших эти стены людей. Невесть в какие годы забытые здесь мысли бесцеремонно проникали в голову, и напрасно Иван Васильевич закрывался от них подушкой: они ещё сильнее язвили его утоптанные временем воспоминания, отрывая клочки из туманных образов и картинок… Вот он доказывает сыну, что в стране победившего социализма стыдно сомневаться в словах руководителей… снимает со стены вожжи и отхаживает худые мальчишеские плечи… А вот – закрывает грудью дверь матери и жене, собравшимся идти на ночную пасхальную службу: коммунизм, дескать, на дворе, а вы за подол вчерашнего дня уцепились… Слышит гармошку, наигрыш «скобаря»: «Жена мужа полюбила – в тюрьме место закупила…» Что-то горит, трещит и рушится…

Во сне Иван Васильевич увидел жену Анастасию Романовну: увидел, как сидит она за столом, выложив перед собой большие натруженные руки.

– Ваня, я пироги испекла, поешь, родимый, – говорит нараспев, словно причитает.

В центре стола – большое глиняное блюдо, на котором в прежние благословенные деньки доходили Настины пироги.

Расшитое красными цветами полотенце откинуто, и перед глазами – кучка сухих заплесневелых корок, источенных жуками. Иван Васильевич слышит возню за стеной в сенцах – кто-то чужой и враждебный шебуршится там, среди банок и кринок, хихикает и неопрятно чавкает…

– Я пироги испекла, поешь, – слышит он опять знакомый до боли голос и понимает, что не уберёг Настино угощение – проворонил, упустил.

– Сейчас, Настя, сейчас, я принесу, – шепчет он и пытается подняться, но чувствует, что сил нет – силы оставили его: вязкий, цепенящий члены страх сковал тело, сделал беспомощным, бесполезным…

Ему больно, стыдно за свою слабость, совесть не даёт ему покоя…

Иван Васильевич поднялся задолго до света, вышел на двор и посмотрел на ясную круторогую луну. «К суху и теплу, – решил, – дождю нынче не бывать». Да и в ухе правом звенело, а уж это у него самая верная примета к предстоящему жаркому дню. Сейчас же, за полночь, было ещё зябко, так что Иван Васильевич скоренько накинул на себя ватную телогрейку и отправился в сарайчик, в столярную мастерскую, где уж второй день обтёсывал бревнышки взамен прогнивших на мостке через садовый пруд.

Не спеша тюкал по дереву топориком, аккуратно, блюдя порядок, складывал в сторонку щепу: «Наперёд, – думал, – лесом едва ли удастся разжиться». Слышал он, что бор их сосновый да рощу собирается купить какой-то Кучумов – не иначе, татарин. А тогда за каждое брёвнышко плати втридорога. Куда ж тут с его пенсией? В соседнем районе, говорят, мужиков за порубку леса к деревьям наручниками цепляют. Плохо, конечно, брать чужое, но так уж повелось – леса соседские своими считать. Выходит, что ворам с рук сходит – за то воришек бьют? Да и что купит сейчас мужик, когда заработка на заплату для портов не хватает? Опять же, не по-людски это, не по-русски – с народом так обходиться. Давеча ездил он на карьер заброшенный за Изборск песочка в телегу накидать – на их суглинках-то песка сроду не водилось. Накидал, как говорится! Подбежал мужик с ружьём: не моги, мол, – частная собственность! «Какая собственность? С этого карьера уж двести лет вся округа песок берёт». – «Нет, и всё! Таперича выкуплен!» И кем? Каким-то польским паном Полубенским!

Вот те раз! Мало своих инородцев, так еще и паны с татарами в хозяева наши лезут. И что происходит? Чей недогляд?

Говорят, президент порядок наведёт. Что-то долго наводит, да и не в ту сторону, поди? Деревням их будто бы под снос судьбу определили: людишек по рукам и ногам повязали нищетой да бесправием, раздор промеж всех посеяли да зависть и раскидывают теперь по сторонам. Что приглянется – к себе подбирают, остальное – в выгребную яму. Выборы вот были. Приехали, привезли ящик выборный, протоколы. Говорят: ставьте здесь галочки. «А почему здесь? Какие ж это выборы?» – «Здесь, и всё! А не то совсем худо будет – последнего, мол, лишитесь…»

Вот и выходит, что за Кучумовых и Полубенских мы голосовали. Они же хозяевами новыми после выборов пришли? Им ведь деньги дали, чтоб лес наш да землю покупать? Мужику-то за труд от зари до зари копейку жалеют, а им, значит, просто так миллионы – нате вам? Иван Васильевич тяжело вздохнул и шибче затюкал топором…

Как рассвело, вернулся в дом, вскипятил воду и, благословясь, сел чаевать. Пил внакладку, обмакивая кусочки сахара в точащую благоухания полевых трав обжигающе горячую янтарную жидкость. С расстановкой делал маленькие глоточки, стараясь подольше задержать ощущение того, как истаивает во рту набухшая луговыми ароматами сахарная плоть. Со стены, с портрета в деревянной перламутровой рамочке, укоризненно смотрела на него незабвенная Анастасия Романовна. Строгие глаза её будто бы обличали: экий ты угодник чреву, Иван! Оставила тебя на минуту одного, а ты и дела другого не знаешь, как чуть свет сластям предаваться!

– Прости, Анастасья, – повинился Иван Васильевич, – тебе-то прохлаждаться да бока греть вдосталь не довелось – иной тебе вышел Божий суд, а я уж за тебя тут бока погрею, пока Господь обновя нас не соединит. Я уж, прости, обленился совсем, больше всё на печи лежу. Нынче вон свадьба у Федьки Авдотьиного. Помнишь, как нянчила его на руках? Наш-то Федор-пострел уж на девок заглядывался, а их Федька еще в пеленки писал. А ты, чуть минута свободная, к Авдотье бежать и ну мальца её пестовать – вот ведь радость тебе была! Как за своих обоих, тех, что Господь прибрал, – ну, тут, опять же, Божий суд! – Иван Васильевич перевернул пустую чашку вверх дном и накрыл её ладонью. – Так что свадьба у любимца твоего Федьки... – Иван Васильевич опустил вниз глаза и покачал головой. – Только я не пойду, прости, так уж вышло. А поглядеть – погляжу и тебе потом расскажу. Ну, да ладно, – вздохнул он тяжело, вставая, – пока роса, травку под окнами обкошу, а то пред людьми стыдно.

С утра пораньше у дома Касмановых загремела музыка.

«Послушай, всё в твоих руках... Всё в твоих руках, всё в твоих руках…» – занудливо мямлил не понять чей – то ли мужской, то ли женский? – голос.

Иван Васильевич, подкашивавший дотоле траву у крыльца, остановился и в недоумении пожал плечами. И что у них за песни? Никакого тебе смысла… Когда же очередной певец под грохот и вой инструментов шкодливо затянул на всю Ивановскую: «Всё равно – СПИД или рак – / Грядущее – пепел, прошлое – мрак! / Срази меня гром, если это не так…», – Иван Васильевич плюнул и вовсе отставил косу. Откуда ж, из какой выгребной ямы берут они такие слова? Он вышел к палисаднику, посмотрел в сторону дома Касмановых. Из окон нараспашку гремела музыка, мужики покуривали в теньке, женщины сновали туда-сюда с кастрюлями и стопками тарелок, молодежь суетилась у машин, наряжая их лентами и шарами. «Эко вас, – скривил губы Иван Васильевич, – и старые за молодыми вдогон! Забыли вы, бедные, как по-нашему петь, по-русски! Наши-то песни из земли родной происходят!» Первая мать, как говорят, – Пресвятая Богородица, вторая – мать сыра земля: из неё-то и хлебушек родится, и песня сердечная – о сторонушке родимой, о судьбе и горькой долюшке, об удали богатырской – как цветок полевой, из неё прорастает и радует душу. А это что ж такое: «Грядущее – пепел, прошлое – мрак! Срази меня гром, если это не так…»? Срам один и морока для головы.

Иван Васильевич двинулся было во двор, но вдруг передумал; размышляя, постоял несколько минут неподвижно, потом махнул рукой и вышел на дорогу. По правую её сторону, ближе к дому Касмановых, с поля наползал густой кустарник – молодая поросль ивняка. Туда и засеменил Иван Васильевич, коря себя за любопытство и сторожась, как бы кто не приметил. «Глазком лишь одним посмотрю, чтобы Анастасье доложить, – оправдывал он постыдную свою слабость пред взявшим над ним верх пытливым духом, – оттуда ведь сподручней будет, а я лишь одним глазком взгляну, как и что, – и домой». Не успел толком обосноваться на месте, как по дороге мимо него проследовала шумная ватажка деревенских во главе с шебутной бабёнкой Шуркой Скуратовой, прозванной за неистовый нрав Малютихой. Была она заводилой всех деревенских неурядиц. Так уж повелось: где Малютиха во двор проберётся, там, глядишь, пьянка и свара – жди беды. Муж её покойный Григорий Лукьянович – тот вообще был звериного норова человек: косая сажень, взгляд ис-

подлобья – того и гляди, в горло вцепится. Тиранил он мужиков нещадно, прислуживая нынешнему колхозному хозяину Девлету Гирееву: чуть что – кулаком под сопатку или за шиворот да об землю. Как пёс, хозяина своего сторожил, да и было за что – Гиреев, говорят, ему исправно платил за каждый лесовоз, что в Прибалтику отправлял. «Вот тебе и колхозное добро! Нас, значит, за бревно сухостойное – в наручники, а с него и за десять гектар строевого леса спроса нет? Как в пословице народной: шмель проскочит, а муха увязнет». Но недавно настиг их обоих Божий суд: Гиреев литовца какого-то обманул, а тот возьми да и приедь для разбора. Григория Лукьяновича наповал из ружья уложил, а Гирееву ногу отстрелил – не пришёл, видно, тому еще его срок помирать. Без ноги нынче ковыляет хозяин, вроде бы как и аппетиты поумерил. Только надолго ли? А Малютиха, как обезмужела, совсем с катушек сошла – и при муже-то удержу не знала, а тут вообще – как бес в неё вошёл. Одним словом, не баба, а смута и дебош. И никакая лихоманка её не берет! Сегодня же для неё первый день – велия радость! В кои-то веки свадьба на деревне – пей, гуляй, веселись! А приглашения ей за ненадобностью: сама своё возьмет.

Иван Васильевич наблюдал, как, вздымая пыль, тянут за собой мётлами по дороге Малютихины сотоварищи Васька Грязный да Петька Заяц свежесрубленные молодые берёзки. «Заставу будут ставить на пути, – усмехнулся Иван Васильевич, – думают, много им подадут. А торбу-то какую прихватили! Знать, прибытка большого ждут. Вот они – дураки наши, без пастуха бродят! Пьём, мол, да людей бьём: знай наших, поминай своих!» Иван Васильевич прищурился, разглядывая – кто там ещё увязался за Малютихой? Вот ведь неймётся! Сколько ж времени пройдет, пока жених за молодухой съездит, пока распишутся они да повенчаются? Это ж только на обратном пути свадебный поезд у заставы тормозить будут да выкуп брать за проезд? Ну да – полдня пройдёт. «Погодь, – Иван Васильевич растерянно почесал затылок, – а как же мне-то выбираться? Ведь заметят, шельмецы, на смех поднимут: вот, дескать, старый дед умом рехнулся – в кусты запихнулся! От вас-де, старых дураков, молодым житья нет! Так что ж, выходит, я кругом дурак? Нет, – зарёкся он, – буду сидеть, пока не отойдут куда. На смех выставляться – тут уж выкусите!»

Молодежь у дома Касмановых резвилась. Кто-то репетировал будущее застолье и зычно выкрикивал:

– Горько! Горько!

«Как-то там мои?» – подумал Иван Васильевич.

– Олька! – у кустов, прямо под его носом, остановился ребятёнок и восторженно заблажил: – Олька! Олька!

«Это «горько» значит по-евонному», – сообразил Иван Васильевич. Он чуть тряхнул ветками и глухо заворчал медведем. Сквозь зелёное решето листвы видел, как ребёнок разом застыл, насторожился и вдруг, взвизгнув, замельтешил пятками по дороге.

– Медведя! Медведя!

«Хоть это-то умеет сказать, – удовлетворённо перевёл дух Иван Васильевич, – а то заладил своё «олька»!»

Он попытался представить, как выглядят сейчас его внуки, которых три года уж не видел. Двое их у сына Фёдора – Боря и Вася. «Поди, школу закончили?» Заныло сердце: забыли совсем. «Неужели не тянет к родному дому, к колыбели своей? Федька ведь вырос здесь и после армии четыре года отжил, а как уехал к шуринам Даниле и Никите в Тулу, на завод оружейный, – большими заработками поманился – год от года всё реже и реже нос казать стал. Теперь уж и вовсе позабыл родимую сторону. Федька-то ладно – он уж сам мужик немолодой, а вот внучат хотелось бы повидать. Как бабка померла, так отрезало их совсем от деда». Иван Васильевич вспомнил, как посмеивалась поначалу Анастасия Романовна над сынком, ставшим в одночасье туляком:

– Туляне за семь вёрст комара искали, а комар на носу.

– А вы, псковичи, небо кольями подпирали, – отбояривался тот, – и вообще – вы капустники, мякинники и ёршееды!

– А вы – самоварники, – смеялась Анастасия Романовна.

– Вот гляди – не буду приезжать! – кипятился Федор.

– Без корня и полынь не растёт, – улыбалась Анастасия Романовна, но тут лицо её строжало, и она уж с серьёзными нотками в голосе добавляла: – Глупа та птица, которой гнездо своё не мило.

«Выходит, не мило гнездо-то наше. Нарожать-то нарожали, а научить не научили…» Иван Васильевич сокрушённо склонил голову. Задумчиво сорвал сухой стебелёк, потянул в рот. Нарожали… Первенец-то Митька во младенчестве умер, второй вот – Фёдор, а третьего он опять Дмитрием назвал. Уж как Анастасия против была! Куда там! Он на своём умел стоять! А сердце материнское вещее – чуяло беду. Шесть лет было Дмитрию. Повели его в воскресенье в кино, а там буза какая-то возникла промеж парнями. И как Митька им под руку под-

вернулся, под чей-то нож? Ума не приложить. Разом жизни и лишился. Такая вот туга беда… «Живем, поколе Господь грехам нашим терпит», – говаривал покойный отец Сильвестр. Только какие у Митьки-то грехи? Нет, не по его винам – по родительским. Отец Сильвестр – это прежний батюшка; нынешний, что венчать Федьку Касманова будет, – отец Никон. Молодой – и тридцати-то лет, поди, нет! К тому же – полная отцу Сильвестру противоположность. Тот маленький, тщедушный был, борода – седой паклей на грудь, доброта в глазах и улыбка завсегда на ясном детском личике. Отец же Никон хоть и худой, но высокий, борода стрижена, в глазах огонь, а губы, как месяц перевёрнутый, уголками вниз смотрят. Обличает всех, а на слово доброе скуп. Отец Сильвестр тоже поучать любил, но делал это ласково, с отеческой теплотой: «Детушек воспитать – не курочек пересчитать… Кто к Богу, к тому и Бог… Одно проси: Господи, прости…» – просто у него это выходило и на сердце легко ложилось.

Иван Васильевич припомнил оставшиеся от Анастасии Романовны записки с наставлениями покойного батюшки. Она для памяти их хранила и в последние годы вечерами читала вслух. Особенно часто – письмо батюшкино к своему сыну. Многое из него Иван Васильевич запомнил почти что дословно. Начиналось оно так:

«Благословение от благовещенского попа Сельвестра возлюбленному моему единородному сыну Анфиму». И далее:

«Милое мое чадо дорогое! Послушай наставление отца твоего, родившего тебя и воспитавшего в добром поучении и в заповедях Господних… Чадо, берегись неправедного собрания и твори добрые дела; имей, чадо, великую веру в Бога, все надежды возлагай на Господа: ибо никто, уповая на Христа, не погибнет… Живи, чадо, по христианскому закону во всех делах без лукавства и без всякой хитрости во всём, да и не всякому духу верь: доброму подражай, лукавых и закон преступающих во всяких делах отнюдь не привечай. Законный же брак со всей осторожностью соблюдай до конца твоей жизни, кроме жены своей никого не знай, а также и пьянственного недуга берегись – в тех двух причинах всё зло заводится, вплоть до преисподнего ада: и дом пуст – богатству разорение, и Богом не будешь помилован…»

И еще много о чём там было, но всего Иван Васильевич припомнить не мог. А к отцу Никону он и вовсе не ходил. Был как-то раз, а потом – всё, как отрезало: не может под его епитрахиль

встать, и баста! Не сумел, видно, забыть Иван Васильевич, как кричал однажды отец Никон на весь храм: будем, мол, всё менять на новый лад; старину вашу, дескать, с красным попом вашим – козе под хвост; хватит бабкиными байками жить – теперь, дескать, всё по-иному будет; власть теперь нам не указ – будем по Уставу жить, а кому не нравится – вот он, порог! И что ж это выходит? Кто ж это – «красный поп»? Отец Сильвестр? «А кто же книги старые служебные сберёг от погрaбления, храм отстоял от закрытия в начале шестидесятых? Кто прежде поднял его из углищ? Нет, – думал Иван Васильевич, – вот когда другого настоятеля пришлют, тогда можно будет и на исповедь, и на причастие».

Отец Никон, к слову сказать, через свою резкость и прямоту имел много неприятностей. Так, явился однажды к Гирееву: дай, мол, леса на церковный дом. Тот: откуда, дескать, возьму? «Воруешь же лесовозами, вот один к нам и заверни, не поскупись. Бога не боишься, так хоть людей постыдись». Гиреев, говорят, лицом пожелтел. «Ты что, мулла?» – вскричал. Мой Бог, дескать, мне все простит! «Нет тут твоего Бога! – отрезал отец Никон. – Наш тут, Единый, во Святой Троице славимый и поклоняемый, и земля наша, и вода, и воздух наш». Махнул Гиреев своему янычару Григорию Лукьяновичу: мол, выведи прочь. А тот не понял: подумал – кончать ему велели попа, – схватил батяню за грудки, на диванчик кинул и ну его душить подушкой-думкой. Еле, медведя этакого, оттащили… После всего Гиреев леса, конечно, дал – два лесовоза, а отец Никон, знамо дело, простил – не стал делу хода давать. Еще и говорил: вот он, дескать, Промысл Божий! Не мытьём, так катаньем – а лес нам вышел! Такой характер!

А ещё было… Дед Алексей на своей кобыле одноглазой проезжал как-то мимо церкви. Шарахнулась его савраска от беды какой-то, телегу занесло и – на тебе! – прямо на «жигуль» поповский. А там – и вмятины, и царапины. Отец Никон как выскочит да как закричит: что ж ты, дескать, старый, наделал? что натворил? Тот: без умысла, мол, я – кобыла, такая-сякая, шарахнулась. «Я тебе дам кобылу! Да знаешь, кто я? Я тебе сам апостол! А то и выше бери! Ты на кого руку поднял? В геенну пойдешь!» Струхнул Алексей Михайлович – он сызмальства Бога боялся, после войны помогал отцу Сильвестру этот самый храм из пепелища поднимать. «Прости, мол, Христа ради, батюшка, – взмолился, – я отработаю свой грех!» И ведь отработал – не смотри, что старого леса кочерга: и возил, и косил, и

дрова рубил. Только стали после этого на отца Никона совсем косо посматривать: больно суров да немилостив – жёстко стелет!

Отец-то Сильвестр куда как не такой был человек. Он если и укорял кого, то с любовью, без всякой обиды. «Гляди, мол, Ивашка, – говаривал Ивану Васильевичу (тот ведь после войны совсем мальцом был), – Бог не Никитка – повыломает лытки. Бога не обманешь, хоть и пораньше нашего встанешь...» Но куда ему о ту пору о Божием было думать? Горяч был да скор – сердце яро, места мало, расходиться негде! Он и в комсомол, и в передовики, и в звеньевые. Вымпел на тракторе да звезда – какой уж тут храм? Это когда Митьку младшего Господь прибрал, тогда только характер его переломился. Выл громче Анастасьи, так что и в петлю хотел. Отец Сильвестр приходил, утешал: «Бог по силе крест налагает, – говорил: – покайся, помолись – пошлёт Господь утешение. Всяк про себя, а Господь про всех! А сынки твои – и малый, и старший – в небесных кущах: о них не печалься – Сам Христос их привечает…»

Ещё много чего говорил отец Сильвестр – и ведь нашёл какие-то нужные, самые правильные слова, так что поглядел на себя вскоре Иван Васильевич и не узнал: «Я ли это? Быть не может!» Теперь лишь с горечью и стыдом вспоминал, как лютовал с женой да матерью, как к службе Божией не пускал, словами чёрными веру их костил, как в посты скоромное заставлял есть… Двадцать лет уж минуло с тех пор – старший сын его, Фёдор, теперь уж почти в его тогдашнюю пору вошёл, – а всё стыдно. И прощения у жены просил, и каялся у аналоя пред отцом Сильвестром, да и с женой повенчался. Всё одно мутторно и стыдно… Указала как-то Анастасья на могилки сыновьи: вот она, мол, женитьба твоя в пост Великий! Он чуть волком не взвыл: «Что же делать?» – «Кабы я знала», – у самой плечи вздрагивают, а на лице ни слезинки – без слёз плачет…

Сердце невыносимо защемило. Иван Васильевич зажмурился и что есть силы стиснул зубы. Тряхнул головой, отгоняя горький дурман. Потом открыл глаза и резко вздернул голову вверх. Солнечные лучи сквозь лоскутную зелёную шапку ударили в лицо и расплескались в глазах колючими огненными брызгами. «Так тебе!» – прошептал Иван Васильевич и утёр выплавившиеся в уголках глаз слезинки. «Господи, помоги, ослобони!» – добавил уже беззвучно и почувствовал, как разжимаются в груди тиски и горечь быстрыми боязливыми струями стекает в землю, а та, как и всякая мать, нераздумно готовая подъять на

себя каждую сыновнюю боль-тоску, принимает и растворяет её в своём материнском сердце. Мать-сыра земля...

Иван Васильевич услышал, как у Касмановых, готовясь к отъезду, зашумели, захлопали автомобильными дверцами. Присмотрелся и увидел Федьку – большущего, что коломенская верста, в новом чёрном костюме. «Отец-то его Алексей Данилович хоть и помельче в кости был, но пожилистей и в работе поспоровистей», – отчего-то подумал Иван Васильевич и совсем уж огорчился, глядя, как усаживается жених в разнаряженную светлую иномарку. До дрожи неприятно было ему видеть эти иностранные, похожие на расплющенных по сторонам жуков автомобили: вроде и ладные, и удобные, но… чужие, одним словом.

Машина жениха тронулась с места и поползла по ухабистой дороге, встряхивая на колдобинах навязанными на крыше и капоте шарами; следом потянулись остальные, опять же сплошь иностранные, машины с родственниками и гостями. Свадебный поезд миновал возбуждённо горланящую Шуркину компанию и поравнялся с кустами, где укрывался Иван Васильевич.

– На старости – две радости: один сын – вор, другой – пьяница, – невесть к чему орала вслед пыльному облаку уже успевшая захмелеть Малютиха.

«Бабий язык – чёртово помело, – подумал Иван Васильевич. – А ведь добрая когда-то девка была, завидная невеста! Коль под мой возраст подходила бы, глядишь, и я бы к ней в ворота постучался. Хорошо, позднее она заневестилась, так что эту чашу Григорий Лукьянович пил… бил, да не разбил». Никто в машинах не обращал на Малютиху внимания. Иван Васильевич за широкими окнами видел Федьку, закаменевшего от предстоящего ему пугающего и таинственного действа, и оживленные от того же предстоящего лица гостей.

«Любо им чужедомное, – опять вернулся он мыслями к прежнему. – Или своя разруха опостылела? Чужая радость своей печали дороже? А не от того ли и разруха, что чужое родным стало? Чужбинка, однако, не по шерсти гладит. Своё ломаем, не бережём. Верно Анастасьюшка-то говорила: худая та птица, которая гнездо своё марает. Комбайны, на полях брошенные, в землю врастают да ржёй покрываются, как оные камни мхом. Деревни, что вдовы соломенные, пучат пустые глазницы на пашни заросшие. Словно мор лютый прошёл по земле! Что осталось, за грош продаём и на хлам нерусский меняем. Не орут нас, не сеют – сами мы, что ли, дураками родимся? Или всё ж сеют?»

Иван Васильевич припомнил гладкого, как голыш из ручья, комиссара из Европы. Гиреев так его и представил колхозному обществу: комиссар, дескать, из Европы Ричард Ченслер. Взошёл тот на клубную трибуну, глазами пострелял по залу, словно выискивал кого-то, и улыбнулся, как савраска деда Алексея, выставив напоказ белющие, ровно перхотью посыпанные, лошадиного размера зубы: вон, мол, мы какие, не то что вы – гнилозубы да желтозубы. Народ-то наш подзапущен – что верно, то верно. Только где ж ему лекарства-то покупать, с какого достатка? От всех напастей самогоном пользует себя, будь оно неладно! Только этот Ричард не зубы приехал обществу лечить, не с пьянством бороться. Он вроде как головы решил народу поправить: поучить, как жить разумно. Вот, дескать, меньшинства у вас нарушаются, права их щемятся – в Европе того не любят и не приветствуют. Иван Васильевич как понял, что о содомитах гость толкует, так вознамерился было плюнуть да уйти, но как тот про иные меньшинства заговорил – решил повременить. А гнул этот комиссар к тому, что веруют-де в здешних местах неправильно, дремуче – в Европах так давно никто не верует. Вот, говорит, есть, дескать, у вас уважаемый Девлет Гиреев – он как раз из меньшинств происходит. Почему ему мечеть не ставите? Почему щемите его права? Гиреев улыбался, лицо, как жёлтый блин, лоснилось, и тоже кивал: да, дескать, почему? А давайте, дальше гнул свое Ричард, спросим еще одного из меньшинств. Есть у вас, спрашивает, такой Бекбулатович? (Всё ведь наперёд прознал, шельма!) Есть, ответили. Тут и сам Бекбулатович с трибуны выступил. Он уж прорву лет прожил в поселке – из крещёных татар был. Почесал Бекбулатович затылок плешивый: «На кой мне, – говорит, – мечеть ваша? Мы крестов не боимся». Так прямо и сказал, а комиссару тому и крыть нечем. Спрятал он свои зубы лошадиные, скривился, будто клюквы ему в рот натолкали, и ушёл. А тут припоздавший отец Никон вбежал, хорошо – не поспел, а то быть международному скандалу. Уж он-то комиссара с его меньшинствами срамными еще как бы взгрел!

«Ездил чёрт в Ростов, да напугался крестов», – улыбнулся Иван Васильевич. Последнее воспоминание прибавило ему духу: хоть что-то своё сохранили – слава Богу! Однако сомнения не уходили и, нет-нет, тревожно цепляли за живое: а если поднапрут комиссары эти (они ведь языком – что рычагом!) да деньгами поманят? Устоим? Иван Васильевич посмотрел на томящуюся в пыли под солнцем Малютихину компанию. «Эти вон, – подумал, – ради чарки дармовой ни себя, ни других не

пожалеют – горы свернут да на спины наши обрушат. Какой разум в такой голове? Одно слово: ехал к Фоме, а заехал к куме. Родился мал, вырос пьян, помер глуп... Ладно, Бог не выдаст – свинья не съест, – Иван Васильевич откинулся на спину. – Отдохну малость…» Сквозь рваное зелёное сито ветвей капала ему в глаза прозрачная небесная голубизна, затекала в голову и, смешиваясь с пряным запахом свежескошенных трав, кружила там пьянящим хороводом: «Вот она, земля-то родная, да небо наше…» Мысли стали вязнуть, путаться… Иван Васильевич понял, что если сей момент не поднимется, то уснёт. Противиться не стал, закрыл глаза и тут же, словно провалившись куда-то, действительно уснул…

Солнце, луна, звёзды – всё это, открытое ему одновременно, не смешивается друг с другом, но наполняет живым неземным светом огромный мир, в котором он – мельчайшая песчинка. «Кто я?» Он боится хоть что-то сказать – чтó его слово в этой не вместимой в разум огромности? Но чей-то голос отражается эхом от звёзд, обтекает словами луну, касается солнца… «Господь наказывал меня за грехи то потопом, то мором – и всё я не каялся; наконец Бог наслал великие пожары, и вошёл страх в душу мою и трепет в кости мои, смирился дух мой…» Чьи это слова? Чей это голос? «Мой…» Он пугается… Кажется, все звёзды смотрят сейчас только на него – он в самом центре этого необъятного мира…

Небесная твердь лопается, он падает, летит куда-то вниз… Вот он уже в просторной комнате, за столом. Горят свечи… Множество свечей в массивных подсвечниках. Он видит себя со стороны: он в крытой красным бархатом собольей шубе с большим отложным воротником… золотые пуговицы, жемчуга… на ногах – красные сафьяновые ичеги… Он что-то пишет, обмакивая перо в золотую чернильницу…

«Се аз, многогрешный и худый раб Божий Иоанн, пишу сие исповедание своим целым разумом. Душею убо осквернен есмь и телом окалях. Яко же убо от Иерусалима божественных заповедей и ко ерихонским страстем пришед, и житейских ради подвиг прелстихся мира сего мимотекущею красотою…

Се заповедаю вам: да любите друг друга, и Бог мира да буди с вами. Аще бо сия сохраните, и вся благая достигните; веру к Богу тверду и непостыдну держите крепко, за неё страждите крепко и до смерти. А сами живите в любви. А воинству, поелику возможно, навыкните…

И вы б, дети мои, Иван и Федор, жили бы в любви и в согласии заодин и сей мой наказ памятовали бы крепко.

Аще бо благо учнете творити, вся вам благая будет. Аще ли злая сотворите, вся вам злая сключатся, яко же речено бысть во Евангелии: аще кто преслушает отца, смертию да умрет…»

Он вчитывается и ужасается: кому я пишу? Фёдор – в Твери. А Иван? Кто Иван? Но тут его пронзает ужасающее прозрение.

– Нет, – шепчет он, словно отмахиваясь, – не может быть!

– А что бы ты хотел, грешный Ивашка?

Он оборачивается и видит отца Сильвестра. Тот в белоснежном подряснике с золотым крестом; борода его не седой паклей на груди, а как чистейший первый снег.

Он чувствует себя послевоенным юнцом, да и одежда на нём теперь самая обыкновенная – повседневная деревенская. Дорогой шубы да золотых украшений нет как нет.

– Батюшка, благослови, – тянется он руками к священнику.

– А на что тебя благословить? – отец Сильвестр пугающе строг. – На что тебя благословить, – повторяет, – на какие добрые дела?

– Я не знаю, – он чувствует себя совсем растерянным и вдруг спрашивает: – А где мой сын Иван?

– Так ты ж его убил.

– Когда? – спрашивает он и с ужасом понимает, что всё так и есть, что он и убил. Только как?

– А жену свою кто, на слёзы её несмотря, в больницу взашей гнал к убийцам-врачам? То-то! Вот тот убитый во чреве младенец и был твой сын Иван.

– Как же? Я ведь не знал.

– Да всё ты знал, – отец Сильвестр строго грозит пальцем, – а ну-ка, припомни!

Он вспоминает… Плачет Анастасья, на живот свой указывает: «Он ведь живой, Ваня, как же его под нож?..» Теперь он сам плачет, и слёзы его, как капли расплавленной смолы, опаляют щёки, капают на грудь и прожигают до самого сердца…

– Говоришь, в деревнях ваших жить некому? – продолжает отец Сильвестр. – Умирают деревни? А что ж вы детей своих губите? Они бы вам и землю пахали, и сеяли, и дома строили. Ты всё татар да литовцев коришь, воюешь всё с ними мыслями пустыми, а ближних-то своих ты поберёг? Ведь и их-то, если не делом, то словом, мыслью побил да грязью зачернил. Начальники тебе плохи – не по праву-де и истине правят! А сам-то в мыслях не мечтал о том? Не царствовал? Царствовал! Суд да расправу вершил? Было! А правый ли суд? То-то. Все у тебя плохи – воры

да пьяницы, все тебя не привечают, в гости не зовут. А ты-то кого позвал? Последним с кем поделился? Кого из беды вызволил?

– Да что я могу? Стар я уже да гол как сокол, – он пытается оправдаться, но сразу видит своё лукавство и неправоту. А отец Сильвестр тут же обличает:

– Беден, гол, говоришь? Так и другие не лучше. Вот и позвал бы к трапезе своей. Жене-то, помнишь, наказывал: «Что в печи – всё на стол мечи!»? Вот и сам бы так. Не в богатстве дело, а в доброте сердечной. Что по любви, от сердца открытого делается – тому и ближний рад, и Господь за то наградит. Господь-то всё приемлет – и горбушку, с ближним разделённую, и копеечку последнюю, и слово милосердное: Он и дела принимает и намерения приветствует, и труды почитает, и жертвы хвалит. Но только что ты сделал из этого? Ничего! Так что сам и есть всему виной – и разрухи, и запустения, и всего доброго забвения.

Он ищет оправданий, которых там, в его избе, куда взгляд ни кинь – пруд пруди. Но здесь их нет. И совесть его, как власть имеющая, велит ему молчать… Он думает о жене: как она? – но не смеет спросить. И молчит…

– Ладно уж, – отец Сильвестр вдруг смягчается, и за строгостью его проступает та самая давешняя земная доброта, – об Анастасии хочешь узнать? Что дозволительно тебе ведать, скажу. Не оставил её Господь. За муки её земные, за смиренное, покорное сердце не знает она нынче ни в чем нужды и печали более не ведает. Это всё, что положено тебе пока знать. Если будет на то для тебя Божия воля, узнаешь поболее. Только помни: сейчас ты под вопросом. А как дело своё поправить, ты уж теперь сам рассуждай.

– Да, я понял, всё понял, – он сокрушённо кивает головой и замечает свои всё еще протянутые за благословением ладони. И вдруг видит, что батюшка осеняет его крестом и подаёт руку.

Он бережно принимает её, целует с чувством детского восторга и никак не хочет отпустить. Но отец Сильвестр осторожно отнимает и говорит, словно прощается:

– А на отца Никона ты обид никаких не держи, на исповедь к нему ходи, Таинства принимай. Ему же ещё много поправок выйдет, так что исправится и в силу войдет. Да у него и фамилия-то знаешь, какая? О-о! – отец Сильвестр сворачивает губы в трубочку и улыбается…

Это действительно прощальные слова. Разом всё исчезает, пред глазами – пестрая невнятная суматоха… Какие-то звуки

врываются извне и выталкивают разум на поверхность, к свету, к воздуху, к небу…

Первое, что почувствовал Иван Васильевич, проснувшись, – приютившегося под боком кота. Невесть как разыскавший хозяина Калач, выражая своё полное довольство и преданность, старательно мурлыкал.

– Молодчинка скотинка, любишь деда своего, – Иван Васильевич приласкал кота и задумался над последним из сна вопросом батюшки Сильвестра. Какая же фамилия? Вроде бы слышал? Он рассеянно поглаживал выгнутую тугим луком спину Калача и всё никак не мог вспомнить. Какая же? И вдруг всплыло, как лёгкое облачко, – не иначе, подарок от батюшки Сильвестра. Оттуда! Колычев его фамилия. Отец Никон Колычев! И всё же – в чем закавыка? Фамилия как фамилия! И чего это батюшка так восторженно губки округлил? «Нет, – мысленно сдался он, – не доискаться сейчас. Потом спрошу у кого. Да и вообще…» Давешний сон в своей необыкновенной пугающей достоверности и в то же время полной своей невозможности никак не укладывался в голове. «Не сейчас! – отодвинул он от себя целый ворох вот-вот готовых нахлынуть мыслей. – Позже, еще будет время…»

А у Касмановых гремела музыка, народ вовсю гулял и веселился. «Сколько ж я проспал? – Иван Васильевич растерянно почесал затылок. – Не иначе уж к вечеру дело?» Он разглядел небрежно раскиданную по сторонам дороги Малютихинскую заставу. Это означало одно: свадебный поезд давным-давно прибыл, и все получили, кто что хотел. Действительно, с другого конца деревни доносился весёлый наигрыш гармони; кто-то во весь голос распевал частушку:

Погляди, дроля, на небо.
После неба – на меня.
Как на небе тучи ходят,
Так на сердце у меня.

А со стороны Касмановых, словно соревнуясь с озорным бабьим распевом, звериный мужичий голос орал под грохот электрогитар:

Он съел живьем крысу, он выпил кровь кобры,
Спалил дотла ведьму, собрал ее пепел,
Посыпал им тело.

«Господи, помилуй!» – прошептал Иван Васильевич и перекрестился. Он похлопал себя по бокам, стряхивая налипшую сухую траву, и побрёл к своему дому – прятаться теперь не имело никакого смысла. Он добрался до палисадника и услышал, что пение с противоположного от Касмановых конца деревни вроде как приближается. Действительно, гармонь резвилась уж где-то рядом, да и слова частушек звучали совсем явственно и разборчиво:

Золото моё колечко,
На колечке есть печать.
Кто завлёк мое сердечко,
Тот и будет отвечать.

«Машка Темлюкова поёт», – сообразил Иван Васильевич. Уж её-то голос он не спутает ни с каким иным! Как овдовел, было дело – сватали её за него. Ничего из этого не вышло – и слава Богу! А поёт-то хорошо! Он заслушался и чуть не пропустил момент появления под его окнами шумного общества деревенских, неспешно перемещающихся в сторону разгуляй-свадьбы. Метнулся за угол, в тень, и уж оттуда украдкой смотрел за дальнейшим. Разглядел Анну Колтавскую и Марию Наговую – тоже почти что его невест… Не сиделось на месте деревенским свахам – всё бы им судьбу чью-то устраивать, тем паче – вдовцов. Но не решился Иван Васильевич жизнь свою менять: пусть, дескать, как есть – и, опять же, слава Богу! Была в обществе и Малютиха сотоварищи, но уже не атаманила – набралась, так что еле плелась в конце…

Девочки, во поле ветер,
Девочки, во поле дождь.
Девочки, не наша воля,
Не полюбишь, кого хошь.

Машка Темлюкова пела, пританцовывая; рядом двигала боками Колтавская и стучала в ложки…

Навстречу, от Касмановых, неслось что-то уже более спокойное, но всё равно невнятное:

Прогоняй ностальгию мимо дыма в потолок
И не трогай телефон и заусенца…

Деревенское общество миновало его дом и потянулось в гору. Там, в самой уж близости друг от дружки, обоюдное пение

слилось в какую-то, не разбери, кашу… и вдруг всё замолкло. В минуты этой напряженной тишины Иван Васильевич и сам занервничал, томясь ожиданием: как-то решится? Нальют и вон сопроводят или примут и за стол усадят?.. Внезапно тишина треснула от тихого сначала, а потом всё более решительного и громкого вступления гармони. Высокий голос гармониста прорезал набухающее уже сумерками небо над деревней и изогнулся над ней радугой:

По проселочной дороге шёл я молча,
И была она пуста и длинна.
Только грянули гармошки что есть мочи,
И руками развела тишина…

И вдруг взорвалось уже общим – и тех, и этих – хором, так что Иван Васильевич чуть не присел от неожиданности – столько нерастраченной народной силы разом выплеснулось в окружающее пространство:

А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала,
И крылья эту свадьбу вдаль несли.
Широкой этой свадьбе было места мало –
И неба было мало, и земли.

Кот Калач стремглав дунул в кусты, а Иван Васильевич улыбнулся: наша ведь вышла победа! Наша!

Он готовил ужин, чаёвничал и всё слышал, как гуляет у Касмановых свадьба. Но уж не гудели более постылыми словами громкоговорители. Общество, не стесняя себя, пело что-то знакомое и родное:

То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит –
То моё сердечко стонет,
Как осенний лист, дрожит…

Вскоре он, однако, совсем перестал прислушиваться. Пережитое, по преимуществу из давешнего сонного видения, обрушилось на него таким собранием мыслей и раздумий, что сердце зашлось болью, а душа – тягостным томлением. И во сне не было ему покоя: он метался в постели и что-то вскрикивал, так что приткнувшийся в ногах Калач то и дело вздрагивал и тревожно поводил из стороны в сторону треугольниками ушей…

Под утро Иван Васильевич проснулся и прошептал в сторону невидимого в темноте портрета Анастасии Романовны: «Я сумею, не смотри, что выстарился. Сдюжу. Ты подумай-ка только: каково в мои-то годы – да под вопросом жить?»

ОГУРЕЧНЫЙ ТРАКТ

Рассказ

– Сынок, купляй огурчики. Свеженькие, чуток с грядочки, – баба Вера улыбается, борозды-морщины на её лице движутся, приоткрываются, обнажая свою исподнюю бледность, отчего лицо её, до черноты выдубленное солнцем, начинает светиться беспомощными розовыми лучиками. «Сынок» – седой мужчина лет шестидесяти – едва удостаивает её мимолетным взглядом и хлопает за собой дверцей переливающейся перламутром серебристой иномарки. Через несколько секунд машина исчезает в дрожащей перспективе плавящегося от полуденного зноя шоссе…

Иван попытался подсчитать, сколь раз, начиная с утра, баба Вера произносила эту фразу? Вышло, что не менее двадцати. Причём, женщин она старалась не замечать, только мужеский пол, сынков… Он вспомнил давешнего седовласого пенсионера и про себя усмехнулся: тоже мне, сынок… Впрочем, баба Вера могла себе это позволить. Сколько ей стукнуло? Восемьдесят пять? Нет, пожалуй, поболе, скорее к девяноста. Он сковырнул тяжёлый пласт памяти, проросший длинными рядами нулей в новых многорублевых купюрах, перестроечной трескотней и советскими пятилетками…

Ему лет семь-восемь, а баба Вера – она такая же, как сейчас: безжалостно выжженная солнцем, выстуженная морозом, с истонченной бесконечными трудоднями плотью и похожим на геодезическую карту лицом – вот она, её горькая топография… Наша мамушка… Ведь так её, кажется, называли? И не только дети и внуки, но и многие селяне… Однако, давно уже её никто так не зовёт. И почему, спрашивается? Э-э-эх… Иван оттолкнул от себя груз тяжёлых мыслей и посмотрел на стоящий рядом пакет с огурцами. Что толку в том, что было раньше? Сегодня вот огурчики бы продать. С утра он сбыл шесть килограммов по пятнадцать рэ, итого – девяносто рублей. И вся недолга! А

бабе Вере, можно сказать, повезло: у неё ушло килограммов двенадцать. Народ, видимо, полагал, что со старушкой легче договориться. И не без основания: часа два назад какой-то плюгавенький мужичонка из красного джипа сторговался с ней на три килограмма по семь с полтиной за кило. Вот гад! – Иван в сердцах сплюнул на асфальт. – Это же литр бензина для его заморского коня. Баба Вера поняла его по-своему:

– Истомился, сынок? – спросила, и морщинки участливыми светлыми лучиками скользнули по её лицу. – Кваску испей, вон баночка у меня в кошелке.

– Спасибо, баб Вер, не хочу,– Иван отрицательно качнул головой и опять сплюнул. – Вот ведь жизнь! Сидим мы тут с тобой у магазина, почитай, уже полдня на жаре, говорить – и то сил нет. Димыч вон только пьяный и болтается. Но ему и других дел-то нет. А мы всё сидим. И какой прок? Летит мимо чужое сытое счастье, и что? По пятнадцать целковых выложить жмодится. А ведь в их городских магазинах в два раза дороже огурчики-то стоят. Да и какие там огурчики? Химия! А жизнь-то мимо летит. Мимо, баб Вер!

– Жизть, она завсегда так, – охотно согласилась баба Вера; она задвигалась, зашевелила своими мешками и кошёлкой, – пойду, однакоть, корове пить дам. Как там, Вань, твоя Галина, детки? Вы ведь в райцентре таперь?

Вот память, – удивился Иван, – и меня, и жену помнит. В девяносто-то лет?

– Нормально, устроились, – он машинально смахнул со лба к виску горячую струйку пота, – я электриком в райпо, Галка пока без работы, трудно работу найти. Не только у нас все позакрывали, там тоже хорошо постарались. Вот по выходным материны огурчики продаю, как ей отказать? Она-то хворает.

– Слыхала, – баба Вера перекинула через плечо мешки с остатками непроданного товара, – ты ей кланяйся, я Анну-то ещё девчонкой в церкву водила, Херувимскую учила петь. Доведётся ль таперь свидеться? Ну, ладноть, слава Богу за всё! – она перекрестилась и тяжело заскребла по асфальту бесформенными, задубевшими от времени ботами.

Иван провожал её рассеянным взглядом, также рассеянно слушая, как блажит где-то за ларьками местная кликуша Дарья; как с глухим гулом взрывается над шоссе воздух, пронзаемый торпедами авто; как гудят колеса, скрипят тормоза… тормоза… Что-то там на шоссе происходило: движение вперед застопорилось, и постепенно выстраивался длинный хвост из машин…

Но Иван не обращал пока на это внимания, всё еще не отпуская взглядом изломанную фигурку бабы Веры, покуда не истаяла она окончательно в дрожащем от зноя полуденном мареве…

Из-за угла магазина вывернул Димыч, ошалело огляделся, подтянул сползающие, побуревшие от грязи зеленые штаны-трико и, выписывая ногами кренделя, двинулся к Ивану. Тот в сердцах сплюнул, заранее зная, что сейчас услышит.

– Эх, душа горит, Рассея плачет! – дурашливым фальцетом вывел Димыч (Ивана коробило от этой его всегдашней глумливой приговорки). – Налей сто грамм, Ванек.

– Обойдёшься! – отмахнулся Иван. – Загнёшься скоро от своего пойла. Ты же младше меня, а тебя уж жена успела выгнать, дети голодают. Освинел совсем!

– Сволочь я, гад! – не стал спорить Димыч и, обтирая спиной стену, опустился рядом на корточки. – Под расстрел меня! Я готов! Но налей сначала, душа горит. Вон слышь, как Дашка мычит? Тоже болеет. Но ей не треба сто грамм, а мне позарез. Налей за неё, будь человеком.

– И было бы, не налил, – жёстко отрезал Иван, – Дарью-то чего приплёл? Человек не в себе. За чужие грехи, быть может, страдает. Отец Никон так и говорит: грешат все, а отдувается она одна, одну её бесы мучат. А ты охолонись, куда катишься?

– Ну, говорю же, что сволочь я! Но всё, что халтурю по дворам, Нинке отношу. На эти не пью, мне лучше попросить. Да и вообще, – Димыч потряс в воздухе кулаком, – не я это придумал – пилораму закрывать, и фермы не я закрыл, и стадо колхозное не я продавал. Я хоть и гад, но работал всю жизнь. А теперь где?

– Давай в район, я помогу найти что-нибудь, – Иван вздохнул, выходило, что тут Димыч был прав по всем статьям: работы, действительно, в округе не имелось никакой.

– Обмозгую, – пообещал Димыч и, указывая на шоссе, замычал: – Глянь, что творится!

А ситуация и вправду накалялась: хвост из машин вырос, утянулся влево и там затерялся. Гудели клаксоны, кричали, перекрывая шум моторов, водители, пассажиры выскакивали из раскалённых душных коробок и расползались по площади у магазина.

– Пойду, поработаю. Эх, душа горит, Рассея плачет, – Димыч тряхнул на ходу нечёсаными сивыми лохмами и метнулся в гущу разрастающейся толпы. Через минуту его высоченная сгорбленная фигура замаячила средь ожесточённо жестику-

лирующих и орущих обитателей этого странного, нежданного здесь автопоезда…

По обочине, объезжая застывший ряд машин, на площадь вкатился большущий «Мерседес», за ним огромный, как вагон, чёрный джип. Из него выскочили наружу четверо откормленных, грозного вида, парней в чёрных костюмах, при галстуках. Они профессионально быстро огляделись и тут же взялись выталкивать всю шумящую публику ближе к шоссе. В руках одного из мужчин Иван с удивлением разглядел короткоствольный автомат. Вскоре площадь опять опустела, оттеснённый к своим авто народ тихо оттуда поругивался, но более просто зыркал в сторону «Мерседеса». Его дверца со стороны водителя откупорилась, появился высокий русоголовый энергичного вида мужчина в ярком зелёном пиджаке. Он быстро оббежал машину и открыл заднюю правую дверцу… Сначала асфальта коснулась нога в остроносом чёрном, без малейшего признака пыли, ботинке, брезгливо шаркнула, словно испытывая земную твердь на профпригодность, убедившись, что всё – более-менее, вызвала наружу свою вторую половину, а еще через миг показалось и всё остальное: смуглолицый среднего роста человек в шикарном в крупную полоску костюме. Хозяин!

Губернатор или министр какой? – подумал Иван, но, приглядевшись, понял: – Нет, губернатор наш помоложе будет да и попроще видом. Значит министр?

– Яков Львович! – к хозяину подскочил нервный полный субъект мелкого, от горшка два вершка, роста. – Куда прикажете звонить? В областную администрацию? В областное Собрание? Или сразу в администрацию Президента?

– Чёрту лысому звони, Арон, но чтобы через полчаса я был в этом долбанном райцентре, – хозяин говорил уверенным, дребезжащим как треснувшая телефонная мембрана голосом, и хотя на его холёном долгоносом лице не дрогнул ни единый мускул, Арон испуганно присел и стал совсем крохотным. Он отскочил в сторону, выхватил из кармана телефонную трубку и стал что-то истерично орать. Слов Иван разобрать не мог, поскольку Арон отвернулся к стене и как-то ловко обволок телефон своим желеобразным телом; он мог слышать только неистовые, с сумасшедшинкой, выкрики. Кликуша, ей Богу, подумал он и перевёл взгляд на хозяина. Тот, зажимая платочком нос, мерно вышагивал по асфальту, с четырёх сторон его прикрывали дюжие охранники.

– Почем огурчики? – от неожиданности Иван вздрогнул и увидел перед собой присевшего на корточки зеленопиджачного шофера.

– Что? – он попытался сосредоточиться и вспомнить, в какую цену весь день держал этот дар материнского огорода; с трудом припомнив, доложил: – пятнадцать за кило.

– Рублей что ли? – широко улыбнулся водитель, обнажив ряд сверкающих как на рекламном плакате белых зубов. – У вас тут прямо огуречный тракт. Пока ехали из города, устал вас, огуречных торговцев, считать. Откуда вас столько? На, возьми, – он протянул десятидолларовую банкноту и поднял из пакета самый маленький огурчик. Хватит? Меня, кстати, Павлом зовут.

Иван назвал свое имя и попытался вернуть деньги назад:

– Возьми так. А огурцов много от того, что уродились. В том году грибами все торговали. Вот и весь секрет. А деньги-то забери.

– Обижаешь, начальник, – еще шире улыбнулся Павел, – мне достаточно платят, – он кивнул в сторону хозяина. – Да уж, заварилась каша, – он осторожно откусил от огурчика и тут же сплюнул: – Тьфу, ну и горечь! А папка-то наш явно на взводе! И что у вас тут творится?

– Авария, я слышал, – Иван всё ещё переминал в руках десятидолларовую купюру, не решив окончательно, как с ней поступить, – впереди лесовоз опрокинулся прямо на шоссе.

– Да это-то я знаю, – нетерпеливо махнул рукой Павел, – только папке-то от того не легче. Его в райцентре вашем захолустном Глава дожидается и депутаты. Впрочем, и это чушь, а вот то, что самолёт у него через три часа. В Лондон. Его собственный самолет, – Павел ухмыльнулся, – ваши-то кукурузники дальше губернаторского носа не летают. А мне баранку до Москвы крутить. Впрочем, это не вопрос – я профессионал, каких мало! Да, кстати, а ведь Яков Львович и ваш папка.

– Это как? – не понял Иван. Отчего-то ему было тяжело и неловко находиться рядом с этим лощёным, моложе его не менее чем лет на пять, парнем в зелёном с иголочки пиджаке и картинной рекламной улыбкой. – Это как, не понял? – переспросил он, ощущая тревожно-сосущую боль под ложечкой.

– Да так, – Павел спокойно взглянул ему прямо в глаза, – Яков Львович купил всю вашу волость: и деревни, и этот посёлок, поля, луга, лес – в общем, всё. Теперь он ваш благодетель и хозяин.

– Как это? – Иван осёкся. – Мы думали, нашу волость списали под корень, народ прочь подался. Школу закрыли, больни-

цу закрыли, клуб, библиотеку. Что ещё? Пилораму, мастерские, все фермы, скот продали, трактора на запчасти… Зачем тогда все это разрушили? Что, ему назло?

– Лох ты, Ваня, не в обиду тебе будет сказано, – Павел иронично улыбнулся, – Кто Якову Львовичу будет что-то делать назло? Он сам всё это и устроил. А зачем ему, подумай, эти ваши школы и больницы? Да и вы ему ни к чему. Он тут заново всё устроит, по-европейски. Китайцев завезёт. Они, знаешь, как работать умеют? Огурцы станут экологически чистые выращивать. Яков Львович с друзьями будет тут раз в год отдыхать, благо – до границы с Европой два шага; будут и огурчики эти самые кушать.

– Огурчики? – Ивану показалось, что он теряет рассудок. Или Павел над ним просто смеётся? Да нет, в этих безмятежных серо-голубых глазах не просматривалось никакого подвоха или лукавства. Неужели всё так и есть?

Где-то совсем рядом громко заблажила Дарья. Яков Львович услышал и нервно вскинулся:

– Кто там орёт?

Один из охранников побежал выяснять. Не ко времени появился Димыч со своей неизбывной болью:

– Душа горит, – артистически трогательно воскликнул он, – Рассея плачет!

– Эта баба чумная за клумбой кричит, наверное, пьяная, – с ходу доложил хозяину подбежавший охранник и мимоходом двинул промеж лопаток Димыча. Тот откатился вдаль, трагически рыдая:

– Рассея плачет!

– Заткните ей рот, пусть заткнётся! – повышая тон, скомандовал Яков Львович, и лицо его на мгновение прорезалось чёрными молниями…

Но тут кавалькада из машин вздрогнула, стронулась с места и медленно поплыла…

– Всё, – Павел резко поднялся на ноги, – мне пора, прощевай, не поминай лихом. Впрочем, может быть, ещё и свидимся, – он подмигнул Ивану и метнулся к машине.

– Постой! – Иван тоже вскочил. – Погоди!

– Ну? – Павел остановился и вопросительно кивнул.

– Неужели это всё из-за огурцов? Неужели, чтоб выращивать экологические огурцы, вывели под корень целую волость? Да мы бы задаром вашему хозяину по вагону в год отгружали…

– Да зачем ему ваши огурцы, чудак-человек? – белозубо улыбнулся Павел. – Да он и огурцов-то с роду не ел. Так что мотай на ус. А волость ваша… Что волость? Тут бери выше. – Павел вытянул подбородок вверх, к небу. – Ну ладно, всё, давай, – он прощально махнул рукой и уже через несколько мгновений хлопнул за собой дверцей «Мерседеса».

Иван видел, как по-царски степенно усаживается на свой автомобильный трон Яков Львович; как благородно попирает остроносым ботинком принадлежащую ему земную твердь.

Сердце у него занемело и перестало чувствовать жару…

Джип взревел клаксоном и, оттирая к центру дороги поток машин, прямо по обочине рванулся вперед. «Мерседес» устремился за ним… Все это железное месиво смялось в кучу, покатилось, поползло к горизонту. И оттуда, уже втянув за собой хвост из последних машин, всё еще рычало и гудело, пугая непривычных к такому шуму поселковых птиц.

– Огуречные дети огуречной страны… Ну уж нет, не дождётесь, подавитесь, – прошептал Иван, чувствуя, как взбухают на лбу капельки пота: сердце оттаивало, требуя себе жизни и пространства для неё…

– Что ты там бормочешь? – Димыч опёрся на его плечо, и устало вздохнул. – Слушай, я завтра и впрямь рвану в райцентр. Здесь с ума сойдешь. Руки-то – вот они! – он вытянул перед собой огромные мозолистые ладони. – Я любое дело потяну.

– Потянешь, – кивнул Иван, ухватил его за руку и с силой сжал. – Не огуречные мы с тобой люди, будем работать, а если что, постоим за себя.

– О чём ты? – Димыч оглянулся по сторонам. – Перегрелся на жаре?

– Может быть, – неопределённо пожал плечами Иван. – Ладно, завтра жду тебя. Где меня найти, знаешь. И ещё… Вот, это для Нины, – он вложил в руку Димыча скомканную десятидолларовую купюру. – Донесешь?

– Да, – тот согласно качнул головой, подтянул повыше буровато-зеленое трико и побрел прочь от магазина, в сторону своего полузатерянного дома.

А Иван тут же забыл о нём; он увидел бабу Веру. С полными мешками за спиной семенила она к своему законному торговому месту, царапая асфальт чугунными истоптанными ботами. Когда она совсем приблизилась, Иван улыбнулся и вполголоса попросил:

– Мамушка, научи меня петь Херувимскую.

г. Псков

Владимир АЛЕЙНИКОВ

СОХРАНЯЮТ ДЕРЕВЬЯ СИЛЫ

* * *

Гляди-ка в оба, да не сглазь –
Из озарений, из наитий
Она возникла, эта связь, –
Не задевай узлов да нитей.

Из бездны гибельной уйдя,
Она скрепит края столетий –
И только в трепете дождя
Её почует кто-то третий.

Не то сквозь сон она прошла,
Набухнув жилкою височной,
Не то скользнула, как игла,
В укрытье памяти бессрочной.

Песочной струйкою шурша,
Проникла в логово забвенья –
И вот, отвагою дыша,
Судеб распутывает звенья.

Водой проточною струясь,
Она размыла средостенья
И вышла, больше не таясь,
На свет, и с нею – обретенья.

За тканью времени живой
Растенья вздрогнут и воспрянут –
И вскинут вдруг над головой
Свой мир, и ждать не перестанут.

И то и дело, как ни строй
Воздушных замков очертанья,
В единый миг пчелиный рой
Сгустит былые испытанья.

И ты узнал их, видит Бог,
И вновь лицо твоё открыто, –
Они грядущего залог
И настоящего защита.

* * *

Для смутного времени – темень и хмарь,
Да с Фороса – ветер безносый, –
Опять самозванство на троне, как встарь,
Держава – у края откоса.

Поистине ржавой спирали виток
Бесовские силы замкнули, –
Мне речь уберечь бы да воли глоток,
Чтоб выжить в развале и гуле.

У бреда лица и названия нет –
Глядит осьмиглавым драконом
Из мыслимых всех и немыслимых бед,
Как язвой, пугает законом.

Никто мне не вправе указывать путь –
Дыханью не хватит ли боли?
И слово найду я, чтоб выразить суть
Эпохи своей и юдоли.

Чумацкого Шляха сивашскую соль
Не сыплет судьба надо мною –
И с тем, что живу я, считаться изволь,
Пусть всех обхожу стороною.

У нас обойтись невозможно без бурь –
Ну, кто там? – данайцы, нубийцы? –
А горлица кличет сквозь южную хмурь:
– Убийцы! Убийцы! Убийцы!

Ну, где вы, свидетели прежних обид,
Скитальцы, дельцы, остроумцы? –
А горлица плачет – и эхо летит:
– Безумцы! Безумцы! Безумцы!

Полынь собирайте гурьбой на холмах,
Зажжённые свечи несите, –
А горлица стонет – и слышно впотьмах:
– Спасите! Спасите! Спасите!

* * *

Славянский корень, тюркская закваска,
Степная, переимчивая Русь,
Да имени широкая огласка –
Откуда? – разбираться не берусь.

Достаточно почуять на приволье
Неясный зов – откуда он, скажи?
Давно уже чумацкой крупной солью
Засыпаны глухие рубежи.

Чужая кровь – куда она девалась?
Всегда её с избытком было встарь, –
Вот эта почва ею напиталась –
Всех ненасытней жертвенный алтарь.

Вот в этих толпах всё перемешалось –
Откуда в этих лицах, объясни,
Кочевий дух, которым надышались
Когда-то, в незапамятные дни.

Какая сила это замесила,
Расплавила и бросила в леса,
Где финские замшелые светила
Белёсые коптили небеса?

Всё это зримо – стало быть, творимо
Доселе с неизведанных времён, –
Я верю, что Москва древнее Рима,
А Киев раньше к жизни пробуждён.

* * *

Пусть я вам не нужен сегодня, покуда
Не вспомните сами, что жив,
Пусть ваши гортани столетья простуда
В сплошной превратила нарыв,

Пусть помыслы ваши недобрые скрыты,
А добрые все на виду, –
Сегодня мы с вами поистине квиты,
А прочего я и не жду.

Так спрячьте же толки небрежные ваши
Подальше, до лучших времён, –
Испившему темени горькую чашу
Не место у ваших знамён.

Оставьте всё то, что оставить хотели –
Авось пригодится потом –
Под спудом, – я помню снега и метели,
Обвившие сердце жгутом.

Я помню весь жар этой силы безмерной,
Идущей оттуда, куда
Ведёт меня ввысь из кручины пещерной
Встающая в небе звезда.

А вас, оголтелых, сощурившись гордо,
Пусть ждут на постах ключевых
Сыны Измаиловы – смуглые орды,
Скопленье племён кочевых.

* * *

Лишь глоток – лишь воздуха глоток,
Да от ласки влажный локоток,
Да пора – царица полумира
Под звездой в надменной высоте
Тянет руки в бедной наготе
К двойнику античного кумира.

На лице – смирения печать,
Чтоб судьбу смелей обозначать, –
Подобрать бы камни к фероньеркам! –
С виноградом вместе зреет гром,
Чтобы дождь, поставленный ребром,
Удивил павлиньим фейерверком.

На ресницах – мраморная пыль,
Колосится высохший ковыль,
Да венком сплетается полынным
Эта степь, истекшая не зря
Горьковатым соком сентября,
С шепотком акаций по долинам.

Не найти заветного кольца,
Не поймать залётного птенца –
Улетит с другими он далёко, –
В розоватой раковине дня
Слышен гул подземного огня,
Ропот слеп, как гипсовое око.

Станут нити в иглы продевать,
Чтоб лоскутья времени сшивать,
Изумлять виденьем карнавала,
Где от масок тесно и пестро
И пристрастья лезвие остро,
А участья как и не бывало.

Полно вам печалиться о ней,
Круговой невнятице теней, –
Не объять причины увяданья –
И в тиши, растущей за стеной,
Дорогою куплено ценой
Отрешенье – символ оправданья.

* * *

Где когда-то белел ковыль,
Летним снегом на землю падая,
С чумаками прошли не вы ль
Просто так – за морской прохладою?

Где когда-то трава была
Удалой тетивы опаснее,
Синева лишь туда вела,
Где свобода ещё прекраснее.

Как пушинку, что с губ не сдуть,
Оставляли улыбку кроткою –
И стекала отравы ртуть,
И расправа была короткою.

Присмотрись – там подков не счесть –
Шлях от тяжести чубом свесился –
И на счастье примета есть
В этих отсветах полумесяца.

Там лукавый прищурен глаз,
Чтобы, чаркой извечной потчуя,
Чтили степи, вздохнув не раз,
Небывалую славу отчую.

* * *

Дыханьем родины мне степь моя верна –
Милее лепета и заповеди строже,
Она дарована, смиренье растревожа,
И нежит жалостью, где дверь отворена,
Погудкой вспархивает, шороху родня,
Звенит над запахами, длительнее эха, –
И в будущем ты ангел и утеха,
Но прожитое ближе для меня.

Мелодии священные ключи
Найдём ли мы к окрестности звучащей? –
И в этой беззащитности щемящей
Не высветлить пред вечером свечи.

Не выстоять пред облаком реке –
И кровью, пробегающей по жилам,
В печали по курганам да могилам
Она воспламенится вдалеке.

Где столько навидался на веку,
Всё чаще око тянется к пернатым,
Привязанным к отеческим пенатам,
И хатам с огоньками к огоньку.

А степи не гадают по руке –
И мгла полынная со временем роднится,
Распахивая нотные страницы,
И смотрит маревом – и, вся накоротке,
Слетает заговором в музыке старинной,
Почти что тайною, где явь твоя – извне,
И в жизни, брошенной былинкой в стороне,
Во притче памяти былинной.

И негде выговорить: милая! – с луною
Ужель найдём прибежище меж нив,
Чтоб, головы повинные склонив,
Нездешней надышаться тишиною,

Иной совсем? – на то она и есть,
Чтоб выговору вечности остаться
И слову прозорливому раздаться –
В нём боль и честь.

И травы горькие мне кажутся добрей,
И странник их, как веру, обретает –
И мнится: нет уже ни снега, ни дождей –
А птицы певчие совсем не улетают.

* * *

Лишь затем, чтоб под ветром встать,
Сохраняют деревья силы –
И доспехи роняет рать,
Под корой напрягая жилы.

Желваками бугры вокруг
Перекатываются редко –
Разве кто-то окликнет вдруг,
Под подошвами хрустнет ветка.

Кто земных не носил вериг,
Тот ни вздоха не знал, ни взмаха, –
И закопан по горло крик,
Чтоб не выдал прохожим страха.

Отродясь не увидит тот,
Кто ночного не ведал хлада,
Как из сотов густых растёт
Ощущенье пустого сада.

Под горою приют найди
У реки или чуть поближе –
Если сердце живёт в груди,
Я глаза твои сам увижу.

Хоть слова различи во мгле –
Неужели не понял сразу
Полусонных огней в селе
Фризом вытянутую фразу?

Разгадать бы в который раз
Этой трепетной стон округи! –
Вроде, ты и фонарь припас –
Может, вспомнишь ещё о друге?

* * *

Кто птице подскажет, где время искать,
В котором свободно паренье?
Кто пламени сможет впотьмах потакать,
Покуда возможно горенье?

Кто рыбу направит на истинный путь
Меж гибельных рек или в море?
Кто почву прославит, чья щедрая суть
Окажется нужною вскоре?

Кому там покажутся эти слова
Излишними вроде на фоне
Распада и стона всего естества
И боли в гортани и лоне?

Каким же паскудам по нраву разлад,
Хребта и ключиц переломы
У грозной отчизны, что мор или глад
Снесёт, но вздохнёт по-другому?

Какая пылает над нами звезда,
Какие мерцают зарницы?
Эпоха рождается в муках, когда
Не читаны судеб страницы.

Но птица упрямая рвётся в зенит,
И по ветру вьётся косынка –
И кольцами бармица тонко звенит,
И сулица ждёт поединка.

* * *

Глаза приподняв непрошенно,
Стоишь до своей поры,
Где в самую глушь заброшены
Взъерошенные дворы.

Увенчан листвой редеющей,
Стоишь, не смыкая век,
Покой прозревая реющий
Над сонным слияньем рек.

Фонарь приподняв над бездною,
Стоишь в тишине ночной,
Поддержанный твердью честною
На шаткой тропе земной.

Всё то, что давно предсказано,
Пронизано до корней
Присутствием горним разума –
И чуешь его верней.

И кто-то с тобой беседует,
Звезду в небесах подняв, –
И что-то отсюда следует,
И знаешь, что сердцем прав.

Рассеяны в мире зёрнами
Все те, кто к тебе добры, –
И травами скрыты сорными
Отравленные пиры.

Засыпаны щели домыслов
Растений пыльцой сухой,
Привычность побочных промыслов
Гнилою полна трухой.

И рот не криви из прошлого
Среди потайных щедрот –
От зол толкованья пошлого
К истокам запрятан код.

* * *

На листах виноградных – налёт
Застоявшейся мглы поднебесной, –
Только солнышко слово берёт –
Норовит закрывать ему рот
Непогода с ухваткой известной:

Поскорее успеть заслонить
Просветленье, надежду на чудо,
Направление дум изменить –
И луча напряжённую нить
Бросить с маху в какую-то груду.

Так и в жизни случалось моей:
Сколько раз этот свет прерывали,
Что бывал мне родного родней,
Что питал меня только смелей
В дни, когда мне вздохнуть не давали!

Только душу не вытравить вдруг –
Не затем она в мире желанна,
Чтобы в новый не ринуться круг,
Чтобы речи прекрасный недуг
От невзгод не спасал неустанно.

* * *

Куда заглянули вы нынче, слова? –
Не в те ли бездонные воды,
Откуда вы черпали ваши права
По первому зову свободы?

И что же от ваших стенаний и слёз,
От музыки вашей осталось?
В разомкнутом небе – предчувствие гроз,
А в сердце – простая усталость.

Но смысл ваш подспудный не так уж и прост –
И мы не ему ли внимаем,
Когда норовим дотянуться до звёзд
И рокот морей обнимаем?

В листве и цветах средь биенья лучей,
Украсивших грешную землю,
Я ваше участье ещё горячей,
Ещё откровенней приемлю.

Но с вашей повадкой и с вашей мечтой
Не только улыбки знакомы –
И тот, кто лежит под могильной плитой,
Постиг наважденье истомы.

И я наглядеться ещё не могу,
Как день наклоняется к вишням, –
И век неизбежный в себе берегу,
Чтоб с честью предстать пред Всевышним.

Москва-Коктебель

Вячеслав СУКАЧЁВ

СПЯЩИЙ В НОЖНАХ

Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

До боли знакомое, в буквальном и переносном смысле, крыльцо, тёмный провал подъезда с настежь распахнутыми двумя створками дверей. Висящая вдоль косяка красная пружина и зияющая дыра от вырванного «с мясом» замка. Какая унылая, допотопная картина, достойная разве что пьяных северных бараков времён развитого социализма и бурного строительства БАМа, когда такое жилище воспринималось как временное пристанище строителей светлого будущего. Вадик невольно задерживает шаг, представляет себя и двух амбалов в двенадцатом часу ночи, и невольно зябко поводит плечами, ещё раз осмыслив в полной мере всё то, что сделала для него в ту недобрую ночь хрупкая, рыжая женщина с короткой стрижкой. Не окажись её в тот момент рядом – кто знает, чем бы закончилась та роковая ночь, так славно начинавшаяся под звуки трёх опусов симфонической феерии под управлением Bachusa. Вполне возможно, что Светке уже некому было бы слать свои дурацкие эсэмэски, в которых за каждым словом так и сквозит ущемлённое самолюбие очень уважающего только себя человека. Вот и пусть теперь садится напротив большого зеркала, и продолжает уважать себя любимую…

Вадик долго ищет в темноте кнопку звонка, наконец, находит, и легонько прижимает вибрирующую под пальцем пластмассовую плашку. Громкий, дребезжащий звук круглой металлической чашечки, давно позабытый счастливыми обладателями новых, современных квартир, раздаётся высоко под потолком, и почти сразу послышались быстрые, лёгкие шаги.

– Кто там? – слышит Вадик хорошо запомнившийся ему молодой, сильный голос.

Окончание. Начало в № 7– 9, 2015

– Пиццу заказывали? – спрашивает он, и прячет левую руку с роскошным букетом голландских тюльпанов за спину.

– Пиццу? Какую еще пиццу? – подозрительно спрашивают за дверью.

– Пиццу с тюльпанами…

– А-а, это вы! – гремят засовы, и дверь настежь распахивается, являя взору Вадика маленькую женщину в домашнем халате и с двумя бигуди на голове. Она смотрит на него с нескрываемым любопытством, слегка приоткрыв небольшой, чувственный рот, потом отступает в сторону и делает приглашающий жест рукой: – Ну, проходите, раз уж пришли…

Вадик выдёргивает руку с тюльпанами из-за спины, перешагивает порог и с лёгким полупоклоном протягивает букет опешившей от неожиданности женщине.

– Боже мой, тюльпаны! – прижимая узкие ладони к зардевшимся щекам, восхищённо говорит женщина. – Но откуда тюльпаны зимой? – Она непонимающе смотрит на Вадика и от растерянности забывает принять у него букет. – Виталинка! Доча! – громко кричит она. – Иди, посмотри, что твоей маме принесли…

Из комнаты выбегает девочка лет пяти. Видимо, она уже готовилась ко сну, потому что была в цветастой ночнушке и с длинными, почти до пояса, распущенными русыми волосами.

– Здорово! – восхищённо говорит девочка. Глазёнки у неё загораются, и она непроизвольно тянет ручонки к букету. – Вот это да!

Вадик вручает большой букет тюльпанов девочке, и она почти вся скрывается за цветами, и лицо её, в свете не очень яркой лампочки в белом плафоне на стене, покрывается многоцветными пятнами, так что и она сама начинает походить на большой, яркий тюльпан. Мама девочки склоняется к букету, с силой втягивает воздух в себя, снизу вверх скашивая расширившиеся, светло-карие глаза на Вадика, и с неподдельным восторгом говорит:

– Так они еще и пахнут! Виталинка, они пахнут, они – настоящие! Вадик, вы просто волшебник, честное слово… Кто бы мог подумать, – наконец, она забирает у дочери букет и со всех сторон внимательно рассматривает его. – Живые цветы, мои любимые тюльпанчики…

И всё-таки, как приятно быть волшебником, пусть пару минут, пусть в глазах молоденькой женщины, неделю назад буквально спасшей тебя от смерти, но волшебником, зажёгшим тюльпановый свет в маленькой однокомнатной квартире по улице Гаражной.

– Куда же вы? – пугается женщина, когда Вадик молча переступает порог в обратном направлении.

– Я сейчас, – смущённо бормочет Вадик, – у меня там, в машине, ещё кое-что осталось…

– Пицца? – облегчённо смеётся женщина и вдруг хватается свободной рукой за голову. – Боже мой, а я в таком виде, с бигудями… Страшная, наверное, как вторая мировая война? Вы от нас не сбежите, тюльпановый волшебник?

– Не сбегу, – смеётся Вадик, и ему становится необычайно легко и свободно, словно бы он только что скинул тяжёлый, жмущий в плечах, твидовый пиджак. – Куда же мне от вас бежать?

Вадик ныряет в темноту подъезда, а женщина задумчиво смотрит ему вслед, двумя руками прижимая к груди роскошный букет.

В машине Вадик задерживается ровно настолько, сколько, по его мнению, требуется женщине в бигуди для того, чтобы привести себя в порядок. Он ещё пять минут набрасывает сверху, а потом берёт большой пластиковый пакет с продуктами из центрального супермаркета, и не спеша возвращается в квартиру на первом этаже. Специально для него дверь остаётся слегка приоткрытой, а на вешалке освобождён один крайний крючок. Мелочь, конечно, слова доброго не стоит, но как же она согрела одинокую в данный момент душу Вадика.

Он всё рассчитал правильно. Букет тюльпанов, уже без фирменной обёртки, сверкающий свежими каплями воды, стоял в недорогой стеклянной вазе в центре стола. Сама Оленька была в джинсах и чёрной кофточке в горошек с коротким рукавом, открывавшим руки приятной полноты. Вместо бигуди обнаружилась хоть и скромная, но весьма привлекательная причёска – маленький каштановый пожар на аккуратной, маленькой голове. Виталина сидела за столом и во все глаза смотрела на дядю волшебника, ловко извлекающего из пакета свертки и сверточки, но главное, конечно же, что увидела она, и к чему намертво прикипел её взгляд, небольшой кремовый торт в яркой и прозрачной пластмассовой упаковке. Девочка неосознанно протянула руку и тонким пальчиком потрогала пластик в том месте, где была необычайно искусно изготовленная, почти как живая, чайная роза.

– А теперь оближи пальчик, – засмеялась Оленька и как-то сразу, легко и просто возвращаясь к «ты», сказала Вадику: – Где туалет, надеюсь, помнишь? Мой руки – и за стол… Будем пировать!

– Есть – мыть руки! – тоже легко и просто ответил Вадик.

Они с Оленькой пили шампанское, закусывали фруктами и шоколадом, а Виталинка припала к торту. Правда, ела она совсем не жадно, отодвигая розочку «на потом», но потом, увы, так и не случилось – девочка заснула.

– Мы очень рано встаём, – как бы оправдываясь за дочку, с улыбкой сказала Оленька. – В половине восьмого нам уже надо быть в садике, а иначе я не успеваю на работу. Поэтому спать ложимся рано и спим, как видишь, уже за столом…

Оленька хотела взять дочку на руки и унести в кроватку, но неожиданно для самого себя Вадик вдруг попросил:

– А можно я отнесу? – увидев удивлённо вскинутые Олины брови, добавил: – Пожалуйста…

– Ну, неси, если хочешь, – растерянно согласилась она. – Надеюсь, не уронишь?

И Вадик взял девочку на руки, как берут самый драгоценный и хрупкий сосуд, как принимают заслуженную награду, и понёс тихо мерцающую во сне крохотную жизнь маленькой девочки, которая была в эти минуты для него дороже родины и счастья. Тёплый, пахнущий детством, доверчиво откинувшийся на его руки комочек плоти, пусть и неосознанно, во сне, доверившийся ему, переполнил Вадика таким глубинным восторгом, такой радостью простого житейского бытия, что ему тесно стало дышать, больно смотреть на слегка запрокинутое личико, на тонкую, бесконечно трогательную шейку, с пульсирующей веной у самой ключицы.

Осторожно опустив девочку в кроватку, Вадик всмотрелся в её спящее, нездешнее лицо, убрал прядку волос со лба и со вздохом уступил место Оленьке, которая несколькими быстрыми, уверенными движениями укрыла дочку одеяльцем, поправила подушку, убрала невидимые соринки и что-то прошептала легкими губами.

– Своей-то нет, что ли? – спросила Оленька, когда они вновь сели за стол.

– Нет, – вздохнул Вадик, все ещё ощущавший невесомую теплоту детского тельца.

– А по возрасту уже надо бы, а? – вопросительно посмотрела на него женщина. – Все меньше по чужим бабам шарахался бы…

– Да надо, конечно надо, – ответил Вадик, грустно допивая шампанское. – Не получается пока, хотя и стараемся.

– Значит, плохо стараетесь… Жене-то сколько лет?

– Двадцать один.

– Всего-то? – искренне удивилась Оленька. – Совсем молодая еще… Наверное, не нагулялась, вот и не получается. Знаем мы эти женские штучки…

– Не нагулялся, скорее, я, – вдруг ляпнул Вадик непонятно зачем.

– Ну, грех сомневаться, – засмеялась Оленька. – Такой красавчик! Бабы, наверное, прохода не дают? Что делать, падкие мы на красоту, хотя потом от этой красоты одна морока… Любовь, она ведь как, особенно в молодости, – Оля сделала паузу, глядя на Вадика вдруг погрустневшими глазами, – она как лихорадка, только навыворот: вначале жуткий жар поднимается, а потом – знобит… Знобит, ломает, наизнанку выворачивает… А вообще-то, Вадик, спать пора. – Оля глянула на старинные ходики с гирей, висевшие над кухонным столом. – Утром так тяжело рано вставать…

– Извините, Оля, – вдруг вновь перешёл на «вы» Вадик, – действительно, засиделся я у вас. – Он неуклюже полез из-за стола. Оленька поднялась следом. – Поехал я…

– И что, в самом деле уедешь? – усмехнулась Оленька и шагнула к Вадику. – Накормил, напоил, цветы оставил и – поехал?

Она вплотную подошла к Вадику, приподнялась на цыпочках, но и тогда дотянулась губами только до его подбородка. Почувствовав, как упёрлись её твёрдые груди ему в живот, Вадик легонько взял женщину за талию и приподнял над полом. Раскачивая головой, Оленька не спеша раздвинула своими горячими губами его губы, и там, в его обмершем в ожидании рту, её губы распустились, как божественный цветок, обдав Вадика жгучим порывом желания. Перебирая руками, он подхватил её напряжённую попочку в свои ладони, а Олечка вскинула ноги и крепко стиснула их у Вадика за спиной. И все это время их поцелуй ни на секунду не прерывался: казалось, что в эту минуту они дышали одним ртом, и даже бешено пульсирующая кровь в их венах была сейчас одна на двоих…

Едва выехал Вадик из проулка на пустую в этот час автомагистраль, как увидел на обочине голосующую женщину. Он удивился: по обе стороны дороги в этом месте виднелись производственные корпуса, впереди – мощная дорожная развязка, целое царство железобетонных конструкций, половина седьмого морозного зимнего утра и вдруг – женщина на обочине. Откуда? По какой прихоти она вдруг здесь оказалась? И неужели

не боится, что могут тормознуть возле неё отпетые отморозки, под градусом возвращающиеся как раз в это время с дискотек? Все эти вопросы в одно мгновение пронеслись в голове Вадика, а нога, между тем, уже переметнулась с педали газа на тормоз, и машина слегка заюзила на подмороженном асфальте, прижимаясь к обочине.

– Вам куда? – опуская стекло, но, не открывая дверку (уроки Эльвиры явно пошли ему впрок), громко спросил Вадик. – Я еду в центр, – на всякий случай сообщил он.

– Вот и хорошо, – сверху, не наклоняясь, сказала женщина, и её голос показался Вадику знакомым, – нам по пути…

– Что это вас в такую рань, да по такой глуши носит? – открывая дверку, проворчал Вадик, одновременно с этим в зеркало заднего вида настороженно обозревая окрестности. Ведь сколько уже случаев было, когда тормозит машину одинокая женщина, а потом появляются добрые молодцы, наподобие тех, что вышли к нему из подъезда, и хорошо если живым отпустят.

– Носит, носит, – легко опустившись на сиденье, женщина расстегнула верхние пуговицы дублёнки, откинула на плечи яркий, цветной платок и тряхнула вырвавшимися на волю роскошными, смолистыми волосами, даже в неверном свете от шкалы приборов отливающих блеском здоровья и чистоты. – Меня всегда где-нибудь носит…

– Карма? – обомлел Вадик и неожиданно весело рассмеялся.

– У вас, Вадик, видимо, профессиональная память на женщин, – слегка поворачиваясь к нему и в упор глядя необыкновенно большими, выразительными глазами под тёмными арками круто выгнутых бровей, заговорила его случайная попутчица по поезду.

– Ну, вас один раз увидишь – и уже не забудешь никогда, – с искренним восхищением ответил Вадик. – Я таких женщин никогда и нигде больше не встречал!

– А Оленька? – усмехнулась Карма. – Неужели она хуже меня?

– Она – лучше! – вырвалось у Вадика. – Но вы – красивее… Вы, простите, как Мадонна Рафаэля, на вас можно просто смотреть и наслаждаться.

– Понятно… Значит, с Оленькой вы будете спать, а на меня смотреть и наслаждаться? – тихо засмеялась Карма. – А вы не боитесь, что меня такой расклад не устроит? Я ведь все-таки

женщина, а не икона, Вадик… Я тоже хочу, чтобы меня ночью сладко любили…

Вадик с удивлением покосился на Карму: чересчур серьёзно и грустно прозвучали её последние слова. Вадику даже показалось, что эта странная женщина, эта красавица, которую он видит второй раз в жизни, и в самом деле слегка обиделась на него. А следом пришло удивление, даже – шок: а откуда, собственно говоря, эта женщина знает про Оленьку и про то, что он сегодня у неё ночевал? Ведь могут знать об этом пока что только два человека в мире: Оленька и он сам. Так откуда?

– Знаю, знаю, – вдруг погрозила длинным, тонким пальцем Карма, откидываясь на спинку сиденья. – Я всё знаю… А почему мы, Вадик, все ещё стоим? Поехали…

И только теперь Вадик заметил, что они и в самом деле стоят на обочине, и машин на трассе с каждой минутой прибавляется. Он включил скорость, глянул в правое зеркало, щёлкнул поворотником и медленно выкатился на трассу. Словно навёрстывая упущенное время, он притопил педаль газа, и его мощный мерин, закусив удила, стал резво набирать скорость. Когда стрелка качнулась к цифре сто, Карма слегка повернула к нему свой классический профиль и негромко сказала:

– Не так быстро, Вадик, не так быстро… Нам с вами предстоит серьёзный разговор, и я хочу, чтобы вы его хорошо запомнили.

И что-то грозное, тяжёлое и непреклонное словно бы встало у Вадика за плечами, как человек с ружьём, и спёрло дыхание, и дрогнули руки на колесе управления, словно бы он увидел впереди несущийся навстречу многотонный грузовик, и в последнюю секунду обречённо понял, что едет по встречной полосе.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В школе Ира Ковалёва училась средненько и никак не могла придумать ту профессию, которой она хотела бы посвятить свою жизнь. Её подружки давным-давно определились, а она всё – никак. Уже и мать к ней приставала по этому поводу, и отец недовольно кряхтел, мол, все дети как дети, а наша… А она и влюбиться долго не могла. Почему-то так у неё получалось, что стоило ей обратить на мальчика внимание, как на него обращали внимание все девочки класса. Начинались интриги, борьба

за мальчика, порой – нешуточная, и Ира тихо отступала в сторону, и никогда потом не жалела об этом. Мальчики, видимо, тоже. По крайней мере, никто не писал ей тайные записки, не назначал свиданий и не пел серенады под окном. Да и, честно говоря (она это потом, несколько лет спустя, поняла), по заслугам. Ничего она из себя в те годы не представляла: мелкие черты лица, светленькие волосы, не особенно густые и не особенно ухоженные, не то серо-зелёные, не то вообще карие глаза и подростковая угловатость – ну и о чём тут было говорить? К тому же всё это в ней топорщилось, ёжилось при любом соприкосновении с окружающей действительностью, создавая девочке-подростку кучу ненужных проблем и недоразумений.

Сразу после восьмого класса она поступила в четырёхгодичный медицинский техникум, после которого получила не только специальность квалифицированной медицинской сестры, но и аттестат о среднем образовании. Родители, яростно возражавшие против техникума, как и все прочие родители, почему-то считавшие своё неразумное чадо чем-то особенным, достойным иной судьбы и более завидной участи, какое-то время были в жуткой обиде на свою дочь. Но уже со второго курса, когда дочка начала давать им дельные советы по простудным заболеваниям и смело взяла на себя ответственность по лечению хронических болячек, родители отмякли, подобрели, а к четвёртому курсу и зауважали своё чадо. Более того, в разговорах с третьими лицами они вдруг начали называть её по имени-отчеству. «А нам Ирина Семёновна пользоваться антибиотиками не советует, – авторитетно заявляли они. – А уж Ирина Семеновна чего попало своим родителям не присоветует». Таким образом, мир и гармония в их отношениях восстановились, а вот вопросы остались. Девочке уже семнадцать, восемнадцать, девятнадцать лет, а она всё ещё без парня, без любви. Как такое может быть? Она что у них, дефективная, с печки падала – да ничего подобного! Все, как говорится, при ней, кроме хорошего красавца жениха.

Поздно, очень поздно по нынешним временам, лишь в восемнадцать лет, Ирина, наконец, расцеловалась с зеркалом. В самый обычный день, при самой обычной утренней процедуре – слегка подкрасить ресницы да подвести брови, она вдруг увидела в зеркале серьёзную, задумчивую девушку с аккуратной причёской красивых русых волос и необычайно ясными, выразительными серо-зелёными глазами. Ирина очень удивилась и даже оглянулась – может, кто-то зашёл к ним в гости и

встал у неё за спиной. Но нет, висели на старенькой кафельной стенке еще советского производства банные полотенца, над ними – старенький, пожелтевший от времени плафон с лампочкой-сороковкой, чёрный выключатель под ним и – никаких гостей. Только она, Ирина, собственной персоной, и недавно купленное ею большое круглое зеркало в пластиковой оправе. Она внимательнее вгляделась в своё зеркальное отражение, надеясь обнаружить в нём какой-то современный секрет, превращающий заурядных девушек в весьма приличных, серьёзных девиц, способных пусть и не скачущих коней останавливать, но уж приличных мужчин – точно… Это открытие в себе – самой себя было, по сути, революционным событием в жизни Ирины, потребовавшим строгого пересмотра всех прежних ценностей – начиная с гардероба и заканчивая длиной ногтей. Даже ходить теперь требовалось совершенно иначе, чем ходила она до сих пор: ссутулившись, опустив голову, торопливым шагом, никого и ничего вокруг не замечая. А как только Ирина приподняла голову и гордо выпрямила спину, степенно замедлив свой шаг, она тут же и увидела, что в городе полно мужчин, и что далеко не все они равнодушно проходят мимо неё.

Ах, как упоительны в России вечера! Песенка эта хоть и отшумела в конце девяностых годов прошлого века, но столько раз была с восторгом прослушана по родительскому магнитофону и столько раз просмотрен – истомно-романтичный клип с красивыми видами, поединком и ссылкой в Сибирь родимую, что впечаталась в мозг Ирины крепче, чем доисторические петроглифы в каменные утёсы древнего Сикачи-Аляна. Безыскусные строчки этой незатейливой песенки теперь каждый вечер всплывали в памяти Ирины, когда по городским бульварам и проспектам она возвращалась с работы домой. Действительно, было упоительно идти под перекрёстными взглядами мужчин, ввиду весны и тёплого течения Гольфстрим, расправивших после долгой зимней спячки плечи и зорко озирающих городской курятник. И вот он думает, любитель светленьких, свежих курочек, что ты уже мимо прошла, уже не видишь его плотоядного, раздевающего взгляда, которым он пытается приподнять твои одежды и что-то особенное увидеть под ними. Наивный, голенастый петух, он не знает даже такой элементарной вещи: самой матушкой Природой предусмотрено так, что угол обзора женщины значительно шире, чем у мужчины. И когда он с глубоким вздохом опускает распушённые пёрышки, думая, что спесивая курочка уже прошествовала мимо, она всё ещё видит его, оце-

нивает и делает выводы. И если пёрышки опускаются слишком быстро, а взгляд потухает слишком рано – всё, ты приговорён к закланию в памяти так понравившейся тебе обворожительной несушки, которая, будь в этом твёрдо уверен, уже никогда не принесёт свои яйца в твою корзину. Ваша песенка спета, вернее – бездарно прокукарекана…

Школу обольщения, которую её сверстницы постигали в течение двух-трёх лет, Ирина одолела за месяц, если считать и тот день, в который она увидела в зеркале самоё себя.

Но был, был у Ирочки один серьёзный изъян, благодаря которому она основательно проигрывала своим подружкам-сверстницам. И проигрывала в той части и на том поле, где учителями бывают, увы, только собственные ошибки. Мой проницательный читатель уже наверняка догадался, о чём идет речь: Ирочка, в ближайшем будущем Ирина Семеновна Ковалева, в своё время не прошла прививку первой любовью. Да-да, той самой, о которой с возрастом мы вспоминаем со снисходительной улыбкой, но благодаря которой весь процесс заболевания, стремительного его течения, а затем вялого выздоровления, проходит по вполне предсказуемому, скажем так – цивильному сценарию. Другое дело – если юношеская любовь обошла вас стороной, если вы в своё время не пережили все эти восторги и не решались ради любимого пару раз умереть, и обязательно красиво, желательно – у него на глазах, естественно, красных от горючих слёз. Без этой прививки ваша иммунная система любви совершенно беззащитна, уязвима, а мужики, сволочи, почему-то эту беззащитность за версту чуют и бросаются на непривитый росток, аки тати, поедая трогательные, пышно распустившиеся цветы страсти, набивая ими свою ненажорную утробу, чтобы уже завтра забыть на обочине несчастный, растоптанный бутон…

Конечно же, в один не очень прекрасный день и не очень подходящую минуту, когда Ирочка была особенно беззащитна, наблюдая за прогуливающимися по бульвару влюблёнными парочками, встретился он, единственный и неповторимый, рыцарь без страха и упрёка. И ведь встретился – банальнее не придумаешь: спросил, как пройти к кинотеатру «Ударник», в котором минут через сорок они вместе и оказались, поскольку у залётного гостя нашего города совершенно случайно оказался лишний билетик.

Вот здесь всё и началось: тесные прикосновения, шёпот «на ушко», плавно переходящий в наглые поцелуи, совершен-

но случайные касания то локтем взволнованно поднимающейся груди, то пальцами – ничем не прикрытых колен. И всё это было в представлении бедной Ирочки так пошло, так стыдно, что она несколько раз порывалась встать и уйти немедленно, но всякий раз сильная рука стискивала её за талию, а ухо в очередной раз обжигал настойчивый шепот:

– Ирочка, прости! Прости меня, подлеца, но ты меня сводишь с ума! Я никогда такого ещё не переживал, я сам не знаю, что со мною происходит…

Ира верила и не верила Борису, как отрекомендовал он сам себя, но встать посреди сеанса и пробираться к выходу, путаясь в чужих ногах, она тоже считала невозможным. А, между тем, настойчивые касания, пожимания, прикосновения делали своё дело, и Ирочка, красная и потная от переживаемого стыда, вжавшаяся в кресло так, чтобы её как можно меньше было видно, вдруг начала ощущать что-то такое, отдалённо похожее на удовольствие, но только ещё глубже и потаённее. Она этих ощущений ещё не знала, не понимала их природу, но то, что руки Борика уже не казались ей столь грубыми и бесцеремонными, как в первые мгновения, это был факт и факт – прискорбный.

Ирочка вдруг подумала, что она какая-то особенно извращённая особа, коль позволяет совершенно незнакомому мужчине не только касаться себя, но ещё и испытывает при этом что-то такое, стыдное и непонятное, весьма смахивающее на удовольствие. Но как это может быть, если после четырнадцати лет даже прикосновения отца заставляли её непроизвольно сжиматься в тугой, ершистый комок, способный взорваться непреодолимым приступом ярости. А это ведь её родной отец, чья кровь струилась и орошала собою каждую её клеточку, чья родинка под левой лопаткой стала и её родинкой, как фамильный знак рода Ковалёвых. И вдруг – какой-то Борис, в синеньком лётном кителе и форменной фуражке с высокой тульей, горбоносый и губастый брюнет с васильковыми глазами, которого ещё час назад она вообще не знала, и даже не подозревала, что где-то живёт и дышит это чудо в перьях с упрямыми лапами и медовыми словами на языке, беззастенчиво трогает её за разные места, и она это терпит…

– Ты божественная, – шепчет ей Борис, кажется, целиком ввинчиваясь в её маленькое розовое ушко. – Ты чудо, подаренное мне богом, – кощунствует этот подлец, не знающий какими пальцами надо креститься. – Я всю жизнь ждал этой встречи,

мой воробушек, я так страдал без тебя, но всё, всё, всё, – муки мои кончились. Ты рядом, ты – со мной!

И руки, эти ужасные руки, они оказываются повсюду, цепляются за неё словно весенние репьи, и Ирочка просто-напросто не успевает отцеплять и снимать с себя эти вездесущие пальцы-присоски. И вообще, Ирочке вдруг показалось, что она как бы раздвоилась, что в ней хотя и не мирно, но уживаются две Иры: одна из них, более привычная и понятная, до предела возмущена хамским поведением незнакомого мужчины, тем, что он бесцеремонно распускает руки, а вокруг люди, они всё видят, и как после этого жить – непонятно. Другая Ира, малознакомая особа, отчаянная и непредсказуемая, млеет от наглых прикосновений, заслушивается насквозь фальшивыми словами и втайне хорошо понимает, что все последние годы она жила в ожидании именно этих слов и этих откровенных прикосновений, обещающих нечто большее, тайное и сладкое…

– После кино, моя сладкая косточка, моя недотрога, – шепчет и шепчет змей-искуситель, – мы пойдём ко мне в гостиницу. У меня там замечательное итальянское вино и фрукты… Ты когда-нибудь ела настоящие финики? Они такие же сладкие, как и ты, мой воробушек. Мы посидим у меня, а потом я тебя провожу домой, а потом – увезу в свой город…

– Какой город? – деревянным языком спрашивает Ира, и уже почти не отстраняется от горячего, скользкого, острого языка Бориса, буквально вползающего ей в ухо, от чего у неё влажнеют не только ладони, но и всё остальное, что может повлажнеть у молоденькой девятнадцатилетней девушки.

– В Краснодар, моя косточка, в чудесный город Краснодар, где сейчас цветут яблоневые сады, и запах от них такой, что можно умереть, – и горячая его рука вновь ложится на её колено, и задерживается на нём дольше обычного, зачем-то пытаясь продавить лазейку между колен, протиснуться между ними, разлучить их молчаливую солидарность, и проникнуть в преддверие женской тайны и девичьего целомудрия… Но Ира, первая Ира, ещё жива, ещё не окончательно втоптал её в свою истомную похоть коварный змей-искуситель из Краснодара, и она с трудом, но отдирает цепкую лапу от своих колен, и возвращает разочарованно вздохнувшему Борису.

– Ты поедешь ко мне, ласковый мой воробушек? Нет-нет, не отвечай сразу, подумай – я подожду, я подожду тебя, я привык ждать… И всё у нас будет замечательно, – и ползёт, просачивается клешня между рукой и тёпленьким боком Ирочки, и трогает,

боже мой – поглаживает самое тайное, самое заветное – закаменевшую Ирочкину грудь. Первая Ирочка от испуга чуть ли не вскрикивает, хватает неумолимые пальцы краснодарского сердцееда с намерением переломать их все по суставам, раздавить, как противного кухонного таракана, прокравшегося на обеденный стол, но вторая Ира ловко перехватывает пальцы искусителя и задерживает в своей руке, слегка ответив легчайшим пожатием. «Ирка, ты что делаешь? Ты погубишь нас обеих! – в ужасе вопит первая Ирка. – Сейчас же отпусти его руку, отшвырни её от себя!» – «Ладно, ладно, – недовольно бурчит вторая Ира, – не кудахтай, сейчас отпущу… Только имей ввиду, что таким образом можно на всю жизнь остаться старой девой. Ты этого добиваешься? Ты этого хочешь?»

Кино продолжается, а вместе с ним продолжается и борьба змея-искусителя с маленькой, худенькой девочкой, распростёртой в кресле кинотеатра «Ударник», словно на лобном месте, видном со всех сторон, стыдном, позорном, но и таком всё-таки притягательном.

2

И всё-таки был и у неё этот странный, тысячу раз описанный самыми разными людьми (разумеется, Лера в свое время прочитала знаменитую книгу – «Жизнь после смерти»), фантастический коридор, тоннель ли, с ярким пятном света в конце, на который шли, идут и вечно будут идти люди с надеждой на какое-то внеземное чудо, на спасение, наконец… Но на какое спасение может рассчитывать человек, от кого он вечно спасается, и кому он где-то там, в конце тоннеля, нужен? Мне кажется, мой дорогой, мой бесценный читатель, что совершенно случайно, безо всякого тайного умысла и права на это, мною поставлены сейчас такие вопросы, над ответами на которые человечество бьётся со дня творения… Но никому и никогда так и не удалось хотя бы вышагнуть за пределы тоннеля, манящий свет которого так и остался всего лишь яркой приманкой, на которую летят и летят люди-мотыльки. А спасаться человеку, и об этом я смело могу судить, сообразуясь со своим личным опытом, надо только от самого себя, и спасительный свет искать – только в самом себе… Жизнь нам даётся, как тонкий и хрупкий сосуд, равномерно наполненный биологической субстанцией, в которой изначально есть уже всё: тайна нашего рождения и смерти, знание Космоса и память о миллиардах предыдущих наших

жизней, начиная от крохотного зародыша, биллионы лет назад вызревшего в оболочке искусственной плазмы, и наделённого одним единственным геном – геном развития. С каждым последующим рождением этот ген множился в геометрической прогрессии, выдавая своему носителю – Gomo Sapiens, ровно столько клеток, сколько ему необходимо было для выживания… И вот всю свою сознательную жизнь мы неустанно ищем, пробиваемся сквозь неисчислимые преграды и хитроумные препятствия к тому единственному и неповторимому зародышу, надёжно упрятанному в нас самих до лучших времен, и который, вполне возможно, и есть Бог… Это к Нему ведут все коридоры и тоннели, куда с тайной надеждой вступаем мы в пограничные минуты жизни земной, это Он вспыхивает яркой путеводной звездой надежды, вечно маня, но никогда не допуская к себе… Всё, решительно всё – в нас, дорогой мой читатель, в нас и – с нами, в том удивительном сосуде, вместилище нашей жизни, который даден нам с вами на вечное хранение…

Лера с радостью впорхнула в тоннель, залитый ровным, приглушённым светом. Тоннель был похож на большой, до блеска отполированный цилиндр, такой большой, что если бы она раскинула руки, то и тогда не смогла бы достать до овальных стен, равно как и до овального потолка. Согласно законам оптики цилиндр этот, не теряя форм и пропорций, в перспективе сужался до небольшого круглого отверстия, за которым, она это отчётливо видела, действительно сиял невозможно яркий, тёплый, манящий свет. В нём было что-то близкое, родное, понятное до озноба во всём теле… Если бы человек мог возвращаться и возвращался в материнское лоно, Лера с полным основанием могла сказать, что да, она возвращается туда, откуда вышла тридцать лет назад – в биологический дом своего детства…

И она не пошла, нет, а словно бы поплыла по цилиндру, над самым его основанием, чувствуя земное притяжение, и в тоже время не подчиняясь ему. Это было удивительное ощущение – освободиться от притягательной власти Земли, которой она принадлежала каждой своей клеткой, каждой каплей крови, проросшая в неё всеми своими мозговыми извилинами с миллиардами тончайших нервных окончаний. Всё, решительно всё в ней еще мгновение назад принадлежало Земле, вместе с ней неслось в Космосе, обращалось вокруг Солнца и вдруг – переход через светящийся матовым светом цилиндр, и странное ощущение, что уже ни один волосок из миллиардов не связы-

вает её с Землей, она уже не принадлежит Ей, она – свободна! Она – ничейная… И только этот манящий свет впереди, к которому бездумно и безоглядно устремилась Лера, не помня прошлого и не зная будущего… Самое удивительное во всём этом было то, что она и не нуждалась ни в каком знании, и её освобождение было в первую очередь – Освобождением от знаний, которые от рождения обременяли её непосильным грузом, и с каждым годом всё множились и множились, тяжкими гирями притягивая к Земле. Может быть, в этом и был весь смысл Спасения – избавиться от знаний, сваленных, как куча камней, в тот самый единственный ген, спрятанный в биологической субстанции человеческого существа, а затем оторваться (Освободиться) от земного притяжения в самом широком смысле этих слов…

Все ближе и ближе был выход из тоннеля, а за спиной, когда Лера оглянулась, она вдруг увидела сине-зёленый глобус, чуть меньше входного отверстия тоннеля, медленно отдаляющийся и становящийся всё меньше и меньше. «Да это же – Земля! – внезапно осенило Леру. – Но какая маленькая, какая красивая, как игрушка…» Ни сомнения, ни приступа памяти не почувствовала она, а лишь лёгкое удивление, что её родовое гнездо такое маленькое, хрупкое, действительно – как игрушка в сравнении с тем необъятным и непостижимым светом, куда она сейчас так настойчиво стремилась.

И вдруг, как показалось ей, на самом выходе из тоннеля, когда свет стал уже нестерпимо ярким, когда и сама Лера, казалось, начала светиться, становясь источником, а не потребителем света, из ничего как бы соткалось небольшое облачко, заслонив собою сияющий выход. Но это ничуть не смутило Леру, отнюдь, и поэтому она совсем не удивилась, когда из облачка, словно в давно прочитанной сказке, на неё взглянули чьи-то удивительно пронзительные, серо-зелёные глаза под тёмными и густыми бороздами бровей. Её поразило не само явление этих ни с чем несравнимых глаз, а то, что посреди ровного, неземного сияния, которое втягивало её в себя, как втягивает соринку в водоворот сливного отверстия, она различила цвет этих глаз. Цвет – это земное, это покинутое ею прошлое, откуда он мог здесь взяться? Но дальше – больше… Неожиданно из облачка пророс маленький, сухонький старичок с небольшой, клиновидной бородкой и необыкновенно узкими, вытянутыми к вискам, глазами, теми самыми, имеющими цвет. Казалось, он с лёгкой укоризной смотрел на Леру, легко, волнообразно пока-

чиваясь в сияющем чреве тоннеля. Затем из ничего, из пустоты (здесь не было и не могло быть воздуха), соткались слова, которые Лера не услышала, а впитала всей своей неземной уже субстанцией.

– Ты туда? – строго спросил её старец из облака, но так получилось, что одновременно с ним Леру спросил об этом и её отец.

– Да! – радостно ответила она, воспринимая старца из облака как сказочный персонаж, исполняющий роль привратника вечного сияния.

– Рано, – коротко сказал старец и нахмурился.

– Но почему? – с удивлённым возмущением вскричала Лера. – Ведь я уже пришла!

– Нет, – старец покачал головой, и в его глазах, вытянутых к вискам, вдруг засветились разноцветные огоньки, словно бы это была сложная панель управления. – Тебе – туда… – Он указал рукой в том направлении, откуда Лера только что пришла. – Тебя там ждут…

Лера оглянулась и увидела совсем маленький, словно бы подсвеченный изнутри глобус, цветным шариком сияющий среди тёмной бездны, очень одинокий, очень далёкий и вдруг показалось – родной. И ещё она отчётливо разглядела ровную гладь Реки, лунную дорожку, соединяющую берега, и два силуэта, тесно прижавшихся друг к другу…

– Серёжа, – словно из сырой глины, тяжело вылепила Лера первое слово, и с усилием открыла глаза. – Скворец…

За окном был серенький, бледный рассвет. Лера увидела и выделила его для себя в самые первые минуты сознания, совершенно проигнорировав тусклый ночник над головой. Она всё смотрела и смотрела на бледный квадрат окна, и ей казалось, что это важно, чрезвычайно важно для неё сейчас: через серенькое сияние начинающегося дня подключиться ко всему остальному миру – тёплому, живому, с запахами и цветом. Казалось, что у неё подсели батареи аккумулятора, и жизненно важно было немедленно подключить их к солнечной сети, напитать энергией «на сейчас» и – «про запас»… И только потом можно было подумать обо всём случившемся, о прошлом и будущем: встроить себя в память, в ощущения, в надежды… И, слава Богу, что в этот момент никого в палате не оказалось и она могла себе это позволить: смотреть и смотреть на живой свет нарождающегося дня, и чувствовать себя причастной к нему, как чувствует

развивающийся плод свою причастность к материнскому лону через пуповину. Слабость и отрешённость от остального мира уходили из неё, как уходит холод из топки, когда в ней разжигают огонь. Они уходили не потому, что сжалились и подобрели к распростёртой на постели Лере, отнюдь – они уходили, злобно шипя, ворча и оглядываясь, под натиском просыпающихся в ней жизненных сил. И еще, видимо, по велению того строгого старца с необычайно вытянутыми к вискам глазами, что решительно преградил ей дорогу к белому сиянию…

3

– Простите, вас ведь Олей зовут? – после небольшой паузы спросил Мартын, наблюдая за тем, как его водитель подошёл к машине охраны, коротко переговорил с ребятами, и пошёл дальше, загребая ногами снег.

– Да, Оля, – слегка удивилась женщина.

– А полностью?

– Ольга Васильевна Шатрова… Но меня так никто не зовёт. Все – Оленька да Оленька…

– И правильно, – улыбнулся Геннадий Степанович. – Вам еще рано отчеством обрастать.

– А мне кажется, – вздохнула Оля, – я и помру Оленькой… Ведь я уже пять лет, как мама, а всё привыкнуть к этому не могу. Всё время кажется, что Виталинку мне на воспитание случайно отдали, по ошибке… Что я проснусь однажды утром, а никого у меня нет и не было…

– Странно вообще-то, – нахмурился Мартын, слегка сбитый с толка наивной откровенностью женщины. – Разве могут молодые мамы так думать о своём ребёнке?

– Не знаю, – вздохнула Оленька. – Я вот думаю, а как остальные – кто его знает…

– Хорошо, Оля, давайте приступим к делу, – Мартыну очень неудобно было разговаривать с человеком, сидящим у него за спиной, и он попросил: – Но прежде, Ольга Васильевна, пересядьте, пожалуйста, за спинку сиденья водителя… Мне так удобнее будет разговаривать с вами.

– Да, конечно, Геннадий Степанович, – пересаживаясь влево, сказала Оленька. – А то я тоже только вашу спину вижу. – Одновременно с этим она почувствовала, как неприятно царапнуло её это неожиданное – Ольга Васильевна. Человек в роговых очках словно бы специально дистанцировался от неё на доста-

точное расстояние, чтобы потом ему проще было общаться с нею…

– Я слушаю, – сухо напомнил Мартын.

– Мне кажется, Геннадий Степанович, что наш больной из бокса номер один, о котором вы спрашивали, совершенно здоровый человек… И держат его у нас – не знаю почему…

Мартын удивлённо посмотрел на Олечку и тут же поменял мнение о ней: «Да нет, подумал он вразрез тому, что думал десять минут назад, – она обыкновенная дурочка. И ухо с ней надо держать востро – от дураков – все проблемы. С умным человеком всегда можно договориться, с дураком – никогда, и по одной простой причине: дурак непредсказуем, его невозможно просчитать…»

– Мне кажется, – продолжала Олечка, – что Бабанович специально его держит у нас, а Ирина Семёновна ему помогает… И это, Геннадий Степанович, уже не первый такой случай. Но на этот раз они даже меня перестали к нему подпускать.

– Почему? – хмуро поинтересовался Мартын.

– А кто его знает, – пожала плечами Оленька. – У меня дочка болела, и две недели я провела на больничном… А когда вышла на работу, меня и перестали пускать в бокс номер один. Да и делать у этого Иванова нечего: он же совсем здоровый, его выписывать надо. Но главное – не в этом…

– А в чём же? – насторожился Геннадий Степанович.

– Главное в том, что наша Ирочка Семёновна влюбилась в этого Иванова, вот! – Оленька раскраснелась от возбуждения, светло-каштановые глаза у неё засверкали, заискрились, словно их маслом полили. – Это даже так видно: она стала следить за собой, на работу, как в театр приходит… И глазки у неё накрашены, и губки подведены, и маникюр… В общем, Геннадий Степанович, нас, женщин, по этой части не проведёшь…

– Все это весьма любопытно, Ольга Васильевна, – хмуро сказал Мартын, – но меня интересует…

– А вы послушайте дальше, – возбуждённо перебила Оленька. – Всё самое главное, Геннадий Степанович, только начинается.

И она со всеми деталями и подробностями рассказала Мартыну всё, что услышала под дверью до той минуты, когда вдруг появилась та странная женщина, о которой она никак забыть не может.

– Я правильно понял, – внимательно выслушав рассказ Оленьки, хмуро заговорил Геннадий Степанович, – что ваша влюблённая старшая медсестра настаивает на том, чтобы пре-

кратить всякое лечение Иванова и выпустить его из клиники, а Михаил Борисович с нею не согласен?

– Да, Геннадий Степанович, правильно… Она, Ирочка Семеновна, так и сказала, мол, зачем мы должны пичкать его наркотиками и спецпрепаратами, если они могут сделать из него, ну, из Иванова, вполне здорового и нормального человека, законченного психа?.. Мне кажется, они чуть не поругались… Бабанович ей отвечает, что это очень серьёзно и опасно, что у Иванова кто-то есть…

– А вот с этого места, Оленька, – Мартын, сам не заметив того, вновь сократил дистанцию, – поподробнее… Постарайтесь вспомнить всё, каждое слово. Для меня это очень важно…

– Не-а, – помотала головой Оленька, – не получится…

– Почему? – удивлённо вскинул на неё серьёзные глаза Геннадий Степанович.

– Да потому, что в этот момент и появилась женщина, – огорчённо вздохнула Оленька.

– Какая женщина? Где появилась? – не понял Мартын.

– Появилась она в коридоре, прямо за моей спиной… Вы понимаете, я даже не слышала, как она подошла – словно из-под земли выросла. Мне даже так неудобно стало, – честно призналась Оленька, – я под чужой дверью стою, слушаю, и она это, мне кажется, поняла.

– Что за женщина? – повторил вопрос Мартын.

– А я знаю… Спрашивает, где у нас регистратура находится, а сама уже на втором этаже… Вы у нас были и знаете, чтобы на второй этаж, в администрацию попасть, надо обязательно мимо нашей вахты и регистратуры пройти, – Оленька и сейчас была в полном недоумении. – И вообще, странная какая-то женщина, я таких раньше никогда не видела.

– Ну и в чём ее странность? – не понял Мартын.

– Во всём, Геннадий Степанович… Во первых, она высокая и очень стройная, как совсем молоденькая девушка, хотя ей, я думаю, уже за тридцать. И такая красивая, что не описать… Глаза огромные, чёрные, а над ними густые, тёмные брови, и так изогнуты, словно это арки какие-то, а не брови.

При последних словах Мартын внутренне вздрогнул, вспомнив женщину, которую встретил недалеко от своего офиса. Ведь именно она спрашивала у него дорогу в клинику Бабановича, и тоже была необычайной красоты. И как же всё это понимать? Опять случайность?

– И что она вам сказала?

– Что у неё два пропуска! – выпалила взволнованная Оля. – Это когда я её спросила, есть у неё пропуск или нет.

– Зачем два пропуска? – удивился Мартын.

– Вот и я ей тоже самое сказала… А она, знаете, так странно ответила: один, мол, чтобы войти в клинику, а другой, представляете, чтобы вывести меня…

– Откуда?

– Не знаю… Со второго этажа, наверное. Мне кажется, ей не понравилось, что я стою под дверью кабинета Бабановича… Мне так показалось. А когда я подумала, что надо доложить о ней Бабановичу, она посмотрела на меня, так посмотрела, и говорит, что не надо никому докладывать…

– Она что, мысли ваши прочитала?

– Так получается, Геннадий Степанович. И ещё я слышала, как Иванов сказал Ирине Семеновне, что зовут его Константин Владимирович, и что за последнее время в его жизни произошло очень много странных событий…

Если до этого момента Мартын серьёзно сомневался в том, надо ли оплачивать столь расплывчатую, не конкретную информацию, то с последними словами Оленьки он решительно сунул руку во внутренний карман и достал заранее приготовленный конверт.

– Это вам, – коротко сказал он, протягивая конверт с деньгами. – Как я и обещал… Продолжайте наблюдать и обо всём докладывайте мне…

– Спасибо, – прошептала Оленька, до последнего не верившая, что она может получать такие большие деньги – за такие пустяки. – Я буду стараться.

4

Под впечатлением минувшего вечера Вадик находился весь день. И посреди телефонного разговора, и за компьютером с чертежами заказанной мебели, и на переговорах с клиентами нет – нет, да и всплывал в памяти тоненький пальчик Виталинки, трогающий кремовую розочку через прозрачный пластик. А поверх стола, напротив – каштановое сияние волос и беспокойные шоколадные глаза, настороженно разглядывающие его…

– Доча, скушай грушу, – настойчиво просит Оленька, – она такая сочная, такая вкусная.

– Нам в садике давали, – равнодушно отвечает девочка.

– Вам давали твёрдые, невкусные. Ты хотя бы попробуй, потом тебя за уши не оторвёшь, – уговаривает дочку недовольная Оленька, мелкими глотками отхлёбывая полусладкое «Советское шампанское».

– Не хочу-у, – упрямо трясёт головой Виталина.

– Ну, как это можно – не хотеть? – искренне удивляется Оленька и обращается за помощью к Вадику. – Ведь правда же, очень вкусная груша, Вадим Сергеевич?

Он с готовностью открыл было рот, чтобы подтвердить такую очевидную истину, но в этот момент случайно перехватил умоляющий взгляд девочки. Кажется, из самых глубин незамутнённой детской души она умоляла его не поддерживать мать, а встать на её сторону. Вадик даже онемел на какое-то время от удивления, а потом неожиданно тёплая, горделивая волна полностью захлестнула его: эта незнакомая девочка, это беззащитное существо, еще тёплое материнским теплом, просила у него, такого взрослого, большого и сильного, защиты и поддержки. И Вадика словно перевернуло, в одну секунду ему вспомнилось так много из своего собственного детства, деревенского, незавидного, так тепло вспомнилось, как он не вспоминал уже много лет…

Вадик молча протягивает руку, берёт коробку с тортом, срывает с неё высокую крышку и торжественно ставит перед девочкой. Никогда ещё он не видел таких благодарных, таких влюблённых в него глаз, какими на одно мгновение осветила его Виталина, прежде чем перевести вопросительный взгляд на растерянно улыбающуюся маму.

– Можно? – едва слышно спрашивает воспитанный ребенок.

– Ну, наверное, можно, раз Вадим Сергеевич тебе разрешает, – с лёгкой обидой отвечает слегка обескураженная Оленька. – Хотя, если честно, я не понимаю…

– Кушай, – шепчет девочке широко улыбающийся Вадик.

– Спасибо, – тоже шёпотом отвечает Виталина, и маленькой серебряной ложечкой захватывает самый краешек торта. Некоторое время она держит ложечку с тортом на весу, и Вадик, глядя на неё, невольно делает глотательное движение, вместо Виталины ощущая во рту непередаваемый вкус свежего кремового торта. Наконец, девочка подносит ложечку ко рту, осторожно трогает торт острым кончиком розового языка и лишь затем сжимает его губами. Ест она медленно, не жадно, изредка взглядывая на мать и Вадика благодарными глазами, и Вадику кажется в этот момент, что более счастливых минут он ещё не переживал.

– Ну и как, вкусно? – ревниво спрашивает Оленька.

– Очень, – отвечает девочка, и тут же протягивает ложечку с тортом матери.

– А и в самом деле ничего, – говорит Оленька, вкусно облизываясь. – Научились и у нас разные торты делать. А раньше, я помню, моя мама всё «Наполеон» на праздники пекла. И куда в гости не придёшь, у всех – «Наполеон» да «Медовый»… Правда, вкуснющие такие были, но жирные! Особенно – «Наполеон». Съешь кусок, считай, месячную норму калорий в себя загрузил…

А потом Виталинка наелась торта и заснула прямо за столом, а они этого сразу и не заметили. Девочка лежит розовой щёчкой на руке, волосы по спине и плечу разметались, и тоненькая прозрачная слюна выкатилась у неё из уголка полуоткрытого рта на подбородок…

На столе звякнул и задёргался мобильник – пришла эсэмэска. Вадик лениво поворачивает голову и смотрит на телефон. Пытается вспомнить и не может, когда они со Светкой последний раз разговаривали по телефону. Он даже голос её телефонный успел забыть, да и не телефонный – тоже. Скоро десять дней, как Вадик из командировки вернулся, а виделись они только в день его приезда. И если первые дни он скучал и постоянно думал о Светке, то теперь притерпелся к своему холостяцкому положению и даже находил в этом некоторые удобства. Конечно, о говяжьем языке речь не шла, но вечером он мог спокойно располагать собой, и хоть сегодня снова съездить к Оленьке, которая не шла у него из головы. И вот, казалось бы, ничего особенного в этой Оленьке нет, тем более, что шатенок Вадик никогда своим вниманием не баловал, а зацепила же она его чем-то, и так зацепила, что куда бы он в своих мыслях не отправлялся, а спустя какое-то время непременно рядом с Оленькой и Виталиной оказывался…

«Вадик, солнышко, ты совсем сбрендил, что ли? – писала ему Светка в эсэмэске. – Может быть, хватит нам комедию ломать? Считай, что я про ту резинку забыла. Приезжай, поговорить надо. Да и не устраивает меня такое положение, понимаешь? Стопудово не устраивает! Я вроде как замужем, а осталась не при делах… Мне что, кого-нибудь поискать? И это при живом-то муже? Короче, кончай тупить, давай до чего-нибудь договариваться. А не хочешь договариваться, так и скажи. Меня ведь тоже не в капусте нашли, и я как-нибудь свои проблемы по-

решаю. Ладненько, Вадюша, пока. Жду ответа и – не затягивай, а то опоздаешь. Света».

И вот это «а то опоздаешь» Вадика здорово зацепило. Что угодно, но любых угроз в свой адрес он не выносил. Договариваться с ним можно было только по-хорошему, и Светке стоило бы это запомнить, если она планировала своё будущее с Вадиком. А она, судя по участившимся эсэмэскам – именно это и планировала, хотя и не догоняла, как выйти на мировую. И вот нашла самый малопродуктивный, самый дохлый, если говорить совсем уже прямо, способ – угрозу. «Ну-ну, – Вадик отложил телефон и нахмурился, – посмотрим, что будет дальше… И на какой такой праздник я могу опоздать».

Вадик лениво скользит взглядом по большой комнате своего офиса, пока не натыкается на тускло мерцающее лезвие клинка, наполовину вытянутого из ножен. Кинжал лежит на том же месте, что и всегда, – за стеклом книжного шкафа. Но Вадику кажется, что лежит он теперь все-таки не так, как прежде, да и клинок, он это точно помнит, торчать из ножен никак не должен, поскольку он задвигает его в ножны всегда до упора. Было похоже на то, что кинжал кто-то брал в руки, рассматривал, а потом небрежно вернул на место, но не так и не на то место, как это делал обычно он сам. Это небольшое открытие неприятно удивило Вадика, и он попробовал припомнить, не подходил ли кто из его клиентов к шкафу, пока он занимался бумагами и чертежами. Но Вадик за рабочим столом сидел так, что книжные шкафы находились прямо перед ним, и не заметить, как кто-то открыл шкаф и достал из него кинжал – он просто не мог…

И в этот момент ему припомнился странный и малоприятный для него разговор с Кармой, который состоялся у них в машине, пока они добирались ранним утром от Гаражной улицы до центра. Эта таинственная женщина, в мельчайших подробностях запомнившаяся Вадику по совместной поездке в купе поезда, хотя и ехали-то они вместе всего ничего – минут сорок-сорок пять, очень удивила его своей проницательностью и на этот раз. Мало того, что она сходу назвала имя почти случайной женщины, от которой возвращался Вадик в шесть часов утра, так она знала ещё и такие подробности из его жизни, которые мог знать только он сам.

– Вы помните, Вадик, о чём я предупреждала вас в прошлый раз, когда мы ехали в одном купе? – спросила Карма после того, как он послушно сбавил скорость до шестидесяти километров в

час. – Вы ещё так славно тогда выпивали, а закусывали, если мне не изменяет память, буженина и черными маслинами…

«Вот это память! – внутренне ахнул Вадик. – А ведь и в самом деле были маслины и именно чёрные, с косточками, в высокой такой стеклянной емкости, похожей на пробирку…»

– На память я и в самом деле не обижаюсь, – серьёзно сказала Карма и тому, что она влёт прочитала его мысли, Вадик уже почти не удивился. – А вот вам, Вадик, следовало бы прислушаться к моим словам… Ну, во первых, потому, что я, в отличии от вас, никогда и ничего просто так не говорю… – Карма выдержала длинную, прямо-таки мхатовскую паузу, искоса посматривая на сосредоточенного за рулём машины Вадика.

– А во вторых? – не выдержав, спросил Вадик.

– А во вторых, Вадик, Вадим Сергеевич, – у вас остаётся слишком мало времени…

И так она это сказала, вроде бы тихо, вроде бы – для самой себя, но Вадика словно электрическим током ударило: он встряхнулся, встревоженно взглянул на женщину и, может быть, первый раз в жизни почувствовал, как вдруг со сбоями заработало у него сердце, болезненными толчками прогоняя кровь сквозь себя… «Что, что она имеет ввиду?» – лихорадочно подумал он, хотя каким-то образом сразу догадался, о чём идет речь. И всё же, с трудом шевеля одеревеневшими губами, он спросил Карму:

– К-какого врем-мени, я что-то не пойму?

– Того самого, – усмехнулась Карма и со значением повторила еще раз: – Того самого, Вадик… А просила я, Вадим Сергеевич, вынуждена вам напомнить, быть осторожнее с женщинами и случайными находками… Вспомнили?

– Да, что-то такое припоминаю, – наморщил лоб Вадик, восстанавливая в памяти короткий разговор с Кармой в купе поезда. – Но я не придал значения вашим словам, я думал, что вы это сказали просто так, случайно…

– Вадик, в этой жизни мало что происходит случайно… В вашем городе живёт человек, который пробует случайности систематизировать и заставить работать на себя, – Карма усмехнулась. – Смешной человек, самонадеянный и смешной… Но речь сегодня не о нём, речь идет о вас… Вы ведь нашли тогда, в туалете, кинжал в ножнах?

И всё-таки привыкнуть к этому было невозможно: Вадик вздрогнул и резко затормозил, поскольку чуть было не проскочил перекресток на красный свет.

– Вы и это знаете? – промямлил Вадик, косясь на свою спутницу.

– Конечно, знаю… Более того, именно об этой находке я вас и предупреждала… Но вы, к сожалению, не потрудились запомнить моё предупреждение, – Карма вздохнула и напомнила растерянному Вадику: – Поехали, нам зеленый горит…

– И что теперь? – Вадик даже и скрывать не пытался своей растерянности.

– А теперь, когда этот кинжал уже у вас, – задумчиво заговорила Карма, с явной печалью глядя на Вадика огромными, чёрными глазами, – теперь всё значительно осложнилось, и чем всё это закончится – я не знаю… Он может наказать вас, а может и простить…

– За что? – побелевшими губами спросил Вадик, отчётливо понимая, что это не просто слова, а самая настоящая, опасная реальность.

– Как – за что? – удивилась Карма. – Разумеется, за распутство… Я вас об этом предупреждала, просила быть осторожнее с женщинами, а вы…

– Но кто он такой?! – наконец-то взыграла в Вадике поверженная на обе лопатки гордыня. – И какое он имеет право решать, наказывать меня или нет? Я, может быть, сам его…

– Молчите! – вскрикнула Карма и прихлопнула рот Вадика тёплой, приятно пахнущей ладонью. – Молчите, несчастный, не сердите его… Может, всё ещё и обойдется…

Они уже миновали центральную площадь с огромным многоэтажным зданием, которое в городе называли Белым домом, где находилась резиденция губернатора и многочисленные кабинеты неисчислимой рати государственных служащих, проще говоря – чиновников. Еще пара кварталов, и Вадику надо будет поворачивать к своему офису.

– Вот здесь, пожалуй, высадите меня, – попросила Карма, когда они поравнялись с краевым театром драмы. Вадик прижался к обочине и затормозил. – Мой вам совет, Вадик, и на этот раз постарайтесь не забыть о нём: избавьтесь от кинжала, который вы нашли в поезде…

– Как избавиться? – не понял Вадик. – Выбросить, что ли?

– Ну, не знаю, – открывая дверку, ответила Карма. – Придумайте что-нибудь… А вообще, Вадик, зря вы его подобрали, зря не послушались меня, ой – зря! Не вы его туда положили, не вам бы его и брать… Пока-пока, – взмахнула она рукой и странно, жалостливо, что ли, улыбнулась ему на прощание.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Ирине казалось, что этот фильм не закончится никогда, точно так же как руки Бориса не удастся снять со своего опозоренного тела. Но всему и всегда приходит конец. Вспыхнул свет в зале и, как показалось Ирине, несколько сотен пар глаз переместились с экрана на неё. Такого стыда, испепеляющего душу позора, она ещё не испытывала. Не смея поднять глаз, красная, потная, прячущаяся за спиной своего негаданного кавалера, бойко пробирающегося к выходу, путаясь ногами в креслах, Ирина медленно всходила на свою Голгофу, насмерть перепуганная всем случившимся с нею в кинотеатре.

– Вперёд! Вперёд, моя мышка! – бодро ворковал впереди Борис, крепко удерживая её за руку. – Я с тобой, я теперь всегда буду рядом с тобой…

«Боже, ведь люди всё это слышат, – почти без памяти от стыда лихорадочно думала Ира. – Как же так можно… Ведь здесь могут оказаться мои знакомые, что я им потом скажу?»

– Сейчас возьмём такси, моя любимая девочка, – продолжал довольно громко говорить Борис, – и через десять минут мы уже будем пить шикарное вино и закусывать фруктами…

«Ни за что в жизни! – испуганно думает Ира. – Лучше смерть, чем к нему в номер… Ишь, раскатал губу, нашёл дурочку…»

Но вот они уже и из кинотеатра вышли, и такси, как назло, напротив стоит, и услужливый Борис уже заднюю дверцу уверенно распахнул.

– Садись, богиня! – широким жестом руки пригласил он. – Карета подана.

– Нет-нет-нет, – побелевшими губами шепчет Ира. – Ни за что!

– Но почему, косточка моя сладкая, почему? – Борис поражён, Борис в шоке, словно она что-то обещала ему, а теперь отказывает.

– К вам – никогда! – отступает на шаг Ира и смотрит на Бориса так, словно увидела что-то чрезвычайно опасное, тигра, например, уже разевающего жуткую клыкастую пасть.

– Да почему – к нам? – удивляется Борис. – С чего это ты вдруг так решила, воробушек? К вам, конечно же, и только к вам… Я просто довезу тебя, моя сладкая недотрога, до дома и с рук на руки передам твоей маме. Понимаешь? Передам в целости и сохранности твоей любимой мамочке… Ну, садись,

моя сладкая, а то наш командир уже волноваться начинает. Ты где вообще-то живешь?

– На Космической, – неуверенно отвечает Ира.

– Значит, домчим тебя сейчас до Космической улицы – не вопрос. – Борис мягко, но настойчиво подталкивает Иру к машине, а когда она, наконец, садится в такси, плюхается следом, чуть ли не на её колени, беспрерывно ввинчивая лукавые слова в её порозовевшее ушко. – Ах, если бы ты только знала, мой мышонок, как цветут у нас яблоневые сады! Но ты обязательно всё это увидишь и очень даже скоро. – Руки Бориса вновь начинают свою настойчивую, разрушительную деятельность. Ире кажется, что у её краснодарского спутника не две, а сразу десять рук, и они – повсюду: у неё на плечах, на груди, ниже поясницы, на коленях…

– Куда едем? – сердито спрашивает водитель такси.

– В гостиницу «Маяк», командир, – живо отвечает неугомонный Борис. – Двойной тариф за скорость…

– Но почему? – возмущённо встрепенулась Ира. – Почему в «Маяк»? Вы же обещали, что отвезёте меня домой… Я не хочу!

– А я хочу, – смеётся Борис, с неожиданной силой прижимая Ирину к себе. – Я очень хочу, моя косточка, заехать в гостиницу, забрать цветы и фрукты… Пусть это будет, моя недотрога, скромным подарком для твоей мамы. Ведь твоя мама любит цветы, правда? Конечно – любит! Все женщины любят цветы… Так что всё нормально, моя сладкая, всё путем. Мы на минутку поднимемся ко мне в номер, выпьем по бокалу замечательного вина, заберём цветы, и на этой же машине помчимся к твоей мамочке на Космическую…

– Я никуда не пойду, – устало отбивается от рук Бориса перепуганная Ирина. – Я не хочу подниматься к вам в номер, я хочу домой, слышите, вы!?

– Конечно слышу, моя ласковая, конечно – домой… Забираем цветы и немедленно к тебе домой. Мы же взрослые люди, Ирочка, мы же не хотим привлекать к себе здесь внимание… Ведь могут подумать, что мы под кайфом, и могут запросто забрать… Сейчас с этим очень строго. А потом объясняй, что и как… Какие у тебя сладкие пальчики, – Борис, не обращая внимания на протесты, начал целовать её пальчики, и очень скоро перешёл на предплечье, а потом и на шею…

– Хорошо, – сгорая от стыда и отталкивая Бориса, прошептала Ира, – я поднимусь к вам в номер, но только на минуту и только за цветами…

– Клянусь! – горячо прошептал Борис. – Только на минуту, моя божественная, только за цветами…

Номер гостиницы поразил Иру вопиющей бедностью и неряшливостью. Повсюду были разбросаны какие-то вещи, сумки, ремни, два больших, открытых чемодана лежали на полу, в одном из них она увидела две литровые банки с чёрной икрой и пластиковый пакет с вяленым байкальским омулем. Сильный запах рыбы и гниющих овощей ещё больше поразил Иру, привыкшую к стерильной чистоте и домашнему маминому уюту. Никаких цветов и фруктов Ира, естественно, не увидела и недоуменно уставилась на торопливо прибирающегося в номере Бориса.

– Ах, Ирочка, косточка моя, извини, – невозмутимо напевал её нечаянный ухажёр, скидывая с узкой кровати спортивную сумку с вещами. – Оставил ключ своему второму пилоту, ну, сама понимаешь, зачем… Оказал услугу, что называется… Ирочка, присаживайся, сейчас всё будет…

– Нет-нет, я постою… И потом, знаете, минута уже прошла, – напомнила Ира.

– Я помню, я всё прекрасно помню, – Борис взял её за плечи и почти силой усадил на единственный в комнате стул рядом со столом. – Я его за такие дела вообще из экипажа выгоню, – ворчал Борис, торопливо сметая в газету огрызки хлеба, надкушенные огурцы и селёдочные хвосты…

– Кого? – по инерции спросила Ира, брезгливо убирая ноги под стул.

– Моего второго пилота, Родика…

– А вы что, пилот? – удивлённо посмотрела на Бориса всё ещё настороженная Ира.

– Ну, а кто же я ещё, Ирочка? Таксист, по-твоему? – обиделся Борис.

– Первый?

– Разумеется… Дал ему ключ, как своему лучшему другу, а он тут такой бардак развёл… Мне не жалко для друга ничего – ни вина, ни цветов, которые он, видимо, своей подружке вручил, но можно ведь прибрать за собою…

– И вы летаете на большом самолете из Краснодара в наш город? – никак не могла поверить Ирочка в то, что видит самого настоящего, живого летчика, да ещё и командира экипажа. От удивления она даже забыла о том, что уже и пятая, и десятая минута пошла, как она в номере у Бориса, а он, похоже, никуда не спешит, да и не собирается.

– Летаем, – снисходительно улыбнулся ей Борис, извлекая из чемодана большую бутылку без этикетки и с самодельной пробкой, высоко торчащей над горлышком. – Два раза в неделю летаем, прямым рейсом. Четыре часа и – цветущие яблоневые сады, моя косточка, черноморские пляжи и еще две тысячи удовольствий… Хочешь, полетим завтра со мной?

– Ну, что вы, что вы! – испугалась Ира. – Я же на работе…

– Попробуйте, – подвинул ей стакан с вином Борис. – Это настоящее домашнее вино, из нашего винограда. Мои родители большие специалисты по этой части… Пробуйте, пробуйте, Ирочка, а то вы меня, да еще и будущую свекровь со свёкром обидите. А они, поверьте мне на слово, люди замечательные, их обижать нельзя.

Ира сделала глоток, вернее – осторожно смочила в вине губы и была поражена необычайно терпким, сладким, непередаваемым вкусом вина, отдалённо напомнившего ей вкус маминого вишнёвого компота. После всех треволнений сегодняшнего дня ей давно уже хотелось пить, и поэтому она не заметила, как осушила тоненький гостиничный стакан с вином до дна. Необыкновенное тепло, радостное и слегка волнующее, прошло по всему её телу и опустилось в ноги.

– Ну и как, мой воробушек? – вкрадчиво проворковал Борис.

– Очень вкусно, – легко улыбнувшись, призналась Ира. – Похоже на мамин компот, только ещё вкуснее.

– Ещё бы, – горделиво сказал Борис, вновь наполняя Ирин стакан. – Это наш, можно сказать, эксклюзив: второго такого вина в мире нет… Пей, Ирочка, наслаждайся солнцем Краснодара…

Ира засмеялась. Ей как-то сразу стало необычайно легко и свободно, словно бы она взлетела на невидимых крыльях под самые небеса. И гостиничный номер уже не казался Ирине столь неряшливым и бедным – с плохо вымытыми окнами, дешёвыми короткими шторами и сыплющейся с потолка потемневшей побелкой. Да и сам Борис, улыбчивый и ласковый, с васильковыми глазами и лёгкой горбинкой на длинном, узком носу, оказался настоящим джентльменом, специально для неё сохранившим этот удивительный напиток, это божественное вино, от которого хотелось петь и любить весь мир. И всё-таки Ира спохватилась, испуганно глянула на свои часики, на сладко улыбающегося Бориса.

– Прошло уже полчаса, – с некоторой долей сожаления сказала она. – Мне давно пора идти…

– Да, конечно, – неожиданно легко согласился Борис. – Конечно, моя косточка, сейчас мы пойдём. Еще только одну минуточку – мне надо переодеться… Хорошо?

– Хорошо, – с облегчением перевела дух Ира. – Я подожду.

Борис ушёл в ванную комнату переодеваться, а Ира открыла свою дамскую сумочку, достала круглое зеркальце и взглянула на себя. Круглая, улыбчивая мордашка, чрезвычайно довольная, раскрасневшаяся, с необычайно большими, блестящими зрачками, доверчиво смотрела на неё. Ира легко рассмеялась, с трудом узнавая в зеркале себя, и поскорее спрятала его обратно в сумочку.

– Воробушек мой сладкий, я готов! – неожиданно послышался за её спиной вкрадчивый голос Бориса. – Готов к труду и обороне…

Ира вздрогнула и оглянулась: улыбающийся Борис стоял за её спиной в чем мать родила. Она побледнела и тут же попыталась вскочить, но, странное дело, ноги не слушались её, а тело, казавшееся до этого таким легким, воздушным, словно бы налилось свинцовой тяжестью. Ира хотела крикнуть, позвать на помощь, но и этого у нее не получилось, потому что Борис сделал быстрый, лёгкий шаг, и накрепко запечатал её рот долгим поцелуем.

2

В конце ноября морозы прижали по-настоящему: столбик термометра по ночам опускался до тридцатиградусной отметки, а в ночь на первое декабря был установлен рекорд – тридцать четыре градуса. Все деревья в округе покрылись густым инеем. Особенно хороши были в этом наряде берёзы, ставшие вдруг воздушными, с низко повисшими пушистыми ветвями. Печку теперь приходилось протапливать три-четыре раза в сутки, и всё равно к утру домишко так выстывал, что изо рта шёл пар. В такие дни выбираться из-под одеяла было истинным испытанием, но Сергей не давал себе расслабиться, хорошо понимая, что одна уступка лени незамедлительно повлечёт за собой – следующую. А в его ситуации это смерти подобно. Именно поэтому он бодро вскакивал, растапливал печурку, и пока огонь разгорался, в течение сорока пяти минут делал энергичную зарядку. Найда, свернувшись клубком на половичке возле печки, сквозь прищуренные глаза наблюдала за ним, изредка помигивая светленькими ресничками. Иногда Сергей шутливо приглашал со-

бачку присоединиться к нему, но она лишь позёвывала в ответ и красноречиво косилась на дверь: мол, всё это хорошо, но когда же мы пойдём «до ветра»? Сразу после зарядки приходилось одеваться и вести Найду на улицу, да заодно и дровишек в дом занести. Но уж когда печка раскочегаривалась и Найда перебиралась со своего законного половичка поближе к выходной двери, в домике Сергея становилось так хорошо и уютно, что век бы никуда не ходил и ничего не делал. И опять требовалось немалое усилие воли, чтобы и ходить, и делать, и – не позволять душе лениться…

Короткие зимние дни пролетали быстро, а вот долгие вечера, казавшиеся порой бесконечными, томили душу, выматывали нервы воспоминаниями, и до того порой доводили, что хотелось тут же подхватиться и отправиться бог знает куда – только бы подальше от одиночества. В такие минуты Сергей приучил себя садиться за стол и делать записи – о чём угодно, бессмысленно, беспорядочно, абы забыться. В результате получилось у него что-то вроде дневника, но безо всякой привязки к месту и времени: тайные записи для самого себя, которые иногда весьма забавно было перечитывать…

Не раз и не два, а практически каждый вечер, вспоминал он Леру Осломовскую, память о которой с годами не только не затухала, а становилась всё ярче и больнее. Особенно невыносимо было думать о том, что теперь она рядом с Мишкой Толмачёвым – Мармеладом. Но ещё тяжелее было сознавать, что отдал он Леру вернувшемуся из лагерей Мармеладу сам, своими собственными руками… А ведь предупреждала она его и не раз, что если увидит рядом с Анечкой Дикиной – всё, никогда не простит… И далась же ей эта бедная Анечка, о которой ни он, ни Лера до выпускного вечера знать не знали и думать не думали. Ну, была такая девочка-приблуда, поступившая в их школу после восьмого класса: маленькая, серая мышка, никак и ничем не выделявшаяся и ни единого раза не давшая повода подумать, что она не равнодушна к Серёже Скворцову. Он-то этого не замечал по вполне понятным причинам, целиком и полностью сосредоточенный на своих чувствах к Лере, на сумасшедшей ревности, которая едва не довела его до ручки. С Лерой тоже всё понятно: с высоты своей неоспоримой красоты, неоднократно подтверждённой всевозможными выигранными конкурсами, дипломами и грамотами, она просто не замечала какую-то Анечку, смугленькую коротышку с вечно хлюпающим носом.

Но вот куда смотрели остальные одноклассники и как умудрились просмотреть, это было не только удивительно, но и непонятно. А между тем природные силы в Анечке тоже не дремали, и сразу после девятого класса она заметно вытянулась, потеряла подростковую угловатость, умело, словно делала это всю жизнь, стала пользоваться косметикой. И результаты не замедлили сказаться – мальчики закружились возле Ани, как пчёлы вокруг сахара, зажужжали, зашушукались, полетели на её стол и в портфель записки с признаниями и стишками. Аня, надо сказать, ко всему этому отнеслась с завидной стойкостью – никого из мальчишек не выделила и ни к кому на свидание не пошла. В классе это по достоинству оценили, Анечку зауважали и оставили право выбора своего мальчишки за ней самой. Но Аня не спешила…

Провожать Серёжу в аэропорт поехала только Лера – с мамой, неожиданно всплакнувшей, грустной и растерянной, он простился дома, пообещав звонить и писать чуть ли не каждый день.

С Лерой тоже всё получилось как-то не так, безрадостно и печально. Вдруг оказалось, что в последние часы им не о чём поговорить. И это после памятного путешествия, когда они особенно близко сошлись, казалось, поделив одно сердце на двоих: стоило кольнуть в одной половинке сердца, как боль тут же отзывалась в другой. Не успевая наговориться за день, они часами могли говорить вечерами, в тысячный раз перебирая детали опасного сплава по взбухшей от проливных дождей Лосихе. А тут – как отрубило! Нет слов, нет мыслей – ничего нет. Тупой, изматывающий ступор. Так было, пока они ехали в машине Осломовских до аэропорта, так оставалось и в самом аэропорту, куда они специально приехали загодя, чтобы побыть вместе перед разлукой. Какая-то тень, призрачная и малопонятная, встала между ними, и преодолеть её оказалось невозможно. И каждый из них, не желая сознаваться в этом даже себе, втайне мечтал о последней минуте, когда можно будет, наконец, прекратить эту пытку молчанием.

– Ты почитать что-нибудь взял? – глядя в сторону, спрашивает Лера, хорошо понимая, что нет, не те это слова, которые говорят перед разлукой. – Ну, я имею ввиду в дорогу…

– Нет, – уныло отвечает Сергей, – ничего не взял…

– Вот газетный киоск… Давай возьмём?

– Зачем? – пожимает плечами Сергей. – Я буду в иллюминатор смотреть.

– Так тяжело лететь, – вздыхает Лера. – Все берут с собой детективы: с ним не заметишь, как долетишь.

– А я хочу заметить, – возражает Сергей. – Может, даже нашу Лосиху увижу…

– Ой, Скворец – не вспоминай! – морщится, как от боли, Лера. – Сдалась тебе эта Москва!

Сергей молчит. А что толку отвечать, когда на эту тему уже говорено-переговорено и менять своё решение он не намерен. Даже ради Леры он не может отказаться от своей мечты – учиться в столичном Университете. Это выше его сил, это в нём – как бы помимо воли и сознания, словно бы он ещё в чреве матери был запрограммирован именно на эту заветную цель.

И опять они уныло смотрят по сторонам, никого и ничего не замечая, и лишь стрелка больших электронных часов, судорожно перескакивающая по циферблату, словно напрямую соединена с их нервными окончаниями – так болезненно отдаётся в них истекающее минутами время, остающееся до вылета Серёжиного самолета маршрутом Номск – Москва.

И вдруг, совершенно неожиданно для обоих, где-то сбоку, чуть ли не у них за спиной, раздаётся чей-то робкий голос:

– Здравствуйте…

Они дружно оборачиваются и с удивлением видят перед собой бледную, взволнованную Анечку Дикину, заметно подросшую на высоких каблуках, со странной, слишком взрослой прической, делающей её похожей на учительницу начальных классов. Импульсивная Лера метнула на Серёжу яростный, испытывающий взгляд, и тут же, по его растерянному виду поняла, что он здесь не при делах.

– Привет, Малявка, – нарочно вспоминает школьное прозвище Анечки разочарованная Лера. – А ты что здесь делаешь?

– Свою подругу встречаю, – отвечает смущённая Аня, и по её виду, по дрожащему от волнения голосу сразу можно догадаться, что никакой подруги нет.

– Какую ещё подругу? – подозрительно смотрит на Аню сощурившаяся Лера. – Откуда?

– Из Магадана… Мы в одном военном городке жили, а потом моего папу перевели в Номск, – вдохновенно врёт Анечка. Они понимают, что она врёт, но как-то так получилось, что вдруг принимают её правила игры, и даже подыгрывают ей.

– И как её зовут? – спрашивает Лера.

Тем временем Анечка приходит в себя и всё чаще переводит беспокойный взгляд своих тёмных, блестящих глаз с Леры

Осломовской на Серёжу Скворцова. Её длинные стройные ножки на высоких каблуках выглядят очень эффектно, притягивают взгляды проходящих мимо мужчин, и Лера это прекрасно видит.

– Зовут её Тоня, – отвечает Аня. – Тоня Сухоручко.

– Интересное имя, – усмехается Лера и поворачивается к Серёже. – Может, ты хочешь с нею поговорить? – безвинно спрашивает она. – А заодно и с Тоней познакомишься… Если хочешь – я могу погулять или даже вообще уехать, если ты хочешь, разумеется…

Серёжа моментально краснеет и с ненавистью смотрит на несчастную Анечку, растерянно хлопающую длинными, густыми ресницами.

– Ничего я не хочу и ни с кем знакомиться не собираюсь, – рассерженно отвечает Сергей.

– Вот так вот, Анечка, – с насмешливой улыбкой разводит руки Лера. – Не хочет… Так что иди, встречай свою Тонечку из Магадана, и катитесь вы с нею обе знаешь куда?

Анечка вздрагивает, презрительно смотрит на Леру, потом окидывает Серёжу сожалеющим взглядом и уходит, высоко неся голову со странной взрослой прической, такой непривычной и так идущей её продолговатому узкому лицу.

– Подругу она встречает, – усмехается ей вслед Лера, потом поворачивается к Сергею и с удивлением восклицает: – А как хороша стала, а, Скворец? Вот что любовь с людьми делает… И причёску такую классную себе придумала – ей идёт… Да, Скворец?

– Не знаю, – хмурится Сергей, – я не заметил.

– Как же, не заметил, – начинает веселиться Лера. – Как ты мог не заметить? Она же специально для тебя старалась, а ты не заметил? Врёшь, Скворец, вот сейчас ты бессовестно врёшь! Впрочем, можешь догнать её и еще раз посмотреть… Хочешь? Я не буду обижаться…

Сережа начал заводиться. Он и в самом деле ничего особенного, никаких перемен в Анечке не заметил и лишь по одной простой причине: Сережа испугался того, что эта встреча окончательно испортит и так не задавшееся прощание с Лерой. И – как в воду смотрел.

– А как она все-таки узнала, каким рейсом ты улетаешь? – подозрительно спрашивает Лера и пристально смотрит на Сергея.

– Да она же подругу встречает, – напомнил Сергей.

– И ты поверил в эту чушь? Не смеши меня… Никакой подруги нет и не было, это же и дураку понятно.

– Тебе понятно, мне – нет, – сердито отвечает Сергей. – Пойдем, купим детектив в дорогу, – пытается он отвлечь Леру.

– Ага, увидал Анечку и тебя сразу на детективы потянуло? – усмехается Лера.

– Лера, перестань! – взмолился Сергей, и в это время по радиотрансляции объявили посадку на его рейс, и они оба, не сговариваясь, облегчённо вздохнули, а их мысли сами собой переключились на предстоящую разлуку…

Долго стояли в очереди на досмотр и посадку. Лера с грустью смотрела на него и была похожа в эти минуты на большую подстреленную птицу, отставшую от своей стаи. Почему именно такое сравнение, где Серёжа мог видеть подстреленную птицу, он никогда потом объяснить себе не мог, но этот образ так и остался с ним навсегда.

В последнюю минуту, когда уже надо было подавать паспорт и билет на досмотр, Лера порывисто прижалась к Сергею и горячо прошептала:

– Осенью я к тебе прилечу, Скворец, жди…

– Правда? – радостно вспыхнул Сергей, с благодарностью глядя на Леру.

– Кривда, – усмехнулась Лера и крепко, в губы, поцеловала его, не обращая внимания на толпящихся вокруг людей. – Счастливо тебе, Скворец, и – до встречи…

3

Дивная погода, ласковое море, горячий песок, казалось бы, что еще человеку надо? Живи и наслаждайся благодатным, тропическим теплом, кушай по вечерам лобстеров с острейшим красным соусом, запивай местной самогонкой, по степени вонючести не уступающей нашей сивухе третьего перегона, и любуйся потрясающими короткими закатами, когда солнце в считаные минуты исчезает в морской пучине. Кончились деньги, иди в местный банк и снимай столько, сколько тебе требуется для безбедного существования. В этом отношении Геннадий Степанович не скупится, не считает каждую потраченную копейку и не требует отчётов – для него важен только конечный результат: как можно дольше продержать Марину на Острове.

Пару недель у них с Мариной была здесь полная идиллия. Шикарный номер, в котором каждый день меняли полотенца, халаты и тапочки, бассейн с морской водой, полный Ecklusiv: классное питание и бесплатная выпивка круглые сутки, в об-

щем – «всё включено». Помимо гостиничного ресторана на Острове можно было найти питание на любой вкус: в немецком ресторане откушать свиных колбасок с тушёной капустой и настоящим баварским пивом, в аргентинском – попробовать прекрасное мраморное мясо с огненным соусом чили, в русском – побаловать себя пельмешками в глиняных горшочках и блинами, в японском, разумеется, предлагали суши и рисовую водку – сакэ. А потом, ближе к вечеру, можно было от души расслабляться у себя на лоджии, попивая испанское вино с морскими гребешками или сушёными кальмарами. В первые дни они еще увлекались экзотикой, пытаясь отведать местные морепродукты, приторно сладких копченых куропаток и «Утку по-Пекински», но специфический вкус, напоминавший основательно протухшие продукты, очень скоро отбил у них всякую охоту к местной национальной кухне.

После обеда, когда спадала тропическая жара, они лениво бродили по многочисленным лавчонкам, приценяясь к пёстрым, ярким нарядам, но почти ничего не покупали. Как и местная пища, местный крой одежды решительно не подходил европейцам – вечно где-то жало, тянуло, сковывало движения. Однажды купили большой раздвижной веер из тонких деревянных плашек, украшенных на концах местным орнаментом. С одной стороны веера уплывал в запредельные дали лёгкий, воздушный парусник, с другой – мчалась русская тройка. Кто знает, может, та самая, гоголевская, умудрившаяся преодолеть гиблые российские просторы, и лихо прогарцевать по тайским островным просторам… Марина как увидела эту тройку, так и впала в ступор, словно выпала из той коляски и сильно ударилась головой о землю.

– Хочу домой, – задумчиво сказала она. – Дома лучше…

За две недели совместного проживания на Острове, Гера неплохо изучил Марину, её привычки и пристрастия. И этот первый порыв ностальгии он легко, играючи, задушил в самом зародыше, для чего достаточно было достать из холодильника запотевшую бутылку водки «Русский стандарт» и разлить по рюмкам. Марина, любившая и уважавшая водку так, как любит портвейн старый, закалённый временем алкаш, заметно оживилась, отложила в сторону веер и потянулась за рюмкой.

В отличие от Марины, рафинированный интеллигент Герман Орлов водку не любил, пить её не умел, а если выпивать всё же приходилось, на следующий день страдал жутким похмельем. Но – работа есть работа, и выпить с Мариной пришлось. Дело

в том, что была у Марины ещё одна странность: постоянно употребляя водочку, она, тем не менее, пьяницей не стала, и питьё в одиночку не признавала.

Выпили, закусили, вернее – зажевали фруктами, которые назвать закуской под водочку просто язык не поворачивается, и Марина мечтательно сказала:

– Сейчас бы нашей отварной картошечки с укропом, да селёдочки с луком… Знаешь, так, чтобы тонкими белыми кольцами поверх селедки. Или сала хохлацкого с чесноком, настоящего, в ладонь толщиной…

– Да-да, – с готовностью покивал Герман, хотя этих пристрастий Марины совершенно не разделял. – Мне кажется, отварную картошку я здесь где-то видел. И селёдка у них, я думаю, есть… Завтра пойдём и купим – не проблема.

– Правда? – обрадовалась Марина. – Ну, тогда наливай!

Начальника службы безопасности Григория Михайловича Важевича расстроенный Мартын пригласил к себе в кабинет на семнадцать ноль ноль. Когда тот вошёл и замер у двери, выжидающе глядя на хозяина светло-зелёными рысьими глазами, Геннадий Степанович довольно долго как бы не замечал его. Наконец, он оторвал голову от бумаг, поверх очков внимательно посмотрел на Важевича и хриплым, застоявшимся голосом сказал:

– Ну, что ты там стоишь, как казанская сирота? Проходи и садись…

– Есть, Геннадий Степанович, – бодро ответил Важевич, и бесшумно, словно на кошачьих лапах, подошёл и сел напротив Мартына.

– Дело есть, – хмуро сказал Мартын, разглядывая массивную шариковую ручку фирмы «Паркер».

– Слушаю вас, Геннадий Степанович, – с готовностью ответил Важевич и видно было, как подобралась, сконцентрировалась на внимании вся его лёгкая, хорошо тренированная фигура, как заострились черты сухого, аскетического лица.

– Дело весьма и весьма деликатное, Григорий Михайлович, – легонько постукивая ручкой по столу, начал разъяснять Мартын. – Очень важно в этом деле не пережать, не переусердствовать… Но и не дожать, – он строго посмотрел прямо в глаза начальника службы безопасности, – тоже нельзя… Ни в коем случае!

– Понимаю, Геннадий Степанович…

– Да ни хрена ты еще не понимаешь! – с досадой отмахнулся от него Мартын, и недовольно свёл к переносице широкие рыжие брови. – Слушай меня внимательно и хорошенько запоминай…

Когда Важевич вышел из кабинета, Мартын встал из-за стола и сделал несколько приседаний. В коленях у него громко хрустнуло, он болезненно поморщился и прошёлся по красной ковровой дорожке от письменного стола к двери и обратно. Потом сел, но не за стол, а в кожаное кресло с деревянными подлокотниками, в котором так любил сидеть покойный Толик Ромашов. Сел и глубоко задумался, бессмысленно уставившись на картину с незамысловатым натюрмортом, изображающим бутылку красного вина, высокий матовый фужер и хрустальную вазу с фруктами. Нет, он никогда не был сторонником радикальных мер и по возможности старался избегать всяческих насильственных действий по отношению к своим партнёрам или оппонентам. Но как-то так получилось, что ещё в самом начале своей коммерческой деятельности он никак не мог порешать один довольно щекотливый вопрос. Человек, которого он хорошо знал, задолжал ему по тем временам довольно приличную сумму. И выплатить её, как ни старался, у него не получалось. При чем, Мартын это стопроцентно знал, человек действительно стремился отдать ему долг, делал для этого всё возможное и невозможное, но у него никак не получалось… Так бывает, что деньги то дуриком в руки идут, то их калачом не заманишь. А у Мартына в это время срывается одна выгодная сделка за другой, и не хватает ему для совершения этих сделок именно той суммы, которую задолжал ему хорошо знакомый человек. После второго облома раздосадованный Мартын позвонил ему и настойчиво порекомендовал продать квартиру и вернуть долг. Знакомый человек вроде бы согласился с ним, но то у него покупателей не было, то за квартиру мало денег давали, и все это дело продолжало висеть в воздухе, выматывая время и нервы.

А потом он случайно проговорился о своей проблеме крышевавшему его Мармеладу, и тот за десять процентов комиссионных взялся её решить. И решил в течение трех дней. Деньги Мартын получил, отстегнул десять процентов Мармеладу, а ещё через пару дней узнал, что его хороший знакомый, продав свою квартиру и оказавшись с женой и пятилетним мальчонкой на положении бомжа, повесился в гараже у товарища, давшего им временный приют. Конечно, у Мартына было очень неприят-

но и нехорошо на душе. Но, если разобраться, он ведь боролся за свои собственные деньги – он никого не ограбил, ни у кого не украл, он просто получил свои кровные деньги и они, кстати, вскоре очень пригодились при одной супервыгодной сделке. А вдове с мальчонкой Мартын даже помог переехать к родителям в другой город: нанял для них грузовую машину и полностью оплатил её.

Так вот, ещё тогда он хорошо усвоил, что в некоторых ситуациях радикальные меры просто необходимы. Они сберегают не только время и нервы, но и, как показала удачная сделка, преумножают собственный капитал. А стоило лишь однажды воспользоваться такой услугой, как ситуации, когда они были необходимы вновь, пошли косяком. И если поначалу Мартын ещё сдерживал себя от соблазнов легко решать возникающие проблемы, то со временем настолько привык к ним, что это вошло у него в системный набор приемов, на который он рассчитывал изначально, планируя ту или иную коммерческую операцию. А уж когда появилась у него собственная служба безопасности, то, как говорится, и сам бог велел задействовать её по полной программе…

Мартын потянулся, круто выгнув большую, сильную грудь, перешёл за письменный стол и позвонил секретарю.

– Крепкого чая мне, Оленька, с сахаром и лимоном.

Не часто, но Геннадий Степанович позволял себе обращаться к секретарю, Ольге Петровне, по имени, что означало, как правило, хорошее расположение духа, которое случалось у него после удачно завершенной сделки или разговора с матерью. Все в офисе эту примету давно знали и когда в шутку, а когда и всерьез, спрашивали у Ольги Петровны: «Шеф с матерью разговаривал?» Если получали утвердительный ответ – смело шли к Геннадию Степановичу на переговоры и решали свои личные вопросы.

Попивая сладкий до приторности чай (привычка, сохранившаяся со студенческой поры, когда принято было считать, что сахар повышает умственную деятельность), Мартын блаженно откинулся на спинку кресла и подумал, что надо бы купить своим сорванцам детский снегоход на аккумуляторной батарее, который он случайно увидел по телевизионной рекламе. Пусть катаются ребятишки вокруг загородного дома под присмотром Петра Петровича, привыкают к скорости и управлению транспортом – в будущем пригодится. Да и на свежем воздухе станут чаще бывать…

И совершенно неожиданно, непонятно откуда и почему, в памяти Мартына вдруг всплыла красивая женщина, отдалённо смахивающая на цыганку, случайно встретившаяся ему недалеко от офиса. В самом деле, что за странное совпадение: именно у него спросить дорогу в клинику Бабановича? Да и спросила она его как-то необычно, словно вкладывая в вопрос гораздо больше значения, чем следовало бы… И ещё он хорошо запомнил тот тревожный холодок, который, словно бабочка-капустница, неслышно впорхнул в его сердце и захлопал там лёгкими крылышками, обдавая Мартына нехорошим предчувствием… А потом и Оленька рассказала ему про странную женщину, очень похожую на его незнакомку, заставшую её под дверью кабинета Бабановича… Не слишком ли много совпадений? А ещё и Толик Ромашов, царство ему небесное, про какую-то дворничиху говорил, и та ведь тоже Бабановича поминала… Странная получалась картина: какая-то подозрительная женщина всё время крутится вокруг психушки, что-то вынюхивает, высматривает, а потом бесследно исчезает… Что же он, дурак стоеросовый, не догадался раньше пустить по её следу охрану? Но как можно было догадаться, если встретилась ему женщина как женщина и вопрос задала самый заурядный: как пройти туда-то и туда… Это сейчас, когда он суммировал все имеющиеся у него данные об этой женщине, Мартын вдруг опять почувствовал лёгкое трепыхание крылышек бабочки в своём сердце.

4

«Вадик, ты совсем дурак, что ли? Ты почему на мои письма не отвечаешь? И вообще, ты сейчас чего добиваешься? Чтобы я на развод подала? Так я подам – запросто! Уже все девчонки надо мной смеются, соломенной вдовой называют. Мне это надо, Вадик, а? Мне это даром не надо. Я понимаю, конечно, ты теперь там по полной отрываешься. Наверное, всех своих тёток, заказчиц-проституток оприходовал? Ну и чёрт с тобой, живи, как хочешь, но только без меня. Тут счета, между прочим, пришли, надо оплачивать. Я это делать на свою смешную зарплату не собираюсь. Так что если телефон отключат – не удивляйся. А вообще, Вадик, хватит уже тупить. Я согласна, перегнула тогда палку, но и ты меня пойми. Что ещё я должна была делать после этого твоего сюрприза? Решай, Вадик, решай, а я работать пошла. Света».

Вадик прочитал эсэмэску и тяжело вздохнул. Он прекрасно понимал свою Светку, её раздражение: действительно, давно пора было возвращаться домой, к своему семейному очагу, на свой диван, к своему телевизору, к Светке, наконец. Никогда ещё не было у них столь длительной размолвки, никогда Вадик не жил по две недели в своем офисе. День, два, от силы – три, такое случалось и, как правило, шло только на пользу их отношениям. Примирения случались бурными, со многими словами раскаянья и обещанием никогда больше, ни за что и так далее. Причём, всё это делалось на взаимной основе, когда каждый норовил взять прошлой вины на себя побольше, делать ошибок в будущем – поменьше. Потом, под истошный визг диванных пружин или скрип не выдерживающей такого натиска двуспальной кровати, шло яростное и долгое затверждение всех достигнутых компромиссов. Тем самым как бы подводился окончательный итог их примирения, который пересмотру и уточнениям более не подлежал. Но теперь… Теперь всё было иначе и непонятно – почему. Главное, Вадику не хотелось больше домой, к Светке. И это было с ним – в первый раз. И что там со Светкой происходит, где она и с кем сейчас – его совершенно не интересовало. Всё это ему сейчас – по барабану. И это тоже с ним случилось – в первый раз. Видимо, долго эксплуатировать одни и те же приёмы – жёсткие ссоры и горячие примирения – так же небезопасно, как садиться голым задом на ежа… Рано или поздно приходится вытаскивать иголки из попы, при чём – процедура эта довольно болезненная и неприятная, особенно, когда иголки надо тащить не из задницы, а из собственной души. А она у нас, как известно, шибко ранимая и болючая…

А тут и ещё одна странность: в последние дни Вадик гораздо чаще вспоминает рыженькую Оленьку, чем свою Светку. Вспоминает и никак понять не может, почему она ему не звонит. Обычно по этой части проблем у Вадика не было: женщины всегда звонили ему первыми. И поэтому он никогда не заморачивался такими пустяками, как просить у них телефон, заранее назначать свидания и прочими, как он считал, глупостями. Вот и с Оленькой он не удосужился условиться о дальнейшей связи, не попросил у неё номер телефона, самонадеянно удовольствовавшись тем, что оставил ей свою визитку. А теперь вот беспрестанно думал о том, не потеряла ли она её, не оставила по женской рассеянности на каком-нибудь рабочем столе или в будке телефона-автомата. Конечно, Вадик знал адрес, незабываемую улицу Гаражную, но взять и завалиться просто так, без

приглашения, без предварительной договорённости, казалось ему не совсем удобным. Но про этот вариант он всегда помнил, держал его, что называется, про запас, на самый крайний случай… Такого Вадик ещё за собой не знал: во все времена и со всеми женщинами он бывал чрезвычайно смел и напорист, за что они его, видимо, и любили. Впрочем, за что именно женщины любят нас, мужиков, боюсь, и сами женщины не знают. Зависит это не только от времени года, расположения планет, лунной фазы, но и от такой, казалось бы, мелочи – с какой ноги сегодня женщина встала. А поскольку наш слабый – не слабый пол вечно путает лево и право, поди угадай – за что они нас любят… И любят ли вообще…

Не мигая, Вадик пристально смотрит на мирно лежащий на журнальном столике кинжал в старых, потемневших ножнах, и ему кажется, что никакой это не кинжал, а злой колдун, затаившийся у него в офисе… Спрятался в ножны из красного сандалового дерева и спит в своё удовольствие после тяжкой и неблагодарной работы. И сколько он будет спать, и что будет делать, когда проснётся – кто же это может знать. На то он и колдун, чтобы никто и ничего о нём не знал. Но Вадику от этого не легче. Очень беспокойно ему рядом с кинжалом, даже спящим в ножнах, а что же будет, когда он проснётся? Нет, ждать дальше нельзя, непременно надо от него избавляться… Но как?

Внезапно Вадика осеняет, и он моментально вскакивает с дивана. Воистину – всё гениальное просто! Он вспоминает, что в небольшом дальневосточном городке живёт его давний друг, заядлый рыбак и охотник, помешанный на природе, Федор Разлогин. Вот кому этот кинжал и в самом деле может пригодиться, вот кто по гроб жизни будет благодарен ему за такой роскошный подарок…

Вадик порылся в столе, заглянул в книжные шкафы и наконец отыскал то, что ему было нужно: узкую, продолговатую коробку из-под люминесцентной лампы, по размерам как раз соответствующую кинжалу в ножнах. Тщательно завернув свою роковую находку в несколько слоев оберточной бумаги, вложив эту упаковку в темный целлофановый пакет, а затем и в коробку, Вадик сверху щедро засыпал всё это московской карамелью – у Фёдора была куча ребятишек. Потом написал записку, в которой, слегка слукавив, сообщил другу о том, что специально для него приобрёл этот кинжал и высылает его в качестве подарка к предстоящему дню рождения. Мол, охотьс

и рыбачь, друг Фёдор, в своё удовольствие – этот клинок тебя никогда не подведёт. Весьма довольный своей находчивостью, Вадик надписал адрес Федора, немного подумав, указал адрес своего офиса, и с лёгким сердцем поспешил на почту. Отстояв минут сорок в очереди, заполнив положенный бланк и уплатив почти триста рублей за доставку, Вадик с чувством исполненного долга вернулся в офис. Настроение у него резко улучшилось, на душе стало легко и спокойно, словно из дома, где он жил, вынесли покойника. Вадик даже мотивчик популярной песенки вспомнил и забрасывая в кипяток пельмешки на обед, потихоньку насвистывал незатейливую мелодию. И такое у него хорошее настроение было, такое славное чувство свободы он переживал, что захотелось Вадику это замечательное событие слегка вспрыснуть: отметить, так сказать, избавление от кривого супостата, коварно внедрившегося в его счастливую жизнь. Вадик сунулся в холодильник, а там, кроме местного пива и двух недопитых бутылок красного крымского вина – шаром покати. Вадику же не то что водочки, вискаря или бренди захотелось, а конкретно – коньяка и не абы какого, а хорошего, настоящего, из фирменного магазина. А таковой имелся в наличии и даже – совсем недалеко от офиса, в двух шагах, можно сказать.

Вновь упаковав себя в дублёнку, норковую шапку и добротные зимние ботинки, кинув вокруг шеи длинный модный шарф в продольную полоску, Вадик выскочил на улицу, и по бодрому морозцу зашагал в сторону магазина. А с другой стороны, в роскошной «АУДИ» вишнёвого цвета, к этому же магазину подкатила шикарная Марго в сопровождении лица кавказской национальности. Гордый сын заоблачных гор был носат, сыт какой-то биологической сытостью, богат, ревнив и подозрителен. Всю свою жизнь пытаясь совместить в себе два совершенно несовместимых чувства – гордость и ревность, это дитя природы имело пергаментную от рождения кожу, маленькие злые глаза, мощную нижнюю челюсть и вечно возбуждённое мужское достоинство, из-за которого ему приходилось покупать брюки на два размера больше.

– Ашотик, я быстро, – нежно проворковала Марго, трогая его за руку. – Ты же знаешь, что наша директриса тащится от текилы.

– Как это можно – женщине дарить спиртное? – резонно спрашивает Ашот и сверлит, сверлит подозрительными ядрышками глаз обворожительную Марго: в короткой розовой шубке из щипаной норки, с бежевым шарфиком вокруг шеи и глазами

цвета грецкого ореха, она затмевает для него не очень яркое зимнее сибирское светило.

– Я мигом, Ашотик, – Марго легко выпархивает из машины и птицей взлетает на довольно высокое бетонное крыльцо, отделанное вычурной мраморной плиткой. Ашот с ревнивой яростью смотрит ей вслед, ревнуя ее даже к ступеням крыльца, которые подсматривают за нею снизу…

В магазине малолюдно, уютно, тепло. Скудный зимний день заглядывает в него через большие чистые окна, слегка прихваченные понизу серебристой изморозью. Свет мощных дневных ламп под потолком и яркая подсветка вдоль многочисленных полок, заставленных тысячами самых разных дорогих бутылок, создают в магазине атмосферу праздника, мягко и настойчиво стимулируя покупательский интерес.

К отделу, где продают дорогие крепкие напитки, спрятанные в элегантные стеклянные шкафы, Вадик подходит с одной стороны, а несравненная, шикарная Марго – с другой. Сосредоточившись на богато оформленных, порой вычурных, а порой и скромных бутылках, они первое время не замечают друг друга. Но вот Марго поднимает вечно опалённые внутренней страстью ореховые глаза и в шаге от себя видит Вадика.

– Вадим Сергеевич! – с искренней радостью вскрикивает она. – Вот так встреча!

– Марго! – Вадик ошалело смотрит на женщину, как всегда элегантно одетую, обворожительную попутчицу из поезда, вернее сказать – из ресторана. – Маргарита Иосифовна, это вы?!

– Как вам не стыдно, Вадик? – неожиданно возмущается Марго. – У вас совесть, в конце концов, есть или как?

– А что, что такое? – даже теряется Вадик, непонимающе глядя на женщину.

– Почему вы мне не звоните? Вам что мешает мне позвонить? – Марго улыбается, иронично глядя на Вадика, а потом, словно спохватившись, осматривается по сторонам и торопливо шепчет полненькими жаркими губами: – Завтра же позвоните, слышите? Ровно в семнадцать ноль-ноль по тому номеру, что я вам оставила… Надеюсь, вы его помните, Вадим Сергеевич?

– Да, конечно, – с восхищением смотрит на Марго наконец-то пришедший в себя Вадик. – Конечно, помню…

– Вы сможете позвонить? Или мне это сделать самой?

– Я обязательно позвоню, Марго, – вдохновляется Вадик. – А почему, собственно, не сегодня… – начинает он развивать понравившуюся ему тему, и в это время чувствует, что его опять

как бы бьют свинчаткой в затылок. Он видит, как мгновенно меняется выражение лица у Марго, как быстро склоняется она к полкам с бутылками, и с невольной тревогой оглядывается на входную дверь. А там стоит маленький, пузатый человечек с орлиным носом, в малиновых штанах, в настежь распахнутом замшевом пиджачке и дорогих туфлях на высоченном каблуке. Он даже не сверлит, а насквозь прожигает Вадика почти выкатившимися из орбит бешеными глазами. Ноздри его крупного, пористого носа широко раздуваются, а толстые, мясистые губы, наоборот, плотно сжаты и бледны нехорошей бледностью.

– Звоните, Вадик, я буду ждать, – шепчет Марго, выхватывая из стойла бутылок высокую и плоскую ёмкость, отдаленно смахивающую на кактус. – Ашотик, дорогой! – издалека кричит она коротышке, сверкающему белками глаз возле кассы. – Ты меня не дождался, да? Всё-всё, я иду, мой хороший, я уже с тобой…

Выходя из магазина, Ашотик слегка задерживается на пороге, ещё раз с подозрительной ненавистью оглядывается на могучего красавца-мужчину и зло шипит, словно змей, в спину Марго:

– С-сука! Уже успела снюхаться с этим вонючим кобелем, уже дала себя обнюхать…

Поздно вечером, когда Марго ушла в ванную комнату приводить себя в порядок перед сном, Ашот в длинном, атласном халате ядовито-зелёного цвета и мягких кожаных тапочках на каблуке, высоко сидевший на подушках в кресле, позвонил по мобильному телефону и коротко приказал:

– Зайди.

Через пару минут негромко постучав в дверь, в просторную комнату с камином вошел невысокий, широкоплечий человек с чёрными, лохматыми бровями и косой челкой, почти закрывавшей узкий лоб. Он вошёл и почтительно остановился у двери.

– Резван, дорогой друг, – хмуро обратился к нему Ашот. – Ты знаешь, большое горе постигло нас, и завтра я должен лететь на родину, на похороны… Проклятые шайтаны убили моего брата, твоего кунака… Но они за это дорого заплатят, – Ашот издал низкий горловой звук, крепко сжав маленькие кулачки. Резван тотчас ответил ему таким же характерным горловым звуком. Было похоже на то, словно бы две большие птицы-стервятники о чем-то договорились. – Так вот, Резван, брат мой, не спускай глаз с этой сучки, – он метнул взгляд в сторону ванной комна-

ты. – Если она с кем-то снюхается, если ты это увидишь, – Ашот яростно блеснул глазами, – убей его!

– А её? – спокойно спросил Резван.

– Её не трогай, – насуплено ответил Ашот. – С нею я сам разберусь…

– Я понял, дорогой брат… Всё сделаю, как ты хочешь.

– Хорошо, Резван, иди… Я о тебе не забуду…

Резван бесшумно растворился за дверью, а по толстым, слегка вывернутым губам Ашота, словно бикфордов шнур, зазмеилась злая ухмылка.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Очень быстро и незаметно угас первый зимний день, а на смену ему, почти безо всякого перехода, опустилась на заснеженную землю глухая, декабрьская ночь. Сквозь плотную морозную дымку робко пробивался тусклый свет городских огней. Черно и непроглядно холодное, высокое небо с россыпью остро поблескивающих звёзд, с неожиданно ярким рожком убывающего месяца, плывущего по безмерной пустыне тёмного небосвода.

Бабанович глубоко вздыхает и отходит от окна. И уже сидя в кресле, за своим письменным столом, он неожиданно остро представляет, как хорошо сейчас присесть поближе к печке на даче и долго смотреть на языки жаркого пламени, жадно облизывающие прокопчённые стенки топки. А потом взять металлическую кочергу с деревянной ручкой, и пошурудить горящие поленья, и увидеть, как над крупными мерцающими углями поднимаются золотые искры и, словно злые шмели, с лёгким жужжанием улетают в дымоход. И как неповторимо пахнет в доме свежими дровами, печным теплом и лёгким дымом от упавшей в поддувало серой золы. Громко тикает на столе большой металлический будильник с никелированным колпачком, сыто урчит в трубе разогретый воздух, а на улице свежий морозный ветер сердито облизывает неровные углы дачного домика…

Бабанович кожей, каждым своим нервом чувствует, как что-то тревожное, опасное сгущается вокруг него, и несмотря на все свои усилия он никак не может вырваться из этого губительного омута. Не раз и не два за последнее время появлялся у него соблазн бросить, пока не поздно, все эти дела и бежать отсюда

куда подальше. Но, как опять же хорошо понимал Бабанович, было уже поздно что-то предпринимать, куда-то бежать, от кого-то прятаться: найдут, обязательно найдут и примерно накажут. За свои потраченные деньги – из-под земли достанут, в этом он ни секунды не сомневался… И что теперь делать, как поступать с катастрофически выздоравливающим Ивановым, он положительно не знал.

Из этой патовой ситуации был только один выход – сдать Ирину Семеновну. Собственно, всё это затеяла она, вот пусть и отвечает за свои делишки... Но нет, спрашивать будут с него и только с него: их совершенно не интересует, по какой причине не проводилось соответствующее лечение. От лирики и какой-то там любви они так же далеки, как и от тускло мерцающих звёзд… Да и при всём при том, Михаил Борисович просто не в состоянии подставить вместо себя женщину. Это уже – самое последнее дело, хотя все недоразумения, которые он вынужден теперь решать, идут именно от Ирины Семеновны, от её, черт бы её побрал совсем, несвоевременной и совершенно неуместной любви… Но как ни далёк сейчас Бабанович от всех этих лирических глупостей, он всё же хорошо помнит и понимает мудрость народной поговорки – сердцу не прикажешь. Можно остановить наводнение, потушить пожар, спрятаться от урагана, но от любви – никогда! Проверено Шекспиром, Толстым и временем – спорить бесполезно…

Вновь тяжело вздыхает Михаил Борисович и косится на свой затрапезный сейф, где спрятана заветная мензурка с разведённым спиртом. День худо-бедно прожит, и можно позволить себе слегка расслабиться после всех забот и треволнений, но нарастающее чувство тревоги не отпускает Бабановича. Он пытается и никак не может понять причину этой тревоги, перерастающей в неосознанный страх…

В это время резко распахивается дверь, Михаил Борисович вскидывает голову и видит, как в кабинет стремительно входят два высоких, поджарых человека в чёрной униформе и с чёрными же масками на лицах. Сквозь узкие прорези для глаз на него пристально, не мигая, смотрят холодные, опасные глаза.

– Простите, вы к кому? – едва ворочая сразу одеревеневшим языком, спрашивает Бабанович и бросает на телефон беспомощный взгляд.

– Заткнись! – коротко приказывают ему.

Один из вошедших быстрой, кошачьей походкой проходит ему за спину, а второй остаётся напротив Михаила Борисовича.

В следующее, ужасное для Бабановича мгновение, вставший за спиной человек одним движением накидывает ему на голову плотный целлофановый пакет, одновременно с ним второй хватает его за дернувшиеся к голове руки. Отчаянными движениями головы Михаил Борисович пытается освободиться от целлофановой удавки, бьёт, а потом и сучит под столом ногами, всё бесполезно – силы слишком не равны. Грудная клетка, кажется ему, раздувается до невероятных размеров, и в ней бешено стучит сердце, и каждый его удар отдаётся невыносимой болью в голове, которая, кажется Бабановичу, вот-вот разлетится на куски, как элементарный глиняный горшок, упавший на каменный пол. Он уже не сучит, а слабо перебирает ногами, голова его беспомощно запрокидывается, по телу пробегает мелкая, судорожная дрожь, и оно опадает, расползается по креслу, словно из него вынули все до единой косточки.

– Хватит, – говорит тот, что держит Михаила Борисовича за руки и отпускает его. Руки Бабановича бессильно падают вдоль тела и, как плети, свисают чуть ли не до пола. Несколько секунд Бабанович не шевелится и после того, как с его головы сдергивают пакет. С запрокинутой головой, неестественно широко разинутым ртом, так что стали видны самые последние ребристые зубы, смертельно бледный, с растекшейся по подбородку и шее слюной, он представляет довольно жалкое зрелище.

– Не переборщили? – настороженно спрашивает человек за спиной Бабановича.

– Нет, в самый раз, – отвечает его товарищ и приподнимает маску выше рта. На чёрном фоне ярко белеют красные тонкие губы, на тщательно выбритом подбородке видна глубокая ямочка. – Сейчас очухается…

Действительно, Михаил Борисович вздрагивает всем своим крупным телом и резким движением вскидывает обе руки к горлу, одновременно издав низкий, глухой стон. Глаза его, выкатившиеся из орбит, в диком испуге обводят комнату, он хватает ртом воздух и никак не может протолкнуть его сквозь слипшееся горло в лёгкие. Наконец, ему это удаётся, и Бабанович глухо вскрикивает от боли, хватаясь руками теперь уже за правую сторону груди. Его зловещие, непрошеные гости молча наблюдают за всем этим, оставаясь на своих местах.

Постепенно дыхание Михаила Борисовича восстанавливается, хотя хорошо видно, что каждый глоток воздуха даётся ему с болью. Он наваливается грудью на стол и затравленно смотрит прямо перед собою близорукими глазами.

– Ты всё понял, гнида? – брезгливо спрашивает его человек с ямочкой на подбородке, уже успевший опустить свою маску.

– Что…я…должен…понять? – хрипло, с паузами, спрашивает Бабанович, испытывая от каждого звука нестерпимую, царапающую боль в горле.

– Ты прекрасно знаешь – что! – отвечает ему человек напротив. – Сроку тебе – неделя. Слышишь ты, вошь в халате, через неделю мы придём опять, и если к этому времени ты не подготовишь нам Иванова… – Он сделал зловещую паузу, – в соответствии с уже оплаченным заказом… Михаил Борисович, антрактов больше не будет… Ты меня понял?

– Да, – прохрипел Бабанович.

– Ты хорошо меня понял? – усмехнулся человек с ямочкой на подбородке. – Не забудь: у тебя есть только неделя и время уже пошло… Не слышу ответа?

– Я всё…понял. Я всё…сделаю, – через силу отвечает Михаил Борисович, с ужасом чувствуя присутствие человека у себя за спиной.

– Ну, вот и молодец, Михаил Борисович, – сказал страшный человек в маске. – С этого надо было и начинать… Надеюсь, мы больше не увидимся?

– Н-надеюсь, – прошептал раздавленный унижением и болью Бабанович, со страхом наблюдая, как очень быстро и бесшумно покидают зловещие гости его кабинет.

Когда они уходят, плотно притворив за собою дверь, Бабанович еще какое-то время неподвижно сидит за столом. Потом он с трудом встаёт из кресла и на слабых, подкашивающихся ногах подходит к окну. Всё та же ночь за окном, скромно разбавленная тусклым светом фонарей, да тонкий рожок месяца, взмыв над крышами домов, плывёт в безбрежном пространстве в сопровождении яркой крохотной звёздочки, уютно устроившейся рядом с его нижней оконечностью. Увидев всё это, Михаил Борисович вздрогнул и судорожно сглотнул сквозь всё еще саднящее горло, а потом беззвучно заплакал, растирая рукой слёзы по щекам. Заплакал от только что пережитого животного страха, унижения, жалости к себе, но больше всего от сознания, что всё это, вместе с месяцем и мерцающей звёздочкой, он мог уже никогда не увидеть.

Собираясь на работу, Ирина Семёновна тщательнее, чем обычно, подбирала для себя одежду в гардеробе и остановилась на чёрном шерстяном свитере тонкой вязки, который

элегантно и строго облегал ее стройную фигуру и тёмно-синей джинсовой юбке умеренной длины. Красилась она всегда очень мало, но сегодня тщательно подрисовала глаза и подкрасила губы лёгкой, розовой помадой. Её серо-голубые глаза смотрели в это утро из зеркала сосредоточенно и внимательно, короткий, прямой носик с чувственными ноздрями был бледнее обычного.

Перед выходом на работу она позвонила родителям. Трубку взяла мать и сразу ошарашила Ирину Семёновну вопросом:

– Доченька, у тебя всё нормально? – встревоженно спросила она.

У Ирины Семеновны нехорошо ёкнуло сердце, и она не очень уверенно ответила:

– Всё хорошо, мама, всё нормально… А почему ты об этом спрашиваешь?

– Сон мне нехороший приснился, Ирочка, – мать шумно вздохнула в трубку. – Я утром встала и места себе не нахожу… Уже хотела сама тебе звонить.

– С Мишуткой всё нормально? – Ирина Семёновна, ожидавшая бог знает чего, облегчённо перевела дух.

– Спит ещё, – голос у матери потеплел. – А что ему у нас сделается? Весь вечер играл с дедом в шашки, потом я ему сказку почитала… Читаю, читаю ему, потом смотрю – а он уже спит. Умаялся в садике за день среди чужой ребятни, вот и сморило его.

– Ладно, мамочка, мне на работу пора бежать, – спохватилась Ирина Семёновна. – Папе с Мишуткой привет… Поцелуй их там за меня.

– Так ты, доча, будь осторожнее, – попросила мать, – ни с кем сегодня не ссорься и вообще не высовывайся, сиди себе и работай.

– Всё ясно, мама, – улыбнулась Ирина Семёновна. – Буду сидеть и работать… Пока-пока, побежала я, а то опоздаю, вот твой сон и сбудется.

«Я всё сразу так и скажу, – думала по дороге на работу Ирина Семёновна. – Разбирайтесь сами со своими заказчиками, или как их там правильно назвать… А только Балашов совершенно здоровый человек и находиться ему дальше в нашей клинике – нет никакой необходимости. Если это потребуется, Михаил Борисович, я могу дать вам любую расписку, любое поручительство за него… В конце концов, я сама готова переговорить с теми людьми, которые отправили его к нам на лечение. Я думаю, они

поймут меня и согласятся», – воинственно рассуждала Ирина Семёновна, и ясно представляла капитулирующего перед её доводами Бабановича…

Рабочий день начался с неожиданной новости: утренний обход провел не Бабанович, а дежурный врач. Где Михаил Борисович, что с ним и когда он будет – никто ничего не знал. Лишь Оленька таинственно покивала головой и многозначительно посмотрела куда-то в сторону.

Ровно в девять часов Ирина Семёновна покатила тележку с лекарствами и капельницей в бокс номер один. Что удивительно, именно в этот момент вспомнила она утреннее предостережение матери, связанное с её сном. И вновь у неё тревожно ёкнуло сердце в недобром предчувствии.

Как обычно своим ключом открыв двери в бокс, Ирина Семёновна, пятясь, перевезла тележку через порог, удивившись странной тишине, царившей в палате. Она оглянулась и обмерла: в боксе никого не было. Стояла аккуратно заправленная кровать, на тумбочке – настольная лампа и лежали пальчиковые батарейки от транзисторного радиоприёмника. Больше – ничего. Ирина Семеновна бросилась к старому платяному шкафу, в котором хранилось постельное белье и личные вещи Константина Владимировича – он был пуст. Растерянная, она стояла посреди пустой комнаты, не зная, что думать и что предпринять. Гулкая тишина окружала её, и в этой тишине угадывалась скрытая угроза. Ирина Семёновна подошла к окну и посмотрела на заметённый снегом двор, словно бы надеясь увидеть там хоть какие-то следы таинственного исчезновения Балашова. На душе у неё становилось всё тревожнее. «Вот и мамин сон – в руку», – подумала она.

Внезапно её осенило, что за это время Бабанович уже появился в клинике. А ведь он был единственным человеком, кто мог всё разъяснить, по крайней мере, сказать, куда подевался их пациент…

Оставив тележку с капельницей в боксе, Ирина Семёновна побежала в административный корпус на второй этаж. Увы, дверь Бабановича по-прежнему была заперта. Ситуация осложнялась ещё и тем, что напрямую она не могла спрашивать о Балашове. Никто и ничего не должен был знать о нём и, видимо, в самом деле, не знал, поскольку клиника жила своей обычной жизнью: медсёстры разбежались по палатам проводить положенные процедуры, технички делали мокрую уборку, охранники пялились в маленький экран телевизора – шла хоккейная игра.

На вопрос о том, поступал ли кто в клинику или выписывался – неопределённое пожатие плечами. Впрочем, что они могли знать, полчаса назад заступив на суточную смену. Спрашивать надо было у предыдущей смены, но эти охранники уже разъехались по домам. На вопрос о Бабановиче в регистратуре ответили кратко:

– Ещё не звонил…

Всё, круг замкнулся: спрашивать и узнавать было больше не у кого. И это именно в тот день, когда она подготовилась к решающему разговору с Бабановичем… Была в этом какая-то загадка, удивительным образом совпавшая со сном матери, с её беспокойством и предчувствием. Но как всё это свести воедино и найти правильный ответ – Ирина Семёновна не знала.

– Ты кого– нибудь ищешь, Ирочка Семёновна? – спросила пробегавшая мимо Олечка.

– Да нет, никого я не ищу, – равнодушно пожала плечами Ирина Семёновна. – А что, похоже на то?

– Вид у тебя какой-то… Ну, растерянный, что ли…

– Нормальный у меня вид, – нахмурилась Ирина Семёновна. – Не выдумывай.

– Ну-ну, мне-то что, – хмыкнула рыженькая Оленька и побежала дальше, держа в руках небольшой никелированный поддон с двумя двадцатиграммовыми шприцами.

Ирина Семёновна внимательно посмотрела ей вслед. Абсурд, конечно, такого просто быть не могло, но ей вдруг показалось, что Оленька что-то знает. И даже в том, как она уходила от неё, как сутулила узкие плечи в тесноватом белом халате, словно была какая-то вина перед Ириной Семёновной…

И пусто стало на душе у Ирины Семёновны, так пусто, словно бы душу эту вообще вынули из неё, оставив на том месте развороченную болючую дыру.

2

По утрам на рассыпчатом сухом снегу хорошо видны следы не только зверей, но и птиц, и мышей. Сразу за домиком Сергея, по самую крышу занесённого снегом, тянется до ближайшего леса небольшая заснеженная лужайка, сплошь и рядом испещрённая замысловатыми мышиными дорожками. Тут и там виднеются на ней мелкие стежки ёлочкой – это птичьи отметины, наискосок пересёк лужайку табунок пугливых косуль, оставив после себя глубокие воронки следов. Найда, утопая по брюхо

в снегу, мечется по лужайке, суёт любопытный нос с чёрной пуговкой на конце чуть ли не в каждый след, что-то особенное там вынюхивая. Неожиданно собачка скрылась в довольно плотном, светлом березняке. Сергей невольно улыбается, вспомнив, что всеми любимая красавица берёза, о которой столько стихов и песен сложено, по латыни называется несколько странным словом – бетуля. Но ещё более странен перевод этого слова – сечь. Видимо, в прошлые времена берёзовыми прутьями не только парились, но и воспитывали детей, опять же – не только на Руси Великой…

И вдруг звонко, на всю округу, напрочь обрушивая застоявшуюся тишину, залаяла в глубине леса Найда. Зарываясь носками лыж в снег, Сергей поспешил на её голос, заподозрив что-то неладное. Найда встретила Сергея громким повизгиванием и лаем. Под старой, замшелой елью с облупившейся корой он увидел разбросанные клочья белой шерсти да несколько алых пятен на снегу. Сергей осмотрелся: не так давно ровными, размашистыми прыжками заяц пересёк опушку и углубился в лес. Не чуял косой, какая опасность подстерегает его здесь. Скорее всего, это была харза, в нескольких местах оставившая после себя характерные следы. Снежным комом свалившись с дерева на спину бедного косого, небольшой, но очень злобный зверёк мгновенно расправился со своей жертвой. Может, и сейчас этот коварный хищник затаился где-то поблизости, хорошо скрытый цветом шерсти, идеально сливающейся с тёмно-бурой корой деревьев…

– Пошли, Найда, отсюда, – поворачивая лыжи в сторону дома, сказал Сергей. – В этой столовой уже пообедали, так что придётся нам ужин готовить самим.

Домой Сергей вернулся, когда краешек низкого, зимнего солнца уже коснулся вершин дальнего леса, вытянув тени деревьев до предельной возможности. Пока Сергей растапливал печурку, запасался дровами на весь длинный, зимний вечер, качал воду из двадцатиметровой скважины на кухне, солнце и вообще успело скрыться, утащив за собою длинные, голубые тени и уступив место молодому месяцу, изящным рожком повисшему в тёмной проруби неба. Сергей мимоходом отметил, что на нижний конец рожка ведро с водой вполне можно повесить, а это значит – декабрь обещает быть погожим. Это его порадовало, поскольку копать и отгребать снег, каждый день с боем пробиваться к дровам и туалету ему уже изрядно надоело. Времени и

сил на это уходило много, а через день-другой всё приходилось начинать сначала.

Когда в доме потеплело, а в кастрюле на плите ключом забил кипяток, Сергей многообещающе сообщил Найде:

– Ну, моя хорошая, деликатесов, всяких там педигри и тушёнки из морепродуктов я тебе не обещаю, а вот перловую кашу с рыбьим жиром ты вполне заслужила.

Про себя же Сергей отметил, что и сам бы сейчас не отказался от хорошей бараньей грудинки, доброго шмата сала с чесноком и морской капусты с креветками. От этих гастрономических воспоминаний он сглотнул набежавшую слюну, и ловко вскрыл баночку с сайрой, намереваясь сварить себе рыбный суп. С головкой лука и куском вымоченной горбуши ужин обещал получиться тоже ничего, хотя после мороза, да с устатка, сто пятьдесят грамм простой русской водочки могли бы заметно украсить вечернее застолье. Но из-за постоянных метелей и лютой стужи в город Сергей давно не выбирался и поэтому все его запасы подходили к концу.

Непонятно как и почему, вторично свалилась столовая ложка со стола. Споласкивая её под рукомойником, Сергей с усмешкой спросил свою собачку:

– Найдочка, а ты никак гостей ждешь? Надо было предупредить меня, я бы двойную порцию каши сварил, а так и угостить гостей будет нечем…

Минут через десять Найда вдруг села на коврике и настороженно выставила вперед уши. Потом негромко заворчала, обнажая розовые дёсны с белыми клыками. И вдруг радостно взвизгнула, замолотила хвостом по коврику, оглядываясь на Сергея и словно бы приглашая его разделить с нею нечаянную радость. Удивлённый Сергей посмотрел на свою собачку, прислушался, потом отдёрнул занавеску на кухонном окне и выглянул на улицу. То, что он увидел, повергло его в мистический ужас: по расчищенной от снега дорожке от калитки к дому шла высокая, стройная женщина в лыжном адидасовском костюме и белой вязаной шапочке. Лыжи с палками она держала в руках, за спиной у неё горбился небольшой рюкзачок. Растерянный Сергей отпрянул от окна, и в это же время раздался негромкий стук в двери. Найда, мотая хвостом так, словно бы хотела вообще избавиться от него, с радостным поскуливанием бросилась к двери. Стук повторился, и только тогда Сергей пришёл в себя и выскочил в холодные сени, чтобы отпереть дверь.

– А вот и я, здравствуйте, – знакомым голосом сказала женщина, прислоняя лыжи к насквозь промороженной стенке холодных сеней. – Не ждали?

– Здравствуйте, – нерешительно ответил всё еще не пришедший в себя Сергей.

– Извините, что так поздно, – улыбнулась женщина и по этой белозубой, очень приятной улыбке, Сергей тотчас признал в ней Карму. У Найды опознание поздней гостьи случилось значительно раньше: выражая собачье гостеприимство, она уже ткнулась острой мордочкой в колени женщины. – Так можно пройти или нет? Или вы решили заморозить меня окончательно?

– Конечно-конечно! – поспешно отступил в сторону Сергей, пропуская Карму в дом. – Проходите, пожалуйста… У нас тепло, быстро согреетесь.

– Спасибо, – Карма переступила порог дома и засмеялась от удовольствия. – И правда, у вас такая теплынь, так хорошо и уютно… А я, знаете, каталась на лыжах и дай, думаю, зайду в гости, погреюсь… Авось не выгонят…

– Кто же вас выгонит на ночь глядя? – наконец, улыбнулся и Сергей. – Снимайте ваш рюкзачок, располагайтесь и вообще – будьте как дома.

– Но не забывайте, что в гостях, – опять засмеялась Карма, снимая с плеч рюкзак.

Через полчаса, когда гостья отогрелась возле горячей плиты, умылась и привела себя в порядок, Сергей взялся накрывать на стол. Насыпал полную миску сухарей, почистил крупную луковицу, тонко порезал белесоватую после вымочки, не очень аппетитную на вид, но чрезвычайно вкусную солёную горбушу, и в это время Карма, внимательно наблюдавшая за ним, спросила:

– А можно я сегодня поухаживаю за вами?

– Как это? – не понял Сергей и вопросительно уставился на женщину.

– Очень просто – накрою на стол… Поверьте, я это неплохо умею делать.

– Пожалуйста, – пожал плечами Сергей, – но я, собственно, стол уже накрыл…

– У вас сковорода есть? Желательно – большая. И, пожалуйста, подбросьте в печку дров, мне понадобится жаркая плита… И не беспокойтесь, Серёжа, – увидев его изумлённое лицо, засмеялась Карма, – я сделаю всё очень быстро. А вы пока по-

кормите Найдочку, вон она как смотрит на нас, думает, что мы про неё забыли.

Нежданная гостья взялась за свой рюкзачок, и через мгновение Сергей уже держал в руках двухкилограммовый пакет из плотной бумаги с собачьим кормом – педигри. В следующее мгновение на раскалённую сковороду шлёпнулся довольно приличный кусок бараньей грудинки, и в кухне по-особенному уютно, по-домашнему аппетитно заскворчало жареное мясо.

– Что же вы, Серёжа, не кормите Найду? – едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться от вида обалдевшего Сергея, в недоумении переводящего взгляд со сковороды на пакет с собачьим кормом, спросила Карма. – Открывайте пакет, а я пока приготовлю закуски.

Сполоснув кипятком и насухо протерев собачью миску, Сергей с горкой навалил в неё собачий корм, весьма аппетитный на вид. Найда, внимательно наблюдавшая за ним, судорожно сглотнула и облизалась. Поставив миску у порога, Сергей негромко скомандовал:

– Найда, кушать!

Посмотрев на Сергея, потом – на хлопотавшую у стола Карму, собачка неторопливо подошла к миске, еще раз оглянулась на людей и лишь после этого приступила к трапезе.

Накинув куртку и обув валенки, Сергей дважды сходил за дровами, свалив их на металлический лист у печки. После улицы, тёмной и морозной, с мерцающими звёздами в непостижимой глубине небосвода, в доме казалось особенно уютно и тепло. А уж запах жарящейся баранины, сноровисто управляющаяся возле кухонного стола красивая женщина – для Сергея была отдельная песня, без слов (слов для этого он просто не находил), а потому особенно проникновенная и родная. Ему всерьёз казалось, что всё это происходит не иначе, как во сне, но какой там сон, если Найда лежит на своём коврике и сыто облизывается, у порога стоит до зеркального блеска вылизанная миска, а у самого Сергея буквально челюсти сводит от аппетитного запаха жареной с луком и помидорами баранины.

– Моем руки с мылом и – к столу, – говорит Карма, с усмешкой разглядывая растрёпанного, взбудораженного Сергея, нет-нет, да бросающего на неё недоумённые взгляды. – У меня всё готово.

В это трудно было поверить, но в центре стола стояла высокая бутылка с синей этикеткой – прекрасная русская

водка «Пять озер», о которой Сергей мечтал чуть больше часа назад. Рядом с бутылкой красовалась плоская тарелка с тонко порезанным салом в мясных прожилках, щедро пересыпанным чесночной крошкой, и ещё одна тарелка – с ядовито-зелёной морской капустой, густо сдобренной розовыми сочными креветками. Овощной салат со свежими огурцами, помидорами и сладким перцем, украшенный поверху крупными кольцами репчатого лука, запылённый укропом осетровый балык, баночка красной икры и нарезка из нескольких сортов сырокопчёных колбас в фирменных упаковках плотно окружали запотевшую бутылку.

– Садитесь и наливайте, – решительно предложила Карма, глазами показывая на бутылку. – Я небольшая любительница крепких напитков, но с вами холодной водки с удовольствием выпью.

– Но как, как вы узнали, – слегка заплетающимся языком заговорил Сергей, – что именно сегодня я хотел, да что там хотел – просто мечтал выпить водки и поесть жареной бараньей грудинки?

– Узнала, узнала, – засмеялась Карма. – Чтобы сделать приятное хорошему человеку – много ума не надо… Много ума надо, Серёжа, чтобы человека унизить, окружить его злом… Впрочем, не будем об этом. – Карма подняла свою рюмку и почему-то грустно посмотрела на Сергея. – Знаете, за кого я предлагаю выпить? Нет, не знаете и никогда не догадаетесь… Давайте выпьем за одного очень близкого вам человека, который лишь недавно вернулся из крайне опасного, но интересного путешествия в сказочные, скажем так, края, где он очень хотел остаться… Но ему этого пока не позволили… Догадываетесь, о ком я говорю?

– Нет, – покачал головой Сергей. – К сожалению, у меня совсем не осталось близких людей…

– Остались, остались, Серёжа, – не согласилась Карма, – ещё как – остались! Я предлагаю выпить… за Лерочку Ослomовскую…

Если бы Найда, мирно дремавшая на коврике у печи, вдруг превратилась в тропического попугая, села Сергею на плечо и заговорила человеческим голосом, он бы не был так поражён, как при последних словах Кармы.

– Но как, откуда вы можете знать о Лере? – пробормотал Сергей, и водка из его рюмки выплеснулась на стол. – Кто вы такая, в конце концов?

– Давайте лучше выпьем, – чокаясь с Сергеем, мягко улыбнулась Карма. – И выпьем за Леру, потому что она вас уже ищет…

Очень медленно, мелкими глотками, Карма выцедила свою водку, подцепила вилкой кружок огурца и закусила. Потом, както легко и лукаво подмигнув Сергею, сказала:

– Пейте, Сережа, пейте за свою Леру – она этого заслужила…

3

Было раннее зимнее утро с едва пробивающимся сквозь серую наволочь туч солнцем, со скрипом промороженного за ночь снега и тяжёлым, прерывистым дыханием Мартына после пятикилометровой пробежки на лыжах. На последнем спуске с горы он притормозил и в какой уже раз с удовольствием осмотрел свой обширный загородный дом: вместе с фруктовым садом с одной стороны и девственным сосновым бором – с другой, он занимал площадь чуть менее трёх гектар. С высоты небольшой сопки, дом смотрелся как сказочный теремок: с крутой крышей, покрытой красной черепицей, с зимним садом и спортзалом из стекла и дорогого формовочного кирпича, с отдельно стоящей двухэтажной банькой из круглого сухого кедра, гаражом на несколько машин, теплицами и хозблоком его усадьба смотрелась как настоящее поместье. Именно о такой усадьбе и мечтал Мартын, создавая свою коммерческую империю, ради неё копытил день и ночь, ни с чем и ни с кем не считаясь. И вот она у него есть: над высокой каминной трубой поднимается синий дымок, на кухне колдует любимая жена Лена, в детской делают зарядку сыновья, а во дворе ширкает метлой родной дядька Петр Петрович… И лишь одного-единственного человека не хватает здесь Мартыну – родной матери, которая упорно сидит в своей совхозной развалюхе, продолжая пожизненное добровольное троеборье: вода – дрова – помои. И никакие уговоры пока не помогают – мать остаётся непреклонной. Но и здесь Мартын видит и прогнозирует на несколько ходов вперёд: годы идут, болячки у матери прибавляются, а медобслуживание в сибирской глубинке – при последнем издыхании. И хочешь-не хочешь, а ездить в город матери приходится, и с каждым годом дорога эта даётся ей все труднее. Так что недалёк тот день, когда и мать переедет к нему, в его просторное поместье, а там, глядишь, и сёстры с братом подтянутся. Места на трёх гектарах всем хватит, а ему поддержка близких, надежных людей, вот как нужна!

Бизнес растёт, штат увеличивается, и за всем этим, понятное дело, глаз да глаз нужен…

Дыхание выровнялось, ноги в коленях перестали подрагивать, пора было двигать дальше. Мартын оглянулся. Два охранника на лыжах в зелёных лыжных костюмах стояли метрах в двадцати от него: было видно, что они основательно промёрзли. Ничего, мужики они молодые, тренированные, пусть закаляются на сибирском морозе, отрабатывают свою немалую зарплату.

Мартын помедлил ещё какое-то время, а потом с силой оттолкнулся палками, и громоздкий, как шкаф, легко заскользил под уклон, да так, что концы чёрного шарфа за спиной забились, словно крылья.

Телефон долго не отвечал, и Мартын уже собрался дать отбой, когда вдруг послышался знакомый, словно бы придушенный голос:

– Да, Бабанович у телефона.

– Здравствуйте, Михаил Борисович, – Мартын не сдержал довольной ухмылки. – Здравствуйте, дорогой!

– Добрый день, Геннадий Степанович, – с запинкой ответил растерявшийся Бабанович. – Рад вас слышать…

– А уж я как рад, Михаил Борисович! – не стал скрывать злорадного удовлетворения в голосе Мартын. – Как ваши дела, дорогой доктор? Как поликлиника – не бедствуете?

– Всё хорошо, Геннадий Степанович, всё нормально, – голос у Бабановича дрожал.

– Вот и ладненько… Приятно, знаете ли, слышать, что у твоих друзей всё хорошо и всё нормально… Приятно, честное слово! А так, вообще, Михаил Борисович, никто вас не обижает?

– Нет, Геннадий Степанович, – через паузу и с усилием ответил Бабанович. – Никто меня пока не обижает…

– Если что, вы обязательно мне скажите… Я быстро с ними разберусь… Знаете, я не привык своих друзей, настоящих друзей, Михаил Борисович, в обиду давать… Так что если что – не стесняйтесь.

– Да нет, Геннадий Степанович, в самом деле – всё нормально… Спасибо вам, – тихо и напряжённо говорил Бабанович, в то время как с лица Мартына не сходила самодовольная ухмылка.

– Ну, а как там мой подопечный? – голос у Мартына стал серьёзным. – Как он у вас там поживает? Не нуждается ли в чём-нибудь?

– С подопечным мы работаем, Геннадий Степанович, серьёзно работаем, – поспешно ответил Бабанович.

– А вот я слышал, что дела у него на поправку пошли… А, Михаил Борисович? И так на поправку пошли, что он, говорят, у вас там любовью занялся… А что – здорово ведь получается! Лечение, так сказать, и любовь – в одном флаконе… Мне это даже понравилось, честное слово…

Бабанович тяжело дышал в трубку и молчал.

– Вы там день бракосочетания этой сладкой парочки ещё не объявили? – спросил Мартын.

– Извините, Геннадий Степанович, не досмотрел, – глухо ответил Бабанович. – Моя вина… Но, в этом плане всё уже исправлено… Всё лечение сейчас проводится под моим непосредственным контролем и согласно нашей договоренности.

– И где он у вас теперь находится?

– Иванов надежно изолирован, Геннадий Степанович…К нему приставлены наши санитары и медсестра…

– Это какая ещё сестра? Уж не Ирина ли Семёновна или как её там? – усмехнулся Мартын.

– Нет-нет, не Ирина Семёновна… Она полностью изолирована от Иванова. – Бабанович запнулся. – Может, мне её вообще уволить?

Мартын задумался и категорически отверг это предложение:

– Ни в коем случае, Михаил Борисович! Пойдут разговоры, догадки… Просто держите её на расстоянии – этого достаточно.

– Хорошо, Геннадий Степанович, всё будет сделано, как вы скажете, – подобострастно ответил Бабанович.

– Рад был слышать вас… До свидания.

Мартын отключил телефон и устало откинулся на спинку кресла.

Герман Орлов позвонил сам, и по его голосу, по льстивым, заискивающим ноткам, Мартын сразу определил, что добрых новостей от него ждать не приходится. Так и получилось.

– Геннадий Степанович, у меня проблема, – сразу занудил Герман. – Марина в последние дни серьёзно дуркует, домой просится…

– А ты там для чего? – нахмурился Мартын. – Я тебе деньги за что плачу?

– Но она слышать ничего не хочет, тупит на каждом шагу, – заныл Герман. – То ей сала с чесноком хочется, то селёдки с луком под русскую водочку… Я тут, Геннадий Степанович, скоро с ней

сам сопьюсь… Еле-еле уговорил её подождать хотя бы до дня вылета. Да и то, знаете ли, пришлось мне её в аэропорт везти, чтобы там подтвердили, что билетов на ближайшие дни нет…

– И что ты мне предлагаешь? – недовольно засопел Мартын.

– Через три дня наш рейс, Геннадий Степанович, – торопливо заговорил Герман. – Дольше мне её здесь не удержать.

– Исключено! – резко и зло отчеканил Мартын. – Выбрось из головы!

– Но вы же сами говорили про три недели, – испуганно заскулил Герман Орлов. – У нас и билеты на руках – согласно вашего распоряжения…

– Билеты – тоже выброс! В ближайшие две недели речи о вашем возвращении не может быть! – категорично отрезал Мартын.

– Но что же мне делать? – явно перепугался Герман. – У неё на этой почве крышу срывает, она здесь такой скандал поднимет – мало не покажется… Знаете, Геннадий Степанович, она ведь в консульство собралась ехать.

Мартын поморщился и свёл рыжие брови к переносице. Упоминание о консульстве ему не понравилось, совсем не понравилось… По интонации, по истерическим ноткам в голосе Германа он понял, что тот недалёк от истерики. Да и что с него взять – Нарцисс, способный лишь вскружить бабам голову, но чтобы удержать их – слабо, не тянет… А решать что-то надо, просто невозможно её сейчас возвращать – всё дело испортит. Конечно, никакого зла он ей не желает, она здесь вообще не при делах, но и другого выхода у него нет.

– Вот что, Герман, – успокоившись, добродушно заговорил Мартын, – я тебя понял… Ничего не поделаешь – придётся включать запасной вариант…

– К-какой в-вариант? – вдруг начал заикаться Герман.

– Узнаешь… Завтра поедешь в аэропорт и встретишь там одного нашего человека, он тебе всё расскажет. Там делов-то – два пальца об стол… Ну, а сам возвращайся своим же рейсом, согласно купленного билета, так сказать… Или ты хочешь ещё немного отдохнуть?

– Нет-нет! – поспешно ответил Герман. – Я уже вдоволь наотдыхался – хватит с меня… А что будет с Мариной?

– Она прилетит позже… Всё, Герман, у меня нет времени… Сделаешь всё, как надо, получишь хороший бонус. Тебе надолго хватит… До встречи.

– До свидания, – пробормотал Герман и ещё долго слушал короткие гудки в микрофоне своего мобильника.

Необычайно возбужденная, радостная, Марина буквально порхала по номеру, собирая свои вещи. Герман с искренним недоумением смотрел на неё. Вчера вечером, по инициативе Марины устроив отвальную, они выдули почти две бутылки водки. Причём Герман бессовестно сачковал, то не допивая свою водку, то вообще пропуская очередную рюмку, и в результате к полуночи Марина была, что называется, в хлам, так что пришлось с лоджии на кровать тащить её едва ли не волоком. И вот результат: Герман валяется в постели с мокрым полотенцем на голове, выпил два стакана минералки с аспирином, а Марине хоть бы что. Встала на пару часов раньше его, приняла душ, высушила и уложила волосы в прическу, сделала маникюр, и теперь вот порхает туда-сюда, мурлыча себе под нос незамысловатый мотивчик.

– Герман, а ты почему не собираешься? – ласково и заботливо, совсем как в первые дни их пребывания здесь, спрашивает Марина.

– Не могу, башка трещит от твоей водки, – слабым голосом жалуется Герман.

– Выпей холодного пивка из холодильника, и всё как рукой снимет, – беспечно советует Марина. – Я вот выпила и прекрасно себя чувствую.

– Я не похмеляюсь, – брезгливо морщится Герман, – не алкаш пока ещё…

– Похмеляются водкой, Гера, – назидательно говорит Марина, – а вот пивом – всего лишь поправляют здоровье. Улавливаешь разницу?

– Нет, не улавливаю… А ты куда так торопишься – до вылета еще три часа?

– Домой хочу, Гера, до-мо-ой! – нараспев сказала Марина. – Плевать я хотела на этот Остров и все его прелести. Он мне просто-напросто охренел, этот твой Остров. По мне так лучше дома, в самой захудалой дыре тусить, чем на этом Острове. Но, слава богу, всё позади, и уже сегодня мы будем дома! Слышишь, Гера – дома! – Марина подскочила к Герману и чмокнула его в губы.

– Марина, ну ты чё? – заскулил Герман. – И так голова трещит…

– Хорош ныть, Гера, – засмеялась Марина. – Я сейчас вниз спущусь и возьму в буфете парочку шкаликов местного брен-

ди – буду тебя лечить. А ты, голубок, отправляйся пока в душ и постой там минут пятнадцать. Вот увидишь – легче станет…

Когда Марина ушла, Герман хоть и с гримасами, стонами и охами, поднялся с дивана, но пошёл он не в душ, а запер на ключ входную дверь. Опасливо прислушиваясь, он схватил свою барсетку и достал из неё два небольших продолговатых белых пакетика. Понюхав пакетики и вновь прислушавшись, он склонился над дорожной сумкой Марины. После небольшого замешательства рывком расстегнул один из многочисленных карманов, слегка пошоркал пакетиками о сумку снаружи, а затем спрятал их за подкладку кармана. Сложив разную мелочёвку в карман в том же порядке, в каком она лежала там прежде, Герман застегнул молнию и бросился открывать дверь. И вовремя – Марина уже возвращалась с высокой тёмной бутылкой в руках.

– Вот, – сказала она, входя в номер, – шкаликов не оказалось, взяла бутылку… На двоих – как раз будет. А останется – горничная допьёт, – засмеялась Марина, возбуждённо поблескивая чёрными, необычайно живыми пуговками глаз. – А ты чего, красавчик, морду воротишь, не хочешь, что ли?

– Не хочу, – отворачиваясь от Марины, мотнул головой Герман. – Я лучше в душ пойду.

– Ну и правильно, – легко согласилась Марина, – сходи. Потом выпьем…

В аэропорту слегка поддатая Марина громко разговаривала, смеялась по любому пустяку, пытаясь растормошить смурного Германа. Он же воротил лицо в сторону, болезненно морщился, то и дело испуганно взглядывая на большое электронное табло. Наконец, объявили их рейс, и Марина едва ли не первой бросилась к окошечку регистрации. Герман же замешкался, растерянно озираясь вокруг.

– Гера, ну что же ты? – нетерпеливо окликнула его Марина, за которой уже выстроилась очередь. – Граждане, господа, это мой муж, – обратилась она к очереди, – мы вместе…

– Да пожалуйста, – добродушно ответил ей кто-то по-русски. – Не вопрос.

– Гера, вставай впереди меня…

С документами у них всё было в порядке, и они прошли в следующую комнату на досмотр. Марина радостно улыбалась, возбуждённо крутилась на одном месте, то и дело дёргая Германа за рукав.

– Смотри, смотри, Гера, это опять наши, русские… Вон та женщина, с девочкой, грудастая такая, наверняка тоже наша… У наших лица совсем другие, их сразу можно узнать…

На досмотре они попали в разные секции. Пока Герман разувался и снимал брючной ремень, Марина уже проходила досмотр. И вдруг из той секции, где была Марина, послышались громкие голоса на английском языке, невнятный шум и, наконец, кто-то громко, с сильным акцентом спросил:

– Whosebad?

– Это моя сумка, – донёсся до Германа пока ещё только удивленный голос Марины. – А в чём, собственно, дело?

– Walkwithus! – скомандовали ей.

– Но что такое? Что случилось? – растерянно и громко спросила Марина. – Я не понимаю… Герман! – казалось, на весь аэропорт закричала она. – Гера, иди сюда…

В это время Герман наконец-то вдел в брючные петли свой ремень и, подхватив синюю дорожную сумку, торопливо направился прочь из досмотровой комнаты.

– Гера, Гера, ты где? – кричала за спиной Марина. – Не оставляй меня, подожди-и-и…

Ослепительное солнце сияло над Островом, синяя гладь морской воды дышала покоем и вечностью, и по этой спокойной глади легко скользила парусная яхта, сопровождаемая вечно голодными, крикливыми чайками.

4

Этим утром Вадик проснулся с ощущением праздника в душе. Вначале он даже и не понял, откуда идёт это ощущение: не то сон хороший приснился, не то утро такое замечательное… Сварив кофе и разогрев гигантский гамбургер в микроволновке, Вадик удобно развалился на своём любимом диване и приступил к трапезе. Гордый желудок, от обиды вначале никак не отреагировавший на этот замечательный факт, вскоре отмяк, расслабился и сыто заурчал, словно сибирский кот, сожравший бедную мышку. Вадик, свирепо перемалывая сильными челюстями котлетку вместе с капустным листом, бездумно скользил осоловевшим взглядом по комнате и вдруг упёрся в тот книжный шкаф, за стеклом которого вместе с папками заказов и чертежей лежал найденный им в поезде старинный кинжал. Вадик встрепенулся, но тут же расслабился, вспомнив, что его подозрительный клинок в старинных ножнах, необыкновенно

острый, с волнистым голубоватым лезвием и очень удобной рукоятью, летит или уже прилетел на Дальний Восток, и скоро окажется в надежных руках верного друга Федора. На сердце у Вадика заметно потеплело, он вздохнул полной грудью, словно бы освобождаясь от нещадно сдавливающих грудную клетку обручей, и вновь переключился мыслями на скорую встречу с Марго. Но прежде надо было закончить уборку в изрядно запущенном офисе, сбегать в магазин за продуктами, шампанским и коньяком, ну и, разумеется, привести себя в порядок.

Сразу после обеда Вадик решил, что пора звонить Марго: и не слишком рано, и пока еще – не поздно для назначенных пяти часов вечера. Марго ответила так быстро, словно бы держала телефон в своей маленькой, аккуратной руке.

– Здравствуйте, Маргарита Иосифовна, – Вадик почувствовал, что он все-таки волнуется.

– Здравствуйте, Вадим Сергеевич, здравствуйте! – с легкой насмешкой в голосе ответила Марго. – Только теперь, Вадик, я окончательно поняла, что нам с вами просто необходимо закрепить наш брудершафт. А то мы до конца жизни так и будем друг другу то выкать, то тыкать… А это, честно говоря, не очень удобно. Как вы полагаете?

– Согласен, – хрипловато ответил Вадик.

– А там, рядом с вами, никого нет? Какой-нибудь тётеньки с шикарным бюстом? – засмеялась Марго. – Я могу надеяться?

– Можете, – голос у Вадика окончательно подсел, – на этот раз вы вполне можете надеяться на меня – я не подведу.

– Ах, если бы, – насмешливо вздохнула Марго. – Я так на это рассчитываю… Давайте ваш адрес, и не надо меня встречать… Я сама вас найду, а вот дверь, Вадим Сергеевич, потрудитесь отпереть заранее. Не люблю, знаете ли, торчать под дверью и звонить…

– Хорошо, – выдохнул Вадик, – я жду вас…

Оставшиеся два часа превратились для Вадика в сущую каторгу. Не находя себе места, он бесцельно мотался по комнате, словно бенгальский тигр в клетке на Цветном бульваре. Марго, блистательная Марго, вплыла в скромную прихожую Вадика, словно многоцветное волшебное облако: в голубой норковой шубке с капюшоном, в элегантных белых сапогах на высокой шпильке и в тонких лайковых перчатках, овеян-

ная изысканным запахом французских духов – «Шанель №5». Небрежным движением руки она скинула капюшон, и чёрные волосы, блестящие и упругие, крупными, красивыми локонами легли на её плечи. «Богиня!» – ахнул про себя Вадик, не решаясь приблизиться к Марго.

– А нас здесь что, не ждали? – хитро улыбнулась гостья, подставляя Вадику левую щеку. – Или нам здесь не рады?

Вадик смущённо ткнулся онемевшими губами в щеку Маргариты Иосифовны, а затем принял с её плеч не имевшую веса шубку.

– Не слышу ответа на прямо поставленный вопрос? – громко цокая по паркету шпильками, в коротком, чуть ниже колен, строгом чёрном платье от Диор, Марго прошла в комнату.

– Рады, – пробормотал Вадик, – ещё как рады!

– Вот это уже другое дело, – весело сказала Марго. – И со спиртным у нас – всё в порядке, молодец! А вот к цветам я равнодушна: они почему-то всегда напоминают мне кладбище… Хотя изо всех прочих, чайные розы мне кажутся наиболее приемлемыми. К тому же – они хорошо пахнут… Так что, Вадик, можно сказать, и с цветами ты не промахнулся. Ну, а что будет дальше – посмотрим…

Марго довольно искусно делала вид, что не замечает, какими глазами пожирает её Вадик, буквально онемевший и от её изысканного наряда, и от неё самой. Особенно его поразила длинная белая шея, хорошо видная в небольшом декольте, эффектно выделявшаяся на фоне тёмных волос, и совершенно круглые, крепкие в коленях ноги. Впрочем, выделить какую-то часть её тела и сказать, что где-то ей бог не додал – было просто невозможно.

– А как насчет клубники к шампанскому? – нетерпеливо спросила Марго, и спросила таким низким, глухим голосом, что Вадик тоже буквально взвился от нетерпения и бросился к холодильнику, с трудом подавляя в себе желание – тотчас наброситься на это немыслимо желанное, аппетитное, таинственное существо.

– Итак, Вадим Сергеевич, – лукаво усмехнулась Марго, высоко поднимая бокал с пузырящимся шампанским, – повторим наш брудершафт?

– С огромным удовольствием! – вякнул Вадик, глядя на Марго восхищёнными глазами.

Они выпили, переплетясь руками, при этом Вадик почувствовал ровный, спокойный холод предплечья Марго, а вот губы у неё были мягкие и податливые. Вадик как припал к ним, так и вытянулся весь в струнку, не в силах оторваться от этих горячих губ, от мятного дыхания, от обворожительного запаха чистого женского тела.

– Довольно, Вадик, довольно, – отстраняясь, легко засмеялась Марго, – надо же что-то оставить и на потом.

Вадик перевёл дыхание и, виновато глядя в сторону, отвалился на спинку дивана, даже боясь представить, что его ждёт впереди…

После третьего тоста Марго задумчиво обмакнула крупную, круглую клубничину в бокал с шампанским и так же задумчиво, не спеша, стала ее обсасывать, перекатывая с одной стороны рта в другой. У Вадика, неотрывно наблюдавшего за нею, пересохло во рту, он с трудом сглотнул подступивший к горлу ком. Красные, сочные губы, вытянутые трубочкой, круглый шарик клубники за щекой, аромат французских духов – было от чего сойти с ума. А еще это небрежное покачивание стройной ножкой, закинутой на другую, оголившееся колено, туго натянутое сукно внизу живота, высоко поднимающаяся грудь, из-под которой плавно вытекала классической формы талия… Было, было от чего закружиться бедной голове Вадика, было от чего сойти с ума. К тому же Марго, скосив на него глаза цвета грецкого ореха, смотрела, как показалось осоловевшему Вадику, затуманенным взглядом, не то обещающим что-то, не то призывающим к чему-то…

Поставив бокал на столик, Вадик решительно придвинулся к Марго и, обняв её за талию, слегка потянул к себе, с волнением ощутив, как податлива и послушна Марго его порыву. Он забрал из её руки пустой бокал, поставил рядом со своим и, дождавшись, когда она повернёт к нему голову, жадно припал к её губам. Вадик обнял её губы своими, как обнимает погибающий от жажды человек край сосуда с родниковой водой, он чувствовал их согласие и покорность, а потом, неожиданно, она передала ему круглую ягоду, как предложение войти и насладиться… И в это время в прихожей безжалостно затрещал звонок, в одно мгновение разрушив так тщательно и терпеливо построенный ими замок любви, их тайное убежище, в котором они хотели скрыться, и почти уже скрылись от всего остального мира.

Вадик попытался пропустить этот звонок, что называется, мимо ушей, сделать вид, что его нет и – не было, но Марго решительно отстранилась от него.

– Нет, Вадик, нет… Он может всё испортить… Ещё успеем, мой хороший, всё мы успеем…

И Вадик, до предела возмущённый и обескураженный, на заплетающихся ногах пошел в прихожую открывать дверь.

– Вам пакет, распишитесь, – парень в зелёной куртке, закутанный в шарф из верблюжьей шерсти, протянул ему фирменный бланк.

– Не понял, – Вадик удивленно приподнял брови, – что ещё за пакет?

– Распишитесь, – настойчиво повторил представитель почтового ведомства, – и получите…

Вадик небрежно расписался, и через мгновение в его руках оказалась узкая, продолговатая коробка, в которой он без труда узнал отправленную два дня назад на Дальний Восток бандероль.

– Что случилось, Вадик? – спросила Марго, невозмутимо потягивая из бокала шампанское, в котором плавала, переворачиваясь с бока на бок, продолговатая и слегка приплюснутая с двух сторон клубничина. – Кто приходил?

– Да вот, – Вадик растерянно вертел в руках бандероль. – Отправил два дня назад другу подарок, а его почему-то принесли обратно.

– Что за подарок? – заинтересовалась Марго. – Не секрет?

– Какой там секрет, – вздохнул Вадик, – просто кинжал. Друг у меня охотник, вот я и решил сделать ему подарок на день рождения, а его принесли назад…

– Можно посмотреть? – неожиданно заинтересовалась Марго.

– Без проблем, – усмехнулся Вадик, протягивая бандероль Марго.

Приняв сверток, она внимательно осмотрела его со всех сторон и тихо засмеялась.

– Что такое, Марго? – удивился Вадик, открывая коньяк и мартини. – Что ты там такое смешное увидела? Скажи, я тоже посмеюсь…

– Вадик, дорогой мой чудак, да ты ведь адреса написал по старинке: адрес друга вверху, а свой – внизу. Теперь, на

европейский манер, пишут наоборот. Вот и получается, что ты отправил бандероль самому себе. Понимаешь?

Ошалевший Вадик тупо смотрел то на Марго, то на бандероль в её руках.

– Я сто лет ничего и никому не отправлял, – наконец, ответил он, чувствуя знакомый холодок под сердцем.

– Да не расстраивайся ты так, – пожала плечами Марго, – завтра отправишь снова… А можно мне на этот кинжал взглянуть? Наверное, какой-нибудь особенный?

– Это точно – особенный, – вздохнул Вадик и пошёл за ножницами.

Осторожно взяв в руки извлечённый из ножен клинок, Марго, вдруг став необычайно серьёзной, долго и внимательно рассматривала его. Потом каким-то особенным, тихим голосом спросила:

– Вадик, ты представляешь, что это за кинжал? Посмотри внимательно на него, и ты поймешь, почему кинжалы называют холодным оружием… Помимо всего прочего, в этом клинке угадывается очень серьёзная, скрытая энергетика. Ты только посмотри на эти углубления для указательного и большого пальцев в лезвии ножа, на эти изумительные семь изгибов, отдаленно напоминающие морские волны… Нет, Вадик, это не охотничий нож, – она задумчиво посмотрела на него. – Тот, кто его так искусно сделал, явно предназначал клинок не для охоты…

– А для чего? – враз пересохшими губами спросил побледневший Вадик.

– Не знаю для чего, но не для охоты – точно… Я ведь изучала в свое время культуру и быт Юго-Восточной Азии, и даже кандидатскую диссертацию по этой теме защитила. Там ножи и кинжалы – изделия культовые, их обожествляют, им поклоняются. Такой кинжал, как у тебя, с ассиметричной формой клинка, впервые появился на острове Ява, а затем был распространён по всей Индонезии, на Филиппинах и в Малайзии. Называют такой кинжал – крис или керис, что напрямую связано с древнеяванским словом – нгерис, означающим – колоть или пронзать… Кстати, Вадик, как он вообще к тебе попал? – подняла на него свои прекрасные глаза Марго.

– Да так, – поморщился Вадик, – совершенно случайно… Я его в поезде нашёл, когда из Ещенска возвращался.

– Оп-па-па, – удивлённо приподняла тёмные брови Марго, тонкими изящными пальцами легонько поглаживая клинок, уютно устроившийся на её коленях. Вадику и вообще показа-

лось, что холодный, воронёный цвет клинка вдруг потеплел, и впервые от него не исходила опасность, ощутимо отдававшаяся в его сердце. – И как же ты его нашёл?

– Очень просто, – Вадик налил в пустой бокал Марго мартини, а себе на три пальца – коньяка, и не спеша, со всеми подробностями, рассказал о своей находке. Хотел он поведать заодно и о встрече с Кармой, но что-то остановило его.

– Интересно, очень интересно, – задумчиво сказала Марго, покачивая ногой. – Просто уму непостижимо, как мог явайский крис добраться до Сибири и очутиться в туалете обычного поезда? Давай выпьем, Вадик, выпьем за чудеса, которые, оказывается, ещё возможны в нашей жизни – никогда бы не подумала…

Марго залпом выпила мартини, Вадик осушил свой бокал. Закусили и согласно помолчали, разглядывая вроде бы задремавший на коленях Марго кинжал. После всего услышанного, Вадик засомневался: а стоит ли отправлять такой редкий клинок другу, не оставить ли его все-таки себе, наплевав на предостережения какой-то там Кармы.

– А для каких целей все-таки делали такие странные ножи? – осторожно спросил Вадик, аккуратно закусывая солёным груздочком.

– Крис, Вадик, всегда считался очень мощным сакральным оружием. Из тех источников, что дошли до нас, известно, что зачастую кузнецы изготовляли крисы для убийства конкретного человека. Один из таким кузнецов, упоминаемый в яванском «Пararатоне», что в переводе означает – «Книга царей», Гандриг, стал даже легендарным человеком… Именно у него Кен Ангрок, будущий основатель династии Сингалари и Маджапахита, заказал крис, дав ему на исполнение заказа всего пять месяцев… Ну, а поскольку крис не был готов в оговоренный срок, Кен Ангрок, рассвирепев, убил кузнеца… Но Гандриг, однако, успел проклясть Кен Ангрока и весь его род, предсказав, что сам правитель и все его потомки погибнут от этого самого криса. Предсказание, Вадик, сбылось, Кен Ангрок и шестеро его потомков трагически погибли…

Марго умолкла, и в комнате наступила длинная пауза, во время которой она опять легонько поглаживала опасное лезвие, задумчиво щуря прекрасные глаза. Вадик потянулся к бутылкам, с суеверным страхом косясь на отливающий тусклым серебром клинок. В какой-то момент ему показалось, что это совсем даже и не клинок, а живое существо, вроде сибирской кошки, притаилось на соблазнительных, плотно сдвинутых

коленях Марго. И то, что эта женщина гладит его нежными, тёплыми пальцами, ему явно нравится. Ревнивое чувство шевельнулось в душе Вадика: ведь в это время они с Марго уже могли лежать в постели, и все эти ласки заслуженно достались бы ему, а не какому-то подозрительному кинжалу, чёрт знает как и почему залетевшему на сибирские просторы.

Словно подслушав его мысли, Марго подняла взгляд на Вадика, ласково улыбнулась ему и вновь задумчиво заговорила:

– Знаешь, Вадик, самая красивая и таинственная легенда, которую я раскопала, работая над своей диссертацией, тоже связана с крисом. Между прочем, в 2005 году крис был объявлен ЮНЕСКО в качестве шедевра мирового наследия человечества… Так вот, легенда… Крис чондонг чампур был изготовлен из железа, добытого в различных районах Индонезии. В его изготовлении приняли участие ровно сто эмпу, по-нашему – кузнецов, и было все это в четырнадцатом веке в период расцвета государства Маджапахит. Этот крис оказался могущественным, но и весьма своенравным… В безлунные ночи он самостоятельно покидал ножны и летал повсюду в поисках своей жертвы… Правитель Маджапахита повелел собрать всех эмпу, изготовлявших крис, и уничтожить его. Когда, наконец, эмпу поймали непокорный крис и поместили его в каменную ступу, чтобы разбить на мелкие кусочки, он вдруг превратился в метеорит и вознёсся на небо… И вот что самое интересное, Вадик: по легенде этот метеорит каждые четыреста лет должен возвращаться на Землю, принося с собою неисчислимые бедствия… Последний раз такой метеорит упал в восемнадцатом веке на остров Ява, после чего и закончилось могущество династии Маджапахит… Там и вообще случились ужасные вещи – брат убил брата…

В этот момент клинок, который все ещё держала в руках Марго, каким-то образом выскользнул из её рук и с громким стуком упал на паркет. На долю секунды невозмутимая Марго растерялась, а затем быстро подняла кинжал с пола и, словно он обжигал её руки, торопливо положила на стол…

– Впрочем, Вадик, мы с тобой отвлеклись, – улыбнулась она ему. – Я вижу, ты немного заскучал. Налей-ка лучше нам выпить и знаешь – за что?

– За что? – явно оживился Вадик, охотно наполняя бокалы и вновь окидывая женщину нетерпеливым взглядом.

– Извини, Вадик, мы взрослые люди, и я скажу откровенно, ты согласен? – её глаза цвета грецкого ореха вновь затумани-

лись. – Давай выпьем, наконец, за нашу с тобой ночь любви… Мне кажется, мы её давно заслужили. Согласен?

– Марго, любимая! – заквакал совершенно обалдевший Вадик. – И ты ещё спрашиваешь об этом меня?

– На всякий случай, Вадик, на всякий случай, – она лукаво улыбнулась ему. – Мало ли грудастых женщин кружится вокруг тебя, и вдруг одна из них уже нетерпеливо топчется под твоей дверью…

Нет, не забыла Марго тот вечер и ресторан в поезде, когда Вадик вдруг взял и предпочел ей другую женщину.

В четыре часа утра белую, лунную дорожку, наискосок пересёкшую комнату и заливавшую её ровным, холодным светом, перешагнул невысокий, широкоплечий человек. Его тускло и злобно блестевшие глаза были устремлены на широкий диван, где в сладком предутреннем сне разметались два голых человека. Марго лежала, отвернувшись к стене, согнув в коленях полные, бледные ноги. Вадик же разметался на спине, слегка запрокинув голову. Его мощный, бугристый торс высоко вздымался и опускался от глубокого дыхания, а мужское достоинство заметно бугрилось внизу впалого живота. Резван даже залюбовался этим по-настоящему сильным и красивым самцом, видимо, неплохо потрудившимся в эту ночь. Рука Резвана, крепко сжимавшая короткий кавказский кинжал с инкрустацией и наборной рукоятью, начала медленно подниматься, и вдруг его взгляд, словно притянутый магнитом, упал на лежащий на журнальном столике крис, поразивший кавказца необычной формой. Сунув свой нож за пояс, Резван взял со стола клинок, провёл по лезвию ногтем, и хищная, зловещая улыбка растянула его тонкие губы. Заметив старинные ножны, он быстро спрятал их в глубокий карман, и вновь повернулся к ложу, на котором возлежала растерзанная ночью страсти возлюбленная хозяина, опозорившая его русская собака, достойная самой позорной смерти. Но Резван хорошо помнил слова всесильного Ашота, и поэтому его рука поднялась и опустилась всего лишь один раз. Ему показалось, и он об этом потом часто вспоминал, что не его рука нанесла смертельный удар в самое сердце русского шакала, а сам этот странный, волнистый клинок потащил его руку, чтобы жарким своим жалом впиться в человеческую плоть чуть ниже и правее красного соска…

Бесшумно притворив дверь и выскользнув на улицу, Резван с удивлением обнаружил, что на лезвии грозного оружия

нет ни единой капли крови. Еще раз внимательно осмотрев странный клинок, словно запоминая на всю жизнь, Резван сунул его в ножны и, проходя мимо мусорных контейнеров, небрежно бросил в один из них...

Ночь над землёю и месяц, плавно плывущий в межзвездном пространстве. И разве не удивительно, что месяц в пустынном небосводе один, а миллионы людей сразу, все вместе, могут смотреть на него и думать миллионы мыслей и не мешать друг другу – ни на просторах Сибири, ни в тропиках острова Ява. И всё это так хорошо, так гениально придумано, во всём столь удивительная гармония, что, кажется, сорви одну былинку – и рухнет мир, перевернутся звезды и потухнет в ледяном небосводе месяц.

г. Анапа

Юрий БЕЛИКОВ

РАННИЙ ВЫПЛЕСК ЛАВЫ

ДАЖЕ В ЯРКИЕ ДНИ

Есть поэты, которые набирают обороты постепенно и только с годами дают сильный свет. Юрий Беликов относится к другой, менее распространённой категории поэтов, в нём от природы сильный свет, от рождения. Порою он ярче, чем нужно, и светит даже в яркие дни. Но ведь его не выключишь – свет молодости, свет искусства. Ещё должно пройти время, появится опыт, чтобы свет его высвечивал только необходимое, самое главное. Помочь этому может не только время, но и публикации, которых Беликов давно заслуживает. Каждое печатное выступление поэта – это уточнение координат, возможность правильней использовать свою светоносность.

Он ярок и щедр – на слова, на краски. Повороты в его стихах круты, как и в жизни. Это хорошо, это свидетельствует о сопричастности к миру. Стихами Беликова движут Любовь и жажда Справедливости – в масштабе Человечества, никак не меньше. Так и должно быть с настоящим поэтом, потому что Человечество – это его родная семья, она его воспитала, научила лучшему, что имеет, открыла в нём самом свет. И только на этом основании Человечество вправе ждать от поэта, что он высветит нечто новое, необходимое всем для того, чтобы яснее разглядеть новый крутой поворот жизни.

Когда несколько лет назад Юрий Беликов впервые пришёл ко мне в Москве, я сразу почувствовал в нём силу и стойкость. Они были и в первых стихах. Сейчас, несколько лет спустя, это стало ещё наглядней. Он стал точнее в выражениях, строже, и

Настоящая публикация стихов Юрия Беликова – восстановление справедливости, спустя более чем 30 лет. Тогда напутствие Петра Вегина не открыло путь молодому автору на страницы журнала «Дон». Но лучше поздно... Печатая эту подборку как оттиск давнего времени, редакция намерена представить в будущем году новые стихи Юрия Беликова.

свет в его стихах не только ярок, но и обрёл теплоту. В лучших своих вещах, таких как «Венчание на царство в чусовских лесах», «Восход сердца», «Последняя ночь», «Курит земля берёзы», он достигает высокого уровня. Самое главное – он хочет помочь своей земле. И, судя по всему, это ему по силам.

Пётр Вегин
Москва, 30 апреля 1981 года

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

Микрофон настраивает эхо.
Держит лес гитару тишины.
–Тут гастроли! – скажете, а это
будет петь рассветище весны.
Лишь едва из дали серебристой
первый лучик сделает бросок,
как расколют птицы мускулисто
на весь лес дровишки голосов.
И к полудню свежестью поленниц
подопрут-подымут небосвод.
Побегу я в лес, оставив теннис,
не пугаясь ёлочных острот,
чтоб на тучных на берёзах бражных
свадьбу ненароком подглядеть
бабочек насыщенно-вальяжных, -
даже и не пробуют взлететь!
А когда я выберусь из леса,
шмякнут умудрённые в меня:
– На глазах у юноши – завеса.
Вот он дым, который без огня!
Не от удивления разину
рот, услышав эти голоса:
–Не волнуйтесь, я люблю Россию
за одни красивые глаза!

1975

ПРОДЕЛКИ ЛЕСА

Морозом наэлекризован
последний кустик и пенёк.
Наверно, тронешь ствол сосновый –
как током пальцы долбанёт!

Но взгляд небеглый зарисует:
в штативе стынущей сосны,
в пробирках лёгоньких сосулек
идёт реакция весны.

И с лаборантскою сноровкой
их солнце двигает, спеша.
И хвост у белки, как спиртовка,
горит, неистово пуша!

Иду без компаса и трассы.
Формует розы волчий след.
Но лес ни чуточку не страшный,
он – как с иголочки одет.

Тишь не ухватывает ухо.
Лишь дрогнет ветка невзначай.
И вдруг, гляжу, стоит старуха.
– Сынок, – твердит, – не убивай!

1976

ПОПЫТКА ОБОГНАТЬ ДЕРЕВО

Смазано в беге солнце.
Бьётся между стволов.
В ёлочку свитер несётся.
Ёлочки – в лоб!

Сыну вослед обронит,
встав на пороге, мать:
– Дерево – не перегнать.
Лес всё равно обгонит.

Сын же костляв и рыж.
Верит лишь в силу ног.
Из-под заносчивых лыж
бьёт выхлопной дымок!

Горки. Равнины. Горки.
Лыжные палки журчат.
С лесом наперегонки.
Лес обгоню сейчас.

Исчезновенье веток
чувствую в мельтешне.
В гонках со скоростью света
свет исчезает во мне.

Пилы скрежещут. Ада ли?
Или земного дня?
Лес, доходяга, падает,
чтоб обогнать меня.

1976

ЁЛКИ НА ЧЕТЫРЁХ ЛАПАХ

До звёзд несъедобных морозную мглу
тревожно фильтруя ноздрями,
белковый комочек свернётся в углу –
щенок с голубыми глазами.
Один-разъединственный! А остальных,
рождённых под этим крылечком,
внезапно прозревших от ужаса, их
собачники сдали корейцам.
Но если последнего можно спасти,
хоть лаз в ледовитой каёмке,
то вспыхнут у суки проползшей сосцы,
как лампочки будто – на ёлке.
Да только промолвит стрелок: «Спокойняк!»
И щёлкнет затвором у входа…
О, сколько в округе бездомных собак!

Как ёлок от Нового года.
А город надёжно себя застеклил
в двойные, тяжёлые рамы.
Как сильно на улице кто-то скулил!
Наверно, стекло протирали.

1976

ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО В ЧУСОВСКИХ ЛЕСАХ

Перемещается
ось земли
в голубоватый щеклеек плеск,
перемещается ось земли
в ле́са транзисторный свист и треск,
в кукареку, деревянный забор,
пятна коров, пастуха откровенного…
Вымя
похоже теперь на собор
Василия Блаженного!
Ёлка,
как Спасская башня стоит.
Красную площадь поляна таит.
Слушайте! Нынче в далекой избе
я, Юрий Первый, без всякого страха
водружаю
на кудри себе
шапку Мономаха.
А на безлесьи вопят о любви.
И потому там
фонтаны сирени
гасят, планета, столицы твои,
срочно открывшие сложное время.
А у избы
вспухают грибы
после укусов дождя,
и от белки,
цокнувшей,
свалишься, как от стрельбы,
в роще, стоящей века без побелки.

Вот и сегодня
по тёмным лесам
с низким поклоном
на сером коне
только приехал к московским князьям,
надо же, –
все укатили ко мне!

1977

* * *

Курит земля берёзы.
Горько земле моей.
Роща – одни папиросы
с лёгким дымком ветвей.

И ничего нет проще,
нет ничего страшней:
выкурить пачку рощи
за день земле моей.

Тяжко планете. Очень.
В синь из берёз дымить.
Делай, земля, что хочешь.
Только оставь покурить.

1977

ОТВЕТНЫЕ КОЛОКОЛА

Молния,
как венка на лице,
дрогнула,
и гром – не гром, а снайпер –
грохнул
сквозь оптический прицел
капель.
Но и лес,
согнувшись до земли,

потемнел от ярости
и ловко
начал тучи старые пилить,
словно раздражённая ножовка!
Там, где ненавидя шум и гам,
веточка по-тютчевски молчала,
там
ветка закричала!
Сразу звуки дикие пришли,
сразу, ураганом атакован,
с треском отрываясь от земли,
лес
закувыркался,
будто клоун!
Тихий,
он себя провозглашал,
нежный,
угрожал он потасовкой.
И чем больше ливень оглушал,
тем сильнее лес визжал ножовкой.

А когда посыпались с небес
солнечные тёплые опилки,
замер с наслажденьем мокрый лес,
гнёзда поправляя на затылке.
И уже берёзки, как детсад,
парами шагают по тропинке,
и у них серёжечки висят,
точно рукавички на резинке.

1977

ВРЕМЯ ЧЕРНОВИКОВ

Над землёю опять сквозняки.
Добавляется листьев пожухлых.
Словно в доме каком нахожусь я,
где пластами – черновики.

Здесь живёт гениальный художник,
что бездарным считает себя.
А иначе с чего под подошвы
сыплют лист сквозняки сентября?

Лес ведёт себя очень несдержанно.
Испещряя чернилами красными,
он читает листву пожелтевшую
и сердито её отбрасывает!

Вырывает и вновь перечитывает,
потрясённый строкою слабою,
и, раскрывши листочки чистые,
переписывает набело.

Что ты пишешь такого, природа,
если лист мне прочесть не даёшь?
Ты, как будто боишься чего-то,
преднамеренно всё изорвёшь.

Не о нас ли строчишь в укоризне
и к листве беспощадна как раз
за ущерб той возвышенной жизни,
о которой готовишь рассказ?

О, сроднимся хотя бы на миг
перед лесом, что нас отражает
и страдает за тех, кто мешает
написать ему свой чистовик!

1978

ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕТРУ ВЕГИНУ

Летите с пением в очах
на запах Слова залпом,
как за колчанами – Кончак
иль гончая – за зайцем.

И пусть не хватит двух прыжков,
чтоб Слово стиснуть в лапах, -
в ноздрях клокочущих стихов
его остался запах.

Поэт с погони начался,
хоть сам изгнаньем кончит…
И вегинские волоса –
как будто уши гончей!

1978

ТАЙНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Только сяду за стол, только открою тетрадь,
только возьму перо, как за моей спиной
кто-то встаёт надо мной, будто над школьником мать,
кто-то мешает писать – вдруг замерев надо мной.

Оглянусь – никого. Снова бумаги коснусь.
Но меж листом и пером – словно из камня верста.
Кто там стоит надо мной?! – в ужасе я оглянусь.
Так же запущен мой дом. Так же тетрадка пуста.

Если ты вечность, уйди. Видишь, я робок и слаб.
Время – доход мой, а я – взяточник света и тени.
Если ты вечность, тогда топай откуда пришла!
О, как воркуют в окно голуби сизой сирени!

Дай же, как все, собирать низшего сорта грибы,
если нет белых вокруг, о, прояви недоверье,
чтобы чехонь отрывать мне от магнита глубин,
а не тайменя!

Леска лопнет вот-вот. Ночь спиннингует луной.
Время, кричу, помоги! Скоро рука устанет.
Время вильнуло хвостом. Вечность стоит надо мной.
Кто одолеет кого? Вытянет или затянет.

1979

ЗАГОВОР ЗЕМЛИ

…И дом, где ты живёшь, и дом, где я живу,
и тайный домик наш с трёхдневными ключами,
и пригородный лес, что красную листву
в осины разливал на посошок в печали,
и странный тот загар, что траурной каймой
старательно обвёл изгиб другого тела, –
всё рухнуло, сошло, растаяло, истлело,
но пригородный лес, но домик потайной,
но дом, где я хриплю, но дом, где ты лепечешь,
вдруг хлынули на нас, отмщение суля.
Чем крохотней Земля, тем чаще наши встречи.
Чем больше наших встреч, тем крохотней Земля.

На острове стоим. Обвалы и проклятья
со всех его сторон. Сближаемся. И вот
становится Земля размерами с объятье.
Мгновение. И нас ничто не разомкнёт.

1979

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Приду в твой дом, где муж и дочь,
чтоб рядом быть с тобой всю ночь.
Свалюсь, ничтожный и больной,
на пол, застеленный тобой.

Какая мгла! Какая тишь!
Так вот как, милая, ты спишь!
А я сегодня не усну.
Я буду слушать тишину.

И вот по этой тишине
проходишь ты, да не ко мне.
И стонет в кране со стыда
тобой открытая вода.

О, всё равно! Мне в эту ночь
в твоём дому, где муж и дочь,
с подушкой маленькой одной
принадлежит хоть запах твой!

И я безумно поутру
не тем, чем надобно, утру,
гонимый грозно на крыльцо,
своё холопское лицо.

1980

ВОСХОД СЕРДЦА

Идёт морозными лесами
волк с человечьими глазами,
недоумённый оттого,

что под ощеренною шерстью
ещё расплывчатое сердце
восходит плавно у него.

А хвоя, хвою задевая,
трещит коротким замыканьем,
едва лишь ветер полыхнёт,

и, склеив пёрышки-осколки,
снегирь качается на ёлке,
как красный шарик в Новый год.

И кто-то бродит городами
с нечеловечьими глазами
от всех свершающихся бед

и людям, словно иноверцам,
твердит, что нет у него сердца,
а есть, чему названья нет.

И с человечьими глазами
так страшно волку меж волками,
а человеку – между тех,

что всё ещё людьми зовутся
и всё ещё над тем смеются,
что он уже не человек.

1981

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Очень важно, кто встретится тебе в начале пути. Мне – Пётр Вегин. Как бы потом его ни нарекали – «Вознесенским для бедных» или «спившейся русской тенью Лос-Анджелеса», для меня он был и остаётся первым из мира литературы, кто признал во мне, тогдашнем 20-летнем мальчике с Урала, поэта. Вегин – мой Ростов-папа. Он курил сигареты «Вега». Сам видел. К этому, как я потом узнал, «приговорил» его ещё один поэтический ростовчанин Аршак Тер-Маркарьян, щедро поделившийся с Петром взятым прямо с неба псевдонимом – Вегин вместо паспортного Мнацаканяна.

Во-первых, двум Мнацаканянам в одной Москве не ужиться (в столице нашей Родины есть ещё поэт Сергей Мнацаканян), во-вторых, теперь и звёзду переименовывать не надо: Вега – самая яркая в созвездии Лиры. А у Вегина со звёздами (в естественном, астрономическом понимании этого слова) были особые отношения: «Она не спит до самого утра / звезда в созвездье Павла и Петра…», «Задыхаясь, мчит созвездье Гончих Псов…» Одна из его книг именовалась «Созвездие Отца и Матери».

Пишу – по памяти… В ней, подобно обломкам кораблей, затонувших в штормах океана, – опознавательные строфы Вегина: «С вопросом: «Как жизнь?» возникнет / разиня, как водолаз. / Отвечу ему, разине: / «Спасибо, не удалась!», «Я предан, как правда, я холост, как холст, / я шарф твой хватаю, как ящеркин хвост…», «Художнику могила не нужна! / Безденежны, бездомны, безобидны. / Приставка «без» и в смерти им верна – /они бессмертны, значит, безмогильны!»

Конечно, поэты пророчат. В том числе, – и себе. Может, не все знают: когда на том конце света рок вырвал у жизни автора этих строк, его ещё долго не могли похоронить… Кажется, в этот печальный момент фосфорически усмехнулось давнее вегинское предсказание: «Но анатомию нашего поколения / по моему скелету будут изучать!» Развернувшись из XXI столетия в XX-е, я обнаружил в своих старых тетрадках «Посвящение Петру Вегину», заканчивающееся почти кликушески:

Поэт с погони начался`,
Хоть сам изгнаньем кончит.
И вегинские волоса –
Как будто уши гончей!

Сравнение вегинских волос с ушами гончей ещё куда ни шло, но откуда – в 1978 году – я мог ведать, что через десяток лет, «поэт… сам изгнаньем кончит», пусть и во многом добровольным?

У Вегина есть очень точное самоотождествление: «Подкармливал стихом скворца…» Он многим помогал или пытался помочь. Известно ли, к примеру, что в трудовой книжке Алексея Парщикова одно время значилось, что он – литературный секретарь поэта Петра Вегина? Само собой, никаким литературным секретарём Парщиков не был: полагаю, запись тянула на своего рода форму социального прикрытия от чересчур бдительных органов – от ЖЭКов до МВД-КГБ…

Несколько раз Вегин пробовал пробить в печать мои стихи. Впрочем, он сам охарактеризовал то время: «Годы стоят густые. Соловьи крепостные». Помню, в его пересказе, реакцию известнейшего тогдашнего критика Ал. Михайлова, главного редактора журнала «Литературная учёба»: дескать, я уже за малое трепещу, а ты мне что предлагаешь?..

Есть сопромат, а есть сопроцен – сопротивление цензуры. Сейчас поэтическое слово практически утратило сопроценность. Даже сложно понять, чем оно лет 35-40 назад могло кого-то там вгонять в трепет и устрашение? А, между тем, так оно и было: дули не только на молоко, но и на воду, а вместе с водой выплёскивали ребёнка. Я – один из плеяды выплеснутых. В моём архиве сохранилось своеобразное свидетельство о рождении за подписью Петра Вегина, или предисловие к стихам. Но, увы, в те времена даже этого свидетельства было недостаточно. Предъявил его сейчас, когда уже, кажется, пора подводить некоторые жизненные итоги… Предъявил по просьбе нынешнего главного редактора журнала «Дон».

А между тем, наверное, это полезно – сопоставить период собственного горообразования с чередой позднейших подземных толчков, приключившихся уже после кончины вашего литературного крестника?

г. Пермь

Михаил Моргулис

ИЗАБЕЛЛА

Рассказ

Я медленно проезжал улицу Святого Франциска. На дорогу вышла женщина и сделала знак рукой, чтобы я остановился. Она подошла к машине, молодая, но глаза исстрадавшиеся:

– Не могли бы вы ехать чуть помедленнее, там впереди играет моя трёхлетняя дочка…

– Я еду медленно, со скоростью, положенной на этой улице…

Она сложила накрест руки на груди:

– И всё же езжайте медленнее, вы можете на неё наехать.

– Хорошо, – согласился я и поехал дальше.

На улице не было ни одного играющего ребёнка.

Через несколько дней я опять проезжал эту улицу, с именем знаменитого святого. И снова навстречу вышла эта женщина, с измученными глазами. И повторился прежний разговор:

– Пожалуйста, езжайте медленнее, там впереди играет моя трёхлетняя дочка…

И я согласился, как и в прошлый раз, и снова не встретил на улице играющих детей.

Я простой полицейский, сталкиваюсь со многими людьми, и привык ко всякому: и к найденным наркотикам, и к нахальству, и к обману, и к стрельбе. Но эта женщина меня заинтересовала, уж больно глаза у неё были страдающие. Такие же глаза были у моей мамы.

И я разузнал о ней побольше. Она жила одна с дочерью, родила её без мужа. Два года назад её трёхлетнюю дочь сбил насмерть парень на автомобиле. Вначале находилась в психиатрической больнице, потом отпустили, теперь живёт одна, с гладкошёрстной египетской кошкой по имени Клеопатра.

Когда она в третий раз остановила мою машину, я спросил разрешения побеседовать с ней. Она прищурила страдающие глаза и пригласила меня на чай, в пять вечера, у неё дома. Я

приехал, позвонил, но дверь была открыта. Никто не вышел ко мне, и я заглянул в прихожую. Никого. Я вошёл покашливая в гостиную, и увидел хозяйку, сидящую на софе, с египетской кошкой на коленях.

– Извините меня, коп, я только вернулась оттуда, – и она показала длинным пальцем с малиновым ногтем наверх. – Дайте мне с Клеопатрой прийти в себя, и я заварю для нас чай. Клеопатра нелегко переживает эти свидания с моей дочкой, а сегодня я ещё повидала и бабушку, Мэри-Эн.

Я согласно кивал головой, кошка посмотрела на меня недоверчивыми мерцающими зелёными глазами и надолго отвернулась.

Женщина поднялась, ушла в кухню, вернулась с фаянсовым чайничком и двумя чашками, расписанными красными цветами, похожими на розы. Мы присели возле небольшого стола на колёсиках. Она обвела комнату глазами:

– А к чаю у меня ничего нет, я всё сладкое отнесла Изабелле…

– Простите, а как мне вас называть? – спросил я, хотя знал её имя.

– Меня, как и её, зовут Изабелла…

В полицейском досье она была записана Анной.

– Понимаете, девочка любит сладкое. А отец её, Чарльз-долговязый, ничего, кроме рыбных консервов, не ест…

В её глазах мелькнула ненависть.

– Вот я ношу ей каждый день всё сладкое, что есть в доме… Ну, естественно, этого не хватает, но я докупаю ей в кондитерской у мистера Фокса…

– Но если она всегда там, – я указал вверх, – как ей удаётся играть на вашей улице?

– Вы странный, как все мужчины; она иногда спускается, и всегда тихо и серьёзно мне говорит: «Мама, побереги меня…»

– Поэтому я всех водителей прошу быть осторожными… Понимаете, у меня ещё часто перед глазами сюжет одного рассказа, когда люди сидят на открытой веранде ресторана, и у них на глазах машина сбивает девочку…

Кошка, будто ощипанная от всякой шерсти, вдруг фыркнула, промяукала что-то совсем не по-кошачьи, почти по-человечьи.

– Изабелла, – поинтересовался я, – а что вам девочка рассказывает?

– Вот вы и выдали себя. Конечно, всем хочется узнать. Но я не всем рассказываю, а только тем, кого одобряет Клеопатра.

Вас она одобрила. Так вот, Изабелла нашла там много полян с разными ягодами, но выбрала земляничную поляну. Она решила там жить, ну и на её поляне мы встречаемся. Её друг Самсон, такой карлик красивый, живёт на вишнёвой поляне, и иногда приходит к ней хвастаться своими шишками, они у него вырастают на голове, когда он переедается вишнями. Друзей у неё немного. Там есть одна изуродованная людоедами девушка, её зовут Белиссима, ну и она иногда приходит. А братья эльфы Рикардики живут далеко, приходят редко. И она к ним ходит, но тоже изредка. Карлик живёт поближе, и к нему она идёт пешком, а к остальным летает. Просто подскакивает и летит. Она и Белиссиму научила летать. И меня уговаривает: Мама, и ты сможешь, любой сможет, только надо не чувствовать своего веса…

Продребезжал дверной звонок. Анна-Изольда крикнула:

– Если это вы, то войдите, а если не вы – уходите!

Зашла старушка, видимо, соседка, она принесла в соломенной стариной корзинке два варёных яйца и горсть конфет. Старушка по-мужски расшаркалась и молча удалилась. На спине её старого халатика была вышита буква «J». Анна захлопала в ладоши, и я увидел, что одна ладонь в крови.

– Так! Одно яйцо Клеопатре, одно мы делим с вами пополам, а конфеты, если вы не против, я отдам Изабелле.

Я от яйца отказался и налил себе чай. Это оказалась вода с травинками и мошками.

Анна-Изабелла отвернулась от меня и спросила:

– А сколько вы у меня пробудете? Может быть, я успею ещё сегодня отнести конфеты?

– Я готов уйти сейчас, если вы не против…

– Нет, я не против никого и ничего. Понимаете, любезный коп, выяснилось, что никакой смерти нет. Её выдумало наше правительство. Между прочим, этой выдумкой они поделились с Россией и Индией. И там один поэт написал после этого такие слова: *«Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит…»* А старый друг, между прочим, не ходит ни к кому. Я там встретила мистера Черчилля с палкой, он стал очень похож на бульдога, и вот мистер Черчилль жаловался, что к нему вообще никто не заходит, никто! Приходят плохие, он гонит их палкой, а хорошие не приходят... Так на чём мы остановились? Да, что смерти нет… Знаете, я успею отнести конфеты Изабелле, не будете ли так любезны продолжить ваш визит завтра?

Я попрощался с Анной-Изабеллой и Клеопатрой. Клеопатра смотрела на меня и чесала ухо. И я ушёл. На улице не удержал-

ся и глянул в окно. Анна-Изабелла стояла перед кошкой, а та на задних лапках кружилась, будто в старинном танце.

Назавтра я снова в пять часов позвонил в дверь, и вновь никто не открыл, и я вошёл в гостиную, застав ту же картину: Анну-Изабеллу на софе и Клеопатру на её коленях.

Анна-Изабелла при виде меня вскочила и заговорила быстрым шёпотом:

– Представляете, сегодня все собаки нашей улицы устроили бойкот и не пропускали ни одну машину до вашего приезда. И моя Изабелла спокойно играла посреди дороги… Только вертолёт кружился, но это не опасно, они падают редко… Вы знаете, милый коп, чай я не успела приготовить, у нас будет грог по-шотландски…

Она снова принесла тот же фаянсовый чайничек и налила мне, как и вчера, воду с травинками и мошками.

– Вы знаете, что вчера мне наверху сказала Изабелла? Она сказала, что вы милый человек, но у вас немного повреждена психика, потому что вы пошли в свою тётю Эстер, которая разговаривала сама с собой. Мне неудобно о таких вещах говорить, но это подтвердили и карлик Самсон, и изуродованная девушка Белиссима, и эльфы, они вчера все были у неё в гостях. У Самсона, кстати, были три шишки. Он опять налопался перезревшей вишни. Потом мы все долго смеялись, потому что эльфы предложили играть в бессмертие, и выиграл карлик Самсон, но от выигрыша в итоге отказался. И знаете, что он сказал: Мне надоела эта волынка, по сто раз умирать и по сто раз оживать… И мы все так хохотали, а эльфы стали танцевать с маленьким стулом, и тоже было смешно. Они рассказали, что какой-то их родственник эльф похоронил одного известного писателя и священника, и тот перед смертью разговаривал со Смертью. И опять все смеялись… Коп, вы не знаете, Солнце и Луна не ссорятся? Изабелла очень из-за этого волнуется…

Кошка при этих словах выгнулась почти вертикально и глянула мне прямо в глаза. Я пробормотал, что, мол, точно не знаю, но постараюсь выяснить, и кошка посмотрела на меня насмешливо. Глаза у неё сегодня были лиловые, с пурпурным отливом. И вдруг кошка Клеопатра стала смеяться. А Анна-Изабелла говорит мне:

– Это она вспомнила, как мы веселились вчера…

Утром я пошёл к психиатру и задал ему простой вопрос:

– Док, может ли простой полицейский, вроде меня, влюбиться в психически нездоровую молодую женщину?

Психиатр раскинул руки:

– Друг мой, весь мир незаметно становится психически нездоров… Все были психически неустойчивыми, и Зигмунд Фрейд и его неблагодарный ученик Юнг, и многие другие, и представьте себе, я тоже. Под абрикосовым деревом в моём саду я часто разговариваю с лошадью моего отца, 50 лет назад умершей. И ничего… Нам есть что вспомнить… Да, голубчик, скоро нормальные люди станут редкостью… А любовь – что любовь! Это просто всплеск безумия! Какая разница, с кем возникает любовь, если она безумная всегда! Возьмите к примеру вашего начальника полиции, он с виду строгий и примерный джентльмен, но его раздирает мучение, будто левый локоть не его, что он случайно поменялся локтем с чёрным музыкантом из Джорджии, у которого был артрит. И теперь якобы чужой локоть у него на дождь ноет… В общем, если вам с этой милой женщиной интересно, то и дружите с ней…

– Но она разговаривает и общается с умершей дочкой…

– Голубчик, откуда нам знать, где кто находится…. Им хорошо? Им есть о чём поговорить? Ну и радуйтесь… Вон сколько людей вообще разучились говорить и радоваться… А вот про кошку вам скажу пару слов. Не верьте ей, это ведьма. Она много лет тому назад потеряла свою метлу, была понижена в звании, потом жила какое-то время у меня; но будила ночным воем, и я её прогнал. Ну вот, а с Анной-Изабеллой у неё сладилось… Вы вот что: попросите, чтобы вас взяли с собой наверх, побывайте там, и если убедитесь, что они врут, – возвращайтесь и бегом ко мне, расскажете подробности…. А если это правда, то передайте привет карлику Самсону, старый знакомец, лет двести тому назад были с ним в одной компании, так он там цианистый калий превратил в золото. Ну-с, все ведьмы, помнится, были от него без ума…

Утром я пришёл в полицию, постучался в кабинет начальника и невинно спросил, не болит ли у него сегодня локоть. Он огорчительно посмотрел на свои растопыренные пальцы и грустно ответил:

– Мой-то нет, а вот его – болит… наверное, дождь будет…

В пять часов я пришёл к Анне-Изабелле. В этот раз мне открыла дверь Клеопатра. Она два раза подскочила вверх и выдохнула: «Всё!»

Я сказал сидящей на софе одинокой Анне-Изабелле:

– А можно мне с вами побывать у Изабеллы?…

Анна-Изабелла посмотрела на меня великолепными страдающими глазами и проговорила:

– Мне сообщили, что она умерла, и теперь мы все останемся на земле.

– Навсегда? – спросил я.

– Навсегда, – ответила Анна-Изабелла.

РЫЖИЙ ЧАРЛИ

Рассказ

С Чарли я познакомился в Чикагской тюрьме. Он сидел у зарешеченного окна, сцепив руки, и смотрел далеко, очень далеко, и видел там то, чего я разглядеть не мог. Иногда у него внутри начинало что-то тонко повизгивать. Тонко-тоненько. Как испуганная брошенная собачонка. Что там у него надрывалось, не знаю. Может быть носоглотка. А может, душа? На третий день он не выдержал и стал спрашивать:

– Эй, русский, у тебя большая семья?

Здесь не принято расспрашивать, за что сюда угодил. Потом, если тебе поверят, могут малость открыться, но, конечно, не до конца. Потому что это дело опасное, ты узнаешь тщательно скрываемую тайну, а когда-нибудь, в минуты подлой человеческой слабости, вдруг захочешь поведать об этом власти. А власть, суровая космополитичная тётя, таким вещам верит сразу, вытаскивает то ли из-под мантии, то ли из-под юбки судейский молоток и в наказание за сокрытую тобой тайну добавляет срок. Поэтому чуть-чуть рассказать о себе могут, но только в принципе, безо всяких нюансов. И конечно, виноватых здесь нет, виноватые сюда не попадают. Нормальные заключённые никогда ни в чём не виновны, и о себе, как о преступниках, здесь говорят только психи. Или покаявшиеся грешники. Таким числился всего один парень, укравший на заправочной станции китайский магнитофон за 20 долларов. О том, что я попал в тюрьму по своей просьбе, на предмет лучшего понимания психологии американского заключённого, знали только чикагский шериф и старенький тюремный священник. Заключённые об этом не ведали. Если бы узнали, мне пришлось бы моментально уносить ноги.

Чарли свистел сквозь дырки между редкими зубами и поглядывал на меня сизым глазом. От него я уже знал в общих чертах, кто проводил время рядом со мной. Красавец-мачо, лет 40, крупный наркодиллер. Сын убежавших в Америку кубинцев, он

здесь родился и учился. Ежедневно получал «Нью-Йорк таймс» и ещё кучу дорогих журналов и газет. На второй день я подошёл к нему и поздоровался. Он напомнил мне американского писателя-классика Скотта Фитцджеральда, только был гораздо темней. Но пробор такой же чёткий, глаз такой же надменный, ну и порода, конечно, идентичная, чувствуется. Спросил меня о профессии.

Рассказывать здесь о том, что пытаешься писать книги, значит вызывать настороженность, и я рассказывал о своей ранней профессии учителя. Конечно, наибольший интерес вызывало у всех сообщение о том, что я родился в России. Поэтому постоянно приходилось вспоминать российские исторические и географические события, пословицы и шутки, а также непременных водку, снег и белых медведей.

Но наркодиллер был явно не прост и хотел произвести впечатление. Он стал вспоминать Гоголя, Чехова и даже Пастернака с доктором Живаго. Потом поинтересовался, знаком ли я с испаноязычной поэзией. Мы окончательно сошлись на Гарсиа Лорке. Теперь, ежедневно, мачо приглашал меня к своему столу. Однажды он с несколько расстроенным видом заметил, что читал «Мастер и Маргарита» на английском и испанском. И думает, что автор напрасно пытался посмеяться над Христом. Я ответил, что во время сталинского периода жизни Булгакова иначе писать было нельзя, и даже это не напечатали. Тогда он выдал любопытную сентенцию: «Возможно, тогда не надо было писать вообще».

Я задумался. Наверное, это справедливо. Но смысл парадокса был в том, что многие писатели тоталитарных времён предпочитали писать ложь, или, наоборот, шли за написанную правду на смерть, но от наркотика сочинительства отказаться уже не могли. Вот какой силы этот литературный героин!

Я пробыл в тюрьме 30 дней, а на день пятнадцатый Мачо произнёс давно задуманную тираду: «Сотни лет все говорят о прекрасном и сумасшедшем испанском Идальго, а ведь у Сервантеса его образ случайно получился, хоть теперь приписывают Дон-Кихоту миллион джентльменских качеств! А вам, что нравится в нём? Я ответил без обдумывания: «Бедность, смелость и любовь. Причём его бессмысленная любовь, которая как любая прекрасная любовь, всегда глупа и вздорна!»

Ему так понравилось это, что он долго повторял на смеси английского и почему-то итальянского: «Фулиш аморе....Foolish amore… Глупая любовь...»

Итак, наш бесправный флот загнали в хмурую гавань. Корабли и кораблики замерли на застывшей воде жизни. На штурвалах лежали чужие руки. Матросы мучались и ждали. Боялись прихода судьбы, и от этого ещё сильнее мучались. Над каждым морским бродягой, как призрачный лунный серп, висело проклятие.

По ночам я слышал, как из соседних камер раздавались стоны. Людей преследовали сны.

Слева от меня была камера Адвоката. Это и профессия и кличка.

После 35 лет адвокатской практики и стольких же лет семейной жизни он решил задушить нелюбимую жену. И инсценировал самоубийство. Дал жене снотворное и всунул в петлю. И как ему показалось, жизнь её покинула. Пульса нет, сердце не бьётся. Адвокат трижды проверил пульс, и вызвал полицию. Когда несчастную стали вынимать из петли – внезапно ожила. Осталась парализованной, но передала полиции всё, что произошло. И потом, сразу же, экспертиза. И всё подтвердилось. В тюрьме я дал адвокату Библию. Он рисовал на каждой странице чьё-то лицо. Я спросил: «Кто это»? Он удивился: «Неужели не видно. Это – дьявол». Это было лицо его жены.

Надо же обладать таким терпением – 35 лет ненавидеть и ежедневно это скрывать.

Он, в прошлом богатый человек, оказался без гроша, суд наложил арест на счета и имущество. Я дарил ему носки и футболки. Однажды, в минуту неоправданной веры в человечество, не выдержал и спросил: «Но когда-то, вы любили её»? Он равнодушно ответил: «Дьявола не любят, а боятся, она сама влезла в петлю, чтобы посадить меня в тюрьму...». И добавил: «Язык у неё змеиный, синий...».

Вокруг себя я видел ещё много страшного, карикатурного и равнодушного. Вот морской офицер в отставке, убивший наркомана, пнувшего его собаку. Он часто бормотал: «Если бы она не болела раком, я бы его простил...».

Утром мы увидели по телевизору, как арестовали мошенника, который пытался получить в банке 4 миллиона долларов по поддельному чеку и этот чек должна была разменять ему любовница – кассирша банка. А вечером его привели к нам. Он вежливо раскланивался, но его волосы за один день поседели.

Позже арестовали вурдалака, молодого отца, задушившего новорожденную дочь за то, что та постоянно кричала. Привезли

днём, все его рассматривали. Мальчишка, лет 20. Лицо убийцы было бледным и вялым, будто сделанное из варёной рыбы.

Брр! Было видно, жить ему не хочется. Ночью он кричал надрывно, жутко. А утром его перевели в больницу. Когда вели по коридору, он смотрел только вверх.

Некоторые люди осыпались в моей памяти, будто сделанные из песка. Остались в ней более земные, слепленные покрепче, поярче, настоянные, видимо, на хорошей закваске. Помню тонкошеего негра, с маленькой головой ихтиозавра. Его обвиняли в организации пожара в доме, где находилась бывшая любовница с новым кавалером. Оба сгорели. Ихтиозавр постоянно насвистывал мелодии Гершвина из оперы «Порги и Бесс».

Вечером нас загоняли в одиночные камеры, а на рассвете осторожно выпускали под фонограмму холодного лязга замков.

Но не дадим уводить себя дальше в подводные гроты скорбных воспоминаний и вернёмся к Чарли.

Несколько дней он наблюдал за мной, вскидывая свинцовые пульки маленьких глаз. Чарли был высок, сутул, с большими веснушчатыми руками, всегда старающимися что-то делать. Если руки неподвижно провисали вдоль тела, это значило, что на Чарли накатывала тоска. То, что называют теперь депрессией. А это ведь просто тоска наша чёрная, вдруг накатывает гадкая, и изгибает сердца и губы. И вжимает глаза в глазницы. А потом, как вы помните, Чарли спросил у меня сиплым голосом одесского биндюжника, вдруг заговорившего по-английски: «Русский, у тебя большая семья?».

Скоро после этих слов я узнал историю Чарли.

Сейчас закройте глаза и представьте его, а потом откройте их, и читайте дальше.

Чарли родился до крайности жадным. Грудное молоко у матери высасывал до последней капли. Игрушки его не интересовали и скоро ему перестали их покупать. Повзрослев, сам просил, чтобы не покупали. Когда ему дарили вещицы, он от них отворачивался. Только один раз не выдержал. В тот день пьяный жалостливый сосед случайно подарил ему игрушечный экскаватор. С ним Чарли не расставался всю жизнь. Деньги начал зарабатывать с 16 лет. Школу не окончил и поступил на курсы, догадались, экскаваторщиков. А после курсов стал дико пахать и так пропахал всю жизнь.

Он ненавидел тратить деньги, было только одно неуёмное желание – их собирать. Чарли менял чеки на наличные, целовал купюры, нежно ласкал их, признался мне, что несколько раз у него во время этого случилась эрекция. Потом относил их в банк. Относил почти всё. Его девиз был незыблем: Никогда ничего не покупать. Старую одежду он брал в магазинах Армии спасения, продукты в пунктах для бездомных, всё остальное его не интересовало. Жил в полуразваленном доме и платил только за воду и электричество. Представляете, в каком малом количестве их потреблял.

Жена сбежала через полгода после свадьбы. Да и свадьбы настоящей не было. В перекошенной комнате Чарли собрались несколько человек, выпили две бутылки дешёвого калифорнийского вина и разошлись с облегчением. Экскаваторщики в Штатах зарабатывают очень прилично. За сверхурочную работу платят вдвойне, за работу в выходные дни могут заплатить и в три раза больше. Чарли работал шесть с половиной дней в неделю. Отдыхал только несколько часов в воскресенье. Утром забегал на полчаса в церковь, после мчался в кондитерскую, где покупал за полцены два чёрствых пирожных.

Потом с кулёчком, внутри которого стукались пирожные, бежал к подслеповатой тихой любовнице. Там, у неё на кухне, они молча пили чай. Чарли ставил чашку на стол и бережно придерживал пирожное двумя руками. Потом они ещё минуту сидели молча, после чего Чарли всегда обещал одно и то же, но никогда этого не исполнял: «В следующий раз надо взять на два пирожных больше....». Потом ещё оставалось полчаса на секс. После всех ритуальных процедур Чарли рвался на работу. Его автомашине было около 30 лет, она дымила, останавливалась, иногда несильно взрывалась, но купить другую у Чарли не хватало сил. Жаба была полновластным хозяином его жадного сердца.

Всё это Чарли уныло поведал мне, озираясь, склоняя в сторону кудлатую голову и потирая лоб, похожий на узкую расчёску в трещинах.

– А для чего ты собирал деньги, – решился спросить я, – традиционная американская мечта – купить дом, виллу, яхту?

Чарли презрительно покачал головой:

– Зачем? Это глупости! Деньги надо просто собирать!

– А ты жертвовал когда-нибудь?

Чарли неожиданно хитро усмехнулся: «Просить деньги у Чарли – это великая подлость. Но я всегда стоял за принципы демократии, и считал Америку самой великой страной. Но

жертвовать никогда не собирался. Пусть они доказывают свою демократию своими деньгами».

– А ты в Бога веришь?

– Верю, конечно, но не всегда... Особенно верю в воскресенье утром... Верю, когда мне хорошо, а когда плохо – не верю...

– Библия говорит: «За всё благодарите...»

– Не могу за всё... Ты благодари за всё, а я буду благодарить только тогда, когда Он делает мне хорошо...

Чарли ни к кому в гости не ходил и никого к себе не приглашал. Пойти в ресторан, или бар – Боже упаси! Он бы там подавился или захлебнулся. Вот так проходила жизнь. И однажды стукнуло 50. Денег в банке было уже достаточно, но они по-прежнему не тратились. Та же убогая перекошенная квартира, ржавая старая машина, ни друзей, ни родственников, ни семьи, ни собаки или кошки, телевизор, с дрожащим экраном, кем-то выброшенный на мусорную свалку. В свой день рождения он, наконец, купил не два, а четыре чёрствых пирожных, бутылку уценённого вина и, торжественный, пришёл к своей почти ослепшей любовнице. Но долго не выдержал и снова поехал работать.

У Чарли был брат-близнец, но обыкновенный, как говорят, нормальный. Виделись они очень редко. Близнец не то чтобы его не любил, он понимал жизнь Чарли, как редкую, неизлечимую болезнь. Но однажды какой-то шкодливый бесёнок дёрнул его за верёвочку сердца, он заскучал по брату, позвонил и предложил Чарли скинуться по 150 долларов. Т. е. будет у них триста, и он, брат-близнец, заработает им на этих деньгах ещё триста долларов. Чарли мучился, потел, скрипел, не спал, и наконец, видно, жаба проквакала ему, решил, что надо рискнуть. И с внутренним стоном и почти теряя сознание отдал свои сто пятьдесят.

Короче говоря, чтобы долго не тянуть, вот что было дальше. Близнец позвонил ему через пару недель, сказал: «А эм сори (извини), деньги мы с тобой потеряли».

Всю ночь Чарли думал. Он представлял свои сто пятьдесят, то в 7 двадцатидолларовых купюрах и одной десятидолларовой. То в двух прекрасных купюрах – одна 100, вторая 50. То 150 купюрочек по доллару, все новенькие, хрустящие. Под их хруст он позвонил брату и произнёс одно слово: «Отдай!» Брат стал кричать, что это бизнес, ну, не получилось, оба же потеряли, и деньги смешные! Чарли снова прохрипел: «Отдай!» Брат повесил трубку. С тех пор брат-близнец стал ему сниться. И всегда

в образе монстра, кровожадного вампира или многорукого душителя. После этих снов Чарли понял, брат обманул его сознательно, чтобы он мучился и страдал.

В тот пасмурный день Чарли подождал до часу ночи, потом пошёл на строительную площадку, сел в свой огромный экскаватор и поехал к дому брата. Ночь была тёмная, но на душе становилось светлей. Он увидел новую машину брата, сверкающий легковой Додж. Медленно подъехал к Доджу и стал наезжать на него огромными колёсами экскаватора. Додж прогибался к земле, расплющивался и жалко трещал. Чарли проехал по нему до конца, и с просветлевшей душой вернулся на стройплощадку. Оказалось, что, кроме жадности, у Чарли ничего не было, даже интуиции, предупреждающей об опасности. И потому не знал Чарли, что в ту ночь жена его брата очень поздно вернулась с вечеринки и развесёлых шурымурных танцев. Запарковалась, зашла в дом, но вспомнила, что забыла в машине сумку. Вышла, села в машину, нашла сумку, хотела открыть дверцу. Но не успела.

Экскаватор смял машину и её. Она осталась жива, но стала инвалидом. Теперь Чарли должен всю жизнь выплачивать ей компенсацию за потерю трудоспособности, а это значит, платить зарплату, которую она получала до его мстительного наезда. Плюс, за это Чарли грозило заключение до 7 лет. Он сцепливал руки и жаловался мне: «Теперь все мои деньги уйдут на неё и адвокатов! Не буду брать адвокатов, пусть больше просижу, зато деньги сэкономлю». И огромные слёзы капали с его рыжих ресниц.

Помню, это случилось в четверг, Чарли вызвали в суд. Он вернулся другим. Худеньким стариком, нетвёрдо ступавшим шаркающими ногами. Посмотрел вокруг, сел и стал похож на подбитую умирающую птицу. Через минуту прошептал: «Семь лет сидеть, всё выплатить им, и ещё не хватит...»

В нём не было отчаяния. Он как будто куда-то попал, в незнакомое ему место, оглядывался, узнавал некоторых людей, в том числе меня. В тот вечер произнёс равнодушно: «Я никогда не пел, я никогда не курил, я никогда не любил... А ты?» Я понял, что ему хочется услышать от меня, и сказал: «Я тоже никогда...»

Его свинцовые глаза на миг потеплели, и он, покачиваясь, пошёл в свою камеру.

Ночью нас разбудили крики охранников, лязганье оживших замков. Чарли умер просто так, сидя на кровати. Твёрдая бре-

зентовая подушка была мокрой, наверное, от предсмертных слёз.

Так ушёл неудачный победитель долгов Чарли. На следующий день я подумал о нём и стал представлять его маленьким: рыжим и несчастным, как брошенная собачонка. Я представил его себе таким и заплакал. Охранник подозрительно смотрел на меня. Слёзы считаются знаком опасности.

Ушёл я из тюрьмы через несколько дней и попрощался с теми, кто оставался ждать приговоров. Чарли никто не вспоминал.

За воротами тюрьмы меня встретил старый священник. Я рассказал ему о Чарли. Он спросил: «Что думаете об этом вы?»

– Мне кажется, что все мы мало отличаемся от Чарли, только тратим чуть больше времени и денег на еду и развлечения. И нам иногда тоже хочется наехать экскаватором на жизнь, расплющить её – и стать счастливым...

Священник внимательно взглянул на меня добрыми глазами: «В тюрьме вы изменились...»

Я подумал и спросил: «Отец, а может быть, я поумнел?»

США

Гарри ЛЕБЕДЕВ

ВРОВЕНЬ С НЕБА СИНЬЮ

БОГАТЯНОВСКАЯ МУЗА

Булыжный спуск, что пока ещё не закатан асфальтом. Ворота ажурной ковки или же только затемнённая входная арка. По внутреннему периметру дворика углами соединены домовые строения, где квартиры продолжают одна другую, лёгкая наружная лестница ведёт на второй этаж, все окна смотрят друг на друга.

Это уцелевшая в первозданном виде ростовская Богатяновка – колоритная, легендарная. Здесь бродит память, заглядывая вот в такие удивительные дворики. Мало остаётся бедных жилищ, настырно вытесняемых домами крепкой кладки.

Местная пацанва жила вольготно и в своё удовольствие. Отцы у многих не вернулись с фронта, матерям не хватало рук на работу и на дом. Каждая страшилась, чтобы родное чадо не попало к воровскому авторитету. Богатяновская тюрьма, вон она – зарешёчена, повита колючей проволокой, очередь с передачами не иссякает…

Кто знает, когда точно, но то, что именно здесь, в богатяновском колоброде, где все и вся на виду, и зародилась лебедевская Муза – вне всякого сомнения. Гарри Лебедев (1935-2015) говорил об этом до последнего. И до последнего зарифмовывал свою городскую малую родину, отдавая ей сыновний поклон.

Богатяновка, Нахаловка, собственно, весь Ростов-город, его неистребимый дух вольности входили в стихи. И даже не «ростовские строки» Лебедева осенены богатяновской Музой. Особый склад, разговорная интонация, южная распахнутость – это всё оттуда, из детства, из бесшабашной молодости…

Признавал только русскую классику. Вычурность собратьев по перу ему претила. Своему пониманию поэзии не изменял ни при каких обстоятельствах. Ветры перемен не могли сбить его с выбранного пути, равно как и тяжёлые ситуации житейского

порядка. У него не было систематического литературного образования, но было внутреннее ощущение точности слова.

Музе служил верой и правдой, и она воздала сторицей. Уже одно то, что и в третьем возрасте писал стихи с высоким, как всегда, напряжением строк, соединяя слова в единственно верном порядке, свидетельствует о высшем смысле его поэтической судьбы.

Мне довелось знать и узнать Гарри Лебедева. При всей открытости он был избирателен в общении с теми, кто ныне значится по писательскому ведомству и хотел бы числить себя в его окружении. Мерилом для поэта Лебедева была строка. И совестливость другого человека. Всё от родной Богатяновки, где знали точную цену каждому.

Буквально до самого ухода Гарри Ильич готовил рукопись для своей «Книги в журнале». Мы с ним обсуждали, говорили по строчкам, особенно у него болела душа о новой поэме… Для меня не перестаёт звучать его голос в телефонной трубке, когда он читал только что написанное.

«Книга в журнале» Гарри Лебедева станет вечной памятью поэту на донских страницах. Его богатяновская Муза не умолкнет.

Виктор ПЕТРОВ

* * *

...а мальчик тот в далёком далеке
сидит у лампы тусклой и читает.
И ничего-то толком он не знает.
И карандаш зажат в его руке.

Всё впереди! Когда-то он придёт
вот в этот миг. И так, само собою,
взрослеть ему, и становиться мною,
и горбиться под тяжестью забот.

Как милосерден мир к нему пока –
повёрнут радостным и светлым краем,
очерчен чётко, ясно осязаем.
Но это только первая строка.

И что ни делай, как тут ни крути,
а жизнь – одностороннее движенье.
Мне – уходить из этого мгновенья.
Не встретимся, хоть нам и по пути...

БОГАТЯНОВКА

Памяти богатяновских и нахаловских ребят, сгинувших неизвестно где

1.

... он опять под бокс подстригся
и идёт вихляво так.
А во рту сияет фикса –
он по всем статьям блатняк.

У него такие клёши –
не видать носков штиблет.
В общем, парень нехороший,
от него один лишь вред.

Это он соседской Тоньке,
той, которая из тех,
подарил платочек тонкий
и на шапку лисий мех.

Ясно дело, где-то стырил,
на такое он мастак.
Правда, ни одной квартиры,
ни один с бельём чердак

не очистил, где солдатка
иль солдатская вдова…
Помню, как гулял он сладко –
нам ириски раздавал.

С залихватскою сноровкой
по гранёным ёмкостям
водку, «белую головку»,
наливал он мужикам.

Вот житуха – лямца дрица!
Прожигал её юнец …
Как верёвочке ни виться,
а приходит ей конец.

Смолкла песня «Гоп со смыком»,
не допел её пацан:
взял его товарищ Смыков,
участковый капитан.

Может, где-то прокололся,
может, кто-то парня сдал.
Из распахнутых оконцев
переулок наблюдал:

бабка Домнушка-чернавка
сунула ему кулёк
от цинги целебной травки,
освящённый образок.

Взят, положим, он за дело –
впереди тюремный шлях…
Но в углу ж двора ревела
Тонька, девка на сносях!

Круто, круто жизни тесто –
месят судьбы вперегиб:
брат его убит под Брестом,
батя в финскую погиб…

…Ворон, лихолетий птица,
опускает два крыла...
Расцветал салют в столице,
а у нас сирень цвела…

2.

… пораскрыты в окнах створки,
наступил в соседях мир –
стихли ссоры за конфорки,
не стучит никто в сортир.

Показалися из тени –
тень бросал фонарь за дом –
те, что ботали по фене
в толкавище за углом.

Вышла, чиркнув зажигалкой,
в платье красного красней
Верка – честная давалка,
дама местных блатарей.

На скамейках стихли пары…
Приготовился наш двор
слушать Зининой гитары
серебристый перебор.

И с балкона коммуналки –
со второго этажа,
всколыхнувши воздух жаркий,
звук полился, чуть дрожа.

И, как каждый раз бывало, –
нам привычным чередом! –
«Рио-Рита» для начала,
«Джеймс Кеннеди» – на потом…

Да не треньканье от скуки –
два аккорда невпопад,
как в подъездах от докуки
раз иной теперь бренчат.

Нет! В игре угрюмой Зины
жизни лучшей был намёк:
что-то вровень с неба синью,
что-то горю поперёк.

Это поняли мы поздно –
взрослым поняли умом.
… Пахло мамалыгой постно,
запечённым чебаком…

А о ней болтали даже,
что была в других краях
марафетчицей со стажем
в давних нэповских годах.

Нам-то что до бабьих слухов?
Не спускали с Зины глаз –
нападала расслабуха
непонятная на нас.

Было в этих звуках ладных,
что зачёркивало враз
в пацанах, ещё нескладных,
хоть на этот странный час

страх бомбёжек незабытый
(как от взрывов дом дрожал!),
память о бойце убитом,
что на улице лежал…

…Годы…годы… Лица тают
в зыбкой дымке временной.
Где теперь они, не знаю.
Только всё оно со мной:

раненный под Прагой Лёня,
дворовая блатата,
ствол берёзы опалённый
и развалин чернота.

Мы тогда ещё не знали,
что нам жизнь преподнесёт,
просто слушали, дышали…
… сорок пятый – светлый год…

3.

… смыты улиц перспективы
надоевшим всем дождём.
Струи гулко бьют в отливы.
А вода таким ручьём –

к тротуарам нету брода!
Даже домофон осип.
Мерзопакостна погода –
ОРЗ, простуда, грипп!

В атмосфере вновь неладно!
После летошней жары
осень не была прохладной.
До январской до поры

нет на зиму и намёка,
снега нет, сугробов нет!
Вся Вселенная промокла –
дождь дождю идёт вослед…

Хворь любая может статься.
И одно спасенье тут
поскорей упаковаться
в пахнущий борщом уют…

И в такие непогоды,
сам не знаю почему,
я назад листаю годы
скопом и по одному.

Вот на днях почти случайно
я зашёл в наш старый двор,
где любви рождались тайны,
где я не был с давних пор.

Сломаны давно скамейки,
скошен над крыльцом карниз,
нету Зининой семейки,
в тюрьмах Женька-вор завис.

И от всех-то и остались
«ты, да я, да мы с тобой».
Копятся в душе усталость
и привычный непокой…

Были наши встречи редки
и до боли коротки.
Вновь звоню тебе я, Светка,
а в ответ одни гудки.

Затерялась как навечно
в параллельных мне мирах –
в коридорах бесконечных,
на затоптанных полах.

Где теперь ты чистишь-блистишь?
Так же твой болит висок?
Ведь давно уж видишь вблизь лишь
швабру, веник и совок…

Хоть для счастия и мало,
свято надо сохранить
ту, что нас с тобой связала
в детстве, тоненькую нить!

Кукурузную лепёшку
мы делили пополам,
подставляла ты ладошку,
чтобы крошки – воробьям.

Строго в очередь лизали
праздничное эскимо,
лихо с пацанвой канали
на трофейное кино.

А теперь не так мы ловки,
пьём лекарства по часам.
Наши божие коровки
улетели к небесам…

Спрыгнет с неба солнца шарик,
снова дню придёт конец –
так же пьёшь на сон стопарик
под солёный огурец?

И, управившись по дому,
исполняешь ритуал?
Так же смотришь ты сквозь дрёму
бесконечный сериал?

Оторвись хоть на минутку,
даже не нужны слова!
Подыши тихонько в трубку,
чтобы знал, что ты жива…

* * *

... какая в городе ночная тишина!
Лишь тормоза визжат у перекрёстков.
В колодец тёмного двора – без дна! –
Вселенная глядит звездою блёсткой.

В окне напротив – мне и не вздохнуть! –
о подоконник оперлась нагая.
И матово – так лунно! – светят грудь,
и плечи полные, и лоб её...
Даная!

Я не просыплюсь золотым дождём –
бренчит в кармане медь для телефона.
Не одарю варёнкой, не кутнём –
я завязал ещё во время оно.

Я никакой, я нынче – просто так,
и тоже не востребован я миром.
Зачем полночи подаёшь мне знак,
чего торчишь ты маленьким ОВИРом?

Как воздух лёгкий странно загустел –
ножом его пластать продольно впору –
от мыслей о соитии двух тел,
попытки обрести на миг опору.

И от предчувствия печали и стыда
за то, что непременно да случится,
от ужаса дороги в никуда,
от нежелания уйти и уклониться...

* * *

Памяти убиенного Николая Клюева

...это чудо вернуть нам едва ли:
отзвенели звонцы соловья,
и ушла в невозвратные дали
избяная Россия твоя.

Раскатилась Изба-богатырка...
И в Олонце, и в прочих краях
бес порухи, зловеще поцвиркав,
нагадал запустенье и крах.

И жучкам-древоточцам отрада –
догнивают в крапиве густой
охлупень за кривою оградой
и доска с городчатой резьбой.

Тощий вепрь только жалует в гости
рыхлить землю в осенних садах.
Кружит ветер на старом погосте –
заплутался в осевших крестах.

Над озёрами – дух керосинный.
Сбоку речки, бегущей сквозь лес,
доживают уродки осины
под рядном закоптелых небес...

* * *

... облака я глажу, как кошек.
Ветер тычется в ноги щенком.
Метеоры щекочут мне кожу.
О Луну оперся локтём –
так уютно!
Земля голубая
чашей вогнутой подо мной.
Сострадая, я вырастаю,
и врастаю я в шар земной!..

* * *

Тем, с кем был ТАМ

... враждебным кругом синие бушлаты,
охнарики зависли на губах.
Все ждут теперь оплаты иль отплаты
весомее, чем только на словах...

Я выступил, опять услышав ложь,
не поддержав напраслины на друга.
И, затаив под сердцем страха дрожь,
кружусь на месте в середине круга:

«... амбалистый... но рыхловат мужик...
до полу руки... челюсть не прикрыта...
но вес-то, вес – я рядом просто пшик!..
Да, правда милая, опять ты будешь бита...»

... Болели рёбра и подбитый глаз.
Мёрз в карцере я снова, голодая.
Ах, Господи, я здесь в который раз?
И сколько попаду ещё сюда я?..

* * *

... кондукторша с угрюмой прытью сторожа,
билетной сумкой засупонив бок,
таранит нас, размётывая в стороны,
в ручищах сальных тиская оброк.

Сычиными глазами без моргания
с натугой смотрит прямо в никуда...
Я чувствую, как грозное молчание
обвисло риском спелого плода.

Вот-вот и вдруг взорвёт заряд статический
неправдою невысказанных слов,
экземой от одежды синтетической
и страхами невыветренных снов.

И накалялись беспричинной лютостью
последние секунды тех минут,
и зрело злое в этой тесной людности,
и быть бы нехорошему...
Но тут

сквозь запахи подмышек и опрелостей
из щёлочки вагонного окна
мной долгожданный истинно апрелевский
вдруг грянул воздух.
Вспыхнула весна!

* * *

...распоследнего ханыгу
никогда не гнал я: «Подь!»
И свежайшую ковригу,
и скукоженный ломоть
преломлял я равной мерой,
как научен с детских дней, –
в память светлого примера
доброй матушки моей...

...НА ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ МАЯ...

Другу моему Луле Куни,
знающей, что такое горе
и что такое война

1.

… лишь стоило дохнуть весне,
как наш районный дятел
по приоконной по сосне
отстукивать стал даты.

Неделя – прочь, и месяц – прочь,
и вот мы ближе к маю.
Длиннее день, короче ночь.
И почки набухают…

2.

…над трассою – восход и тишь.
И аж до поворота
по руку левую камыш,
по правую – болото.

Низовкой воду поднесло
от самого Азова.
Да что грязюка! Вон село
в воде по краю снова!

И так почти что каждый год –
одни и те ж ненастья…
Но вот он – жданный поворот,
простора полновластье!

3.

Тут ветра встречного гугня,
здесь синь до окоёма,
озимых дружных зеленя
и запах чернозёма!

Он чуется едва-едва
сквозь выхлопное скотство –
щемящий запах естества,
живого первородства…

4.

Шоссе не терпит болтовни,
обгонов резких сдуру.
И отвлекаться здесь – ни-ни! –
сплошным потоком фуры.

Сын старший рядом за рулём
машины классной «Опель».
Молчим мы каждый о своём –
в молчанье едем оба...

5.

А память – птица о сто крыл –
летает вольно всюду –
по временам, в которых жил,
и в тех, где жив покуда.

Как прошлое по сердцу бьёт!
И с каждым днём больнее:
... фашист, турельный пулемёт,
бегущие евреи...

И виделась издалека,
там, где рванула мина –
вытаивала вверх рука
убитого румына...

Плелась колонна взятых в плен.
Мать – страхами измучена –
в разбитой мельнице со стен
в подол сметает мучку...

И трупным запахом несёт
от женщины у тына:
до горла вспоротый живот
и плод на пуповине...

6.

За что мне груз чужой вины?
Был пацанёнком малым.
Враньё! – я не дитя войны,
я сын любимой мамы!

7.

... какими были вечера
душистыми и лунными
сто лет тому, а как вчера!
И в них мы были юными.

И раньше срока срок пришёл
вдруг расцвести акациям.
Жить стало просто хорошо –
ведь некого бояться нам.

И стали души на распах –
такое не приснится вам!
И девочек летящий шаг,
худышек в платьях ситцевых

Училка каждому даёт,
чтоб не было обидно,
по миске супа и компот,
и порожёк с повидлом.

Шёл дядя Ваня – наш сосед –
хоть с костылём, но браво.
Таращились ему вослед –
три ордена! Три «Славы»!..

8.

Приехали!
Приветствий рой,
рукопожатья крепкие.
Приятель, уж совсем седой,
в привычно мятой кепке...

И времени в запасе нет,
и поспешать посуху,
но как без лизиных котлет
с картошкой – рассыпухой?

Как не уважить нам сестру,
старательницу ловкую?
Вставала рано поутру,
чтобы успеть с готовкою!

Хоть двое нас, а полон стол. –
есть пирожки с капусткою!
Уже смоталася в стодол
за огурцами хрусткими!..

9.

Но чтобы засветло домой
попасть – спешить нам надо.
А мы же привезли с собой
два ящика с рассадой.

10.

Размеры кладбища не те,
что в нашем мегаполисе.
Рукой подать – в полуверсте
оно и лесополосы.

Вначале издавна стоят
деревья вдоль обочины.
Надгробия за рядом ряд,
травою оторочены.

Тут место скорби и скорбей,
времён переплетение.
Концы обид, концы страстей,
глубокого смирения.

Здесь неземной уже покой,
значительность молчания.
А ветерки над головой –
то ангелов дыхание...

11.

На небе кучевой обман.
Уже взорвались почки.
Метём дорожки, рвём бурьян,
пушим в надгробьях почву.

Трель жаворонка, бас шмеля,
стук брошенной грабарки.
Траву родившая земля
пьянит дурманом парким.

И в свете облачного дня
с портретов на эмали
родные смотрят на меня
из временной из дали.

12.

С крестами холмики – следы
бездушной перестройки.
От навалившейся беды
ломались даже стойкие.

Порушили колхозный быт
слагавшийся годами.
А на вопросы «быть – не быть»,
мол, отвечайте сами

И стала жизнь, как тёмный лес,
завалы да преграды.
Тот запил и в петлю полез,
тот продал госнаграды...

Кто на себя грехи возьмёт
за эти перемены?
Как было можно – свой народ
хребтом да об колено!

...И, в дверце опустив стекло,
шепчу я, уезжая:
– Пусть будет благостно-светло
на день Девятый мая.

Спокойными лежите тут
до Божией побудки.
А на могилках пусть цветут
всё лето незабудки.

2015

г. Ростов-на-Дону

Лев Аннинский

ПОЛОНИНЫ КАРПАТ

Игорю Мельчуку, без слов – внимая.
Автор

«Да,только в походе становишься похож на человека...».
Я. Коршунова

25 июня

Итак, нас четверо.

Мы долго искали пятого члена группы, прощупывая на факультете чуть не всех встречных, но желаемого не нашли: нам нужен был парень. В конце концов решили взять топор.

СОСТАВ

Начну с Мельчука.

Это рыжее чудо, знающее десять языков, десять тысяч туристских песен и умеющее сто тысяч гитик.

Что нужно с делать, чтобы пять университетских лет не пропали даром? – спрашивают на филфаке. И отвечают: для этого надо:

а) пройти курс наук;

б) получить у Либана пятёрку и двойку;

Деятельное присуствие Льва Аннинского в русской литературе повлияло и влияет на её развитие. Многочисленные работы критика интересны и значительны. Но мало известно, что в творческом багаже писателя есть объёмный труд «Ветви», чья уникальность несомненна.

Лев Александрович создал, кажется, художественную по уровню мемуаристику. Скажем, в отличие от документальной. Примечательно, что именно в нашем журнале даются дневниковые записки туристического лета 1955 года, ведь Тихий Дон и Ростов-город кровно близки автору.

Талант студента-филолога Льва (Лёськи) Аннинского очевиден: 60 лет минуло, а текст читается на одном дыхании. Редакция остановила свой выбор именно на этом отрывке, поскольку там воскрешается большая страна, где жилось и думалось по-другому.

в) увидеть подполковника Пуговкина;

г) сходитъ в поход иди съездить в колхоз;

д) подпасть под одну из двусмысленностой А. И. Байгушева или под афоризм П. В. Палиевского;

е) в любой форме приобщиться к Мельчуку.

Мельчук – завхоз. Он – считает общественные деньги. Когда его сажают обедать, он спрашивает:

– А за столом мне разрешат считать?

Сев за стол, торгуется с Янкой из-за денег на аптечку: она требует тридцать, он дает четыре. Это ему принадлежит лозунг: «Питание в дороге – за мамин счёт».

Яна Коршунова. Волк. Была в походах. Торгуясь с Мельчуком из-за нормы каши, стремится осуществить принцип «Чтоб волки сыты». А тот действует так, «чтоб овцы целы».

Яна обольстила членов маршрутной комиссии, и наш поход утвердили как «двойку».

Третий член группы – Верочка Абызова. Про неё мне известно пока, что она миниатюрная, что у неё всё получается, что она сшила Игорю и себе плащи и что последний экзамен она сдаёт накануне отъезда. Ещё известно, что фамилию её можно переделать в *Обузова.*

Четвёртый – я.

Сегодня весь день готовились.

С утра я сдавал Зозуле экзамен по украинской литературе. Стоял под дверьми его кабинета, «приказанный обождать», пока Зозуля беседует с Самариным. В руке у меня была моя зачётка, в другой – чужие конспекты, на шее – Мельчук, требовавший, чтобы я шёл покупать подойник.

Вечером мы с Игорем пронесли из университета рюкзаки и сумки. Видевший нас Ратгауз тяжко вздохнул и воздел руки к небу.

27 июня

К начальнику вокзала – толпа, каждый хочет без очереди. Мужчина в соломенной шляпе призывал к порядку и толкал женщин в грудь. Когда подошёл лейтенант с бычьей шеей, тот молча проводил его взглядом.

Билеты есть.

Какое магическое действие производит на них эта бумажка с круглой печатью.

Юра Брагин натаскивает меня по-румынски. *Буна зие* – здравствуйте. И ещё: «Дайте стакан молока» – что-то вроде «дать по харе лаптей». Применим.

Сегодня – день прощаний.

Прощайте, папы и мамы,
Уютный диван и компот,
Прощайте, авто и трамы,
И ты, «девочка наоборот»,

тебе оставляю я гвозди души моей – мои поцелуи, и ещё мою причёску, которая тебе нравилась.

Вокзал, улыбки толпою,
Слова, слова, слова.
Звериной пройдём тропою:
Узнать, что такое трава...

см. Уитмена – он тоже не сразу узнал это.

Пройдём паутиной речек,
Громадами голых гор,
Четыре смешных человечка
И умный стальной Топор,

который мы берем вместо пятого члена группы. Итак:
Прощайте, папы и мамы,
Девятый, девятый вагон,
Прощайте,
Авто и трамы,
Блондинка в голубом,
я буду скучать по тебе, и когда на моих руках заживут царапины от крашеных твоих ногтей, – я буду скучать ещё больше.

ПСИХИКА

27 июня

Та часть спины, где она теряет своё благородное название, называется *психикой.* Если рюкзак давит, то он *давит на психику.*

Вечер целиком был посвящён набиванию рюкзаков и психоанализу (дело происходило на Потылихе). Через два часа оголодавшая Яна взмолилась. Я вынес ей пирожок, половина которого была тотчас схвачена Мельчуком. В момент начавшейся драки на пороге явилась моя мама. Яна нырнула за игореву

спину и принялась выплёвывать в ладонь улику, задумав упрятать её в кружевную занавеску на окне. Мельчук же выступил вперёд и объявил, перебросив кусок в другую щеку:

– Психика моя в порядке. Но если вы думаете, что от нас так легко отделаться, то сильно ошибаетесь...

Хозяйка впала в столбняк, но потом отошла и выставила на стол мясо, картошку и прочую снедь, а перед Яной как перед ответственным лицом поставила кастрюльку молока. Набив рот варениками, Игорь объявил, что в походе мы будем есть только чёрный хлеб. Когда кастрюлька с молоком была опорожнена, а стол безнадежно пуст, лишённым искренности голосом Яна сказала, что наелась.

Как нам стало потом известно, вечером того же дня Яна была в гостях у Инны Сидоренко и опустошила этот дом, поглотив 8 наполеонов, 2 апельсина, полбутылки шампанского и ведро салата.

ВАГОН

28 июня

...Вагон. У окна Игорь с перекошенным лицом штопает тапок. В купе напротив – семейство. Пятилетняя девчушка шалит, мать строго предупреждает её:

– Не балуйся смотри, а то туристам отдам – в мешок посадят.

– Отнюдь! – вступает Игорь, торжествуя. – Туристы в мешок не посадят. Туристы *съедят!*

Девчушка недоверчиво надувает губы.

Никак не можем открыть игольник. Пробовали и ногтями, и зубами. Соседи по купе используют наш игольник в качестве силомера для пальцев. Будем брать деньги.

Но мы, кажется, остались без иголок.

Какое это удовольствие – гордо отказаться от постели и спать на голой полке, подложив одну руку под голову, а другой обняв гитару, – и слышать за спиной:

– Да ему что, он *турист...*

Брянск. Идём вдоль перрона. Игорь рассказывает анекдоты. Яна тихо скулит:

– Я хочу борща... Я хочу борща... Ах, зачем я уже пообедала... Смотри, какой здесь борщ.

С интонациями анекдота Игорь отвечает:

– Пока вы не съедите всё, что нам надавали мамы, я не выдам вам на обеды ни одной копейки.

У книжного киоска:

– Игорь, купим эту книжку?

– Что? Фельетоны?? Думаешь, нам *не хватит бумаги?* Так я тебе выдам...

– Поезд ушёл!!!

Мы несёмся и цепляемся за какие-то поручни.

Мельчук, привлекая всеобщее внимание в вагоне, рассказывает:

– Чикагское радио передаёт вопрос маленькой радиослушательницы... тоненьким голоском: «А можно убить папу ва-той?» Голосом диктора: «Слушай, девочка, тебе отвечает знаменитый чикагский гангстер Джинни Вырви-Глаз». Кровожадным басом: «Хэлло, крошка! Папу *можно* убить ватой. Предварительно завернув в неё утюг!»

Яна лежит на верхней полке. Игорь в ударе:

– А вы знаете, как Яна в походе оторвала ухо у кошки? Это была, к сожалению, не живая кошка, а воротник». А вы знаете, как Яна объяснялась с чухонцами, когда хотела добыть молока? Они с Наташкой Рыжовой решили изобразить корову; Яна встала на четвереньки, мыча. Ой, я умолкаю! Она хочет меня бить...

На верхней полке движение.

– А вы знаете, как Яна нашла в походе замёрзшего оленя? Это было в Карелии. Он был такой красавец, что... Ой!..

С верхней полки летит ботинок.

– Ну, хорошо, я лучше расскажу вам армянскую загадку: меж подтяжек и трусов торчит морда без усов. Что это такое? Вы хотите знать, что это такое? Так я вам скажу: это Яна заглядывает в промтоварную лавку.

И опять анекдоты, истории, песни.

Яна недоверчиво спрашивает:

– Неужели это *сегодня* мы выехали?

...Проводник в белом кителе, наливая мне кипятку, говорит довольно:

– Эх, прибавить что ли и заварки вам... Что с вас взять, студенты... Понадевали зелёные штаны и сидят-поют... – и, вздохнув, наливает ещё заварки.

29 июня

– Граждане! Не доверяйте своих чемоданов посторонним лицам! Приобретайте билеты только в кассах! Гр-раж-дане! Не доверяйте своих чемоданов...

– Киев! – говорит Янка. – Вылезай смотреть.

За окном – озеро и зелёная круча с двумя ветхими храмами. Святая Русь. В другое окно – трубы и дымки. Индустриальный Киев...

– Граждане! Приобретайте билеты только в кассах!

Верочка в замешательстве: сочиняет телеграмму директору музучилища.

– Надо её поздравить... И потом – надо выразить сожаление, что меня нет на выпускных торжествах, а то на будущий год неудобные часы дадут.

Игорь сидит рядом и гудит:

– Глубокоуважаемое...

– Чёрт, – улыбается Верочка. – Ты мешаешь... Ой, уже Киев, а я ещё не сочинила...

– Высокоуважаемое... – гудит Игорь... – Жму и ура!

Верочка хнычет.

– О! – вскакивает Мельчук. – Ты хочешь написать проникновенно? Так я тебе подскажу:

Очень сожалею,
Что полны края,
Но в чашу поздравлений
Помочусь и я...

– Тьфу на тебя! – Верочка бросает ручку и добавляет обиженно: – Я же всё-таки комсорг...

В наше купе в Хмельницкой сели двое преподавателей Ужгородского университета. Один сразу отвернулся к окну, другой завёл со мной оживлённый разговор об учебных планах. Мы беседовали и время от времени вздыхали;

– Д-да-а-а-а...

Вдруг с верхней полки явилась помятая и заспанная физиономия Мельчука. Уловив тему разговора, он спрыгнул вниз и подсел. *Уже* через две минуты ужгородец и Игорь вели полный колкостей спор о теории познания. Ужгородец заметко волновался, Игорь подливал масла в огонь, намеренно щекоча Канта и Беркли. Через пять минут оппонент его обиженно поднялся и пересел подальше. Мельчука уже трудно было остановить:

– Я считаю, что главный грех наш – лень, старая тёмная лень! Если бы у нас было меньше лодырей, мы бы давно уже были в коммунизме! Лодыри – вечное зло наше, они и есть антисоветчики!..

Его голос звучал странно громко в притихшем вагоне. Вдруг второй ужгородец, до сих пор сидевший молча, поднял на Иго-

ря печальные и умные глаза и спросил очень спокойно и очень тихо:

– Вы случайно не знаете аспирантку... Козлову?

– Нет... А на какой она кафедре? – живо поинтересовался Игорь.

Разговор перешёл на другую тему. Новый собеседник смотрел на Игоря внимательно и учтиво, но чуть грустновато. А первый – отвернулся к окну.

...Мы переехали старую государственную границу. Мы – в Западной Украине. Делимся впечатлениями, шумим и в какую-то секунду молчания слышим из соседнего купе ликующий женский голос:

– Вот и-где клубника-а!..

По радио объявили:

– Внимание, граждане пассажиры! Внимание, граждане пассажиры!

Тягостное молчание во всём вагоне.

– ВНИМАНИЕ!! Говорит радиоузел поезда номер семь...

Мучительная пауза...

– Начинаем концерт грамзаписи.

ПЕСНИ

У нас свои песни. Главная – пришла из альплагерей, где в почете «правило трех точек», и только неучи становятся на четыре. А самые отчаянные предпочитают спускаться с горы на пятой...

Нам с головой не мудрено расстаться,
Прожить без сердца, прожить без почки,
Но упаси нас, Господи, остаться
Без пятой точки, без пятой точки...
Подъёмы вверх с ишачьею нагрузкой –
Ещё цветочки, ещё цветочки,
Но не дай бог проехаться на спуске
На пятой точке, на пятой точке...
Мы до Сухуми ехали и пели
В грузовичочке, на рюкзачочке,
А в результате синяки имели
На пятой точке, на пятой точке...
Каким обедом угощали в Хосте!
Пять грамм биточки, пять грамм биточки,
А в результате выступили кости
На пятой точке, на пятой точке.

На перевал карабкались немало
До самой ночки, до поздней ночки,
А утром мы спустились с перевала
На пятой точке, на пятой точке...
– Значки туристов выдали ребятам.
Зачем значочки, к чему значочки?
Нас узнают по дырам и заплатам
На пятой точке, на пятой точке.
Пижон влюблённый распускает нюни,
Целует ручки, целует щечки,
Наш брат-турист возлюбленную лупит...

При этих словах Яна Коршунова вступает в шумную драку с Мельчуком, пытающимся проиллюстрировать эту строчку, а второй ужгородец, подняв на них печальные глаза, замечает:

– Я думаю, что носителями скоморошьих традиций являются в наше время студенты-туристы... И вообще, многие лучшие песни идут, по-моему, от них.

Эти слова примиряют Игоря и Яну и придают нам вдохновения:

Шагай вперед, турист, не вырывайся,
Держись в цепочке, держись в цепочке,
На впереди идущего равняйся
По пятой точке, по пятой точке!

ТУРИШТАК

9 часов вечера, Львов.

Львовский вокзал сочетает прелести Курского (тоннель) и Киевского (крытые платформы) в Москве, только львовский красивее.

Две милых девочки лет по 17, у кассы, узнав, что мы из МГУ, даже растерялись:

– Ой, какие счастливые!

Игорь приподнял кепку и просыпал мешок французских слов...

– Вы из Франции? – спрашивают девочки, замирая.

– О, нет, я москвич!

– Какие же вы счастливые, что в МГУ учитесь...

– А что в нём, собственно, особенного? – спрашиваю я.

– Ну, как же, там такие красивые залы! – сознались они и, спохватившись, прибавили: – и профессура!

Между 11 и 12 ночи мы пронеслись по главным улицам Львова. На вопрос: «Где университет?» какой-то *львивец* певуче ответил:

– Та невжели ж вы не знаете, дэ университет?

И вот мы на пороге его. Час поздний, но нас не гонят от дверей «за без пропуска» (как у нас в Аудиторном). Вахтер услужливо зажигает нам свет, и мы осматриваем грандиозную балюстраду и мраморное лицо Ивана Франка.

Улицы полны народа. Толпа. За сахаром. Десять лет назад это называлось «с ночи».

Мы стоим перед вывеской. Смешно. Декламируем вслух:

Перед пойти в дорогу дальню
Не поскупись зайти в идальню.

– *Туриштак,* – говорят нам вслед. Игорь слушает акценты и проводит какие-то лингвистические параллели.

От умора!

30 июня

6 утра. Я совершенно сонный. Ночь не спали, думали, в Воловец приедем в 3 часа. Оказалось, в 6.

Но не скучали. Пели со львовскими студентами под их гитару. Они перепели нас, чистые, высокие голоса у них и какие-то особенные фиоритуры. Но все уже клевали носами, и к четырем часам поприкорнули кто где: на мешках, на столиках, просто на локтях.

И вот 6 утра. Скоро будет Воловец. Там выйдем. В глазах плывёт понемногу.

Кто-то говорит, что хочет спать. Мельчук долго смотрит на меня и говорит элегическим тоном:

– Небритые мы...

Вздохнул и прибавил:

– Нехорошие...

А сам всю ночь писал в тетрадь венгерские слова.

Из центра можно одним взглядом окинуть весь Воловец: и плоские зелёные горы, и улегшийся на них туман, и говорливую серую Вычу.

Гуцулы. Оборванный старик с моржовыми усами и полуметровой трубкой, торчащей из них. Смотрит спокойно и внимательно слушает нас.

– Вы не скажете, где тут у вас сельсовет?

Он приподнимает поникшую колоколом шляпу:

– Воловец...

– Как пройти в лесхоз?

– Воловец... – учтиво кивает он.

– Ну... Понимаете, нам надо попасть в Торунь!..

Молчит, посасывая трубку. И опять:

– Воловец...

Ждём машину. Молодой шофёр в старой гимнастёрке возится под капотом.

– Був я у Москви. Хорош город. Тильки одно мене смешно було. Це – вода. Як яе?.. Газвода, шо ли... Красная така, ищо и с пеной – её и пить-то страшно, а за ней толпа – чоловик пятьдесят... и всяк вопит: и я хОчу, и я хОчу!.. От умора!

Яна подошла к группе девчат и справилась об одной щекотливой вещи. Те вежливо выслушали её и привели парня, понимающего по-русски. Яна спасалась бегством.

От Воловца до Торуни /47км/. С шофёром – договорились. Влезаем на грузовик с мукой, под головы подкладываем Мельчука, задираем ноги на борта и штурмуем таким методом Воловецкий перевал.

Мужчины в шляпах и женщины в широких юбках провожают недоверчивыми взглядами этот странный грузовик с торчащей из кузова, подобно знамени, босой ногой Яны Коршуновой.

И горы слышали окрест, как мы пели:

– *Тот не устанет шагать, кто очень хочет.*

Шесть часов в кузове. Воловецкий перевал. Гукливо. Подобовец. Пилипец. Нарзанный источник – кубическая яма и водичка с пузырьками... Репенны. Соймы. Торунь.

В машину вскакивает мужчина. Он втаскивает велосипед, жену и пятилетнего сынишку. Я присматриваюсь к нашему новому спутнику. Драная жилетка когда-то белого цвета, сильные смуглые руки. Полусгнившая армейская фуражка – и лицо: хищный нос, насмешливые глаза, иссиня-чёрные волосы... Типаж! Я навожу фотоаппарат. Улыбка вспыхивает на лице «цыгана», он мигом вытаскивает иэ угла сынишку, берёт на руки:

– А пришлёшь?.. Я – каменщик, стены мурую... Живу: Мукачево, Ленина, 10, Иван Роман... – И блеснул усмешкой.

Он сошёл минут через десять. Подскочил к кабине:

– Андрей! На, возьми два рубля! Нет?.. Почему?

Машина газанула, «цыган» остался среди дороги с деньгами в руке. Потом засмеялся и крикнул:

– Дякую!

Шлагбаум перегородил дорогу. «Карантин – ящур». Закарпатец вежливо предлагает выйти. Спрыгиваем. Оказывается – надо дезинфецировать подошвы: перед шлагбаумом рассыпан порошок. В Воловецком районе – эпидёмия ящура.

Торунь, вечер 30-го.

Солнце издевательски светило из дырок в тучах, освещая нашу драму: полил великолепный южный дождь. Костер разводили под верандой, втиснувшись в эти сухие кубометры воздуха. Варили первую нашу кашу, обжигая костром паутину на дне веранды, так что она красивыми ошметьями падала в кастрюлю. Травили её там лимонной кислотой.

Завтра с утра – на Синевирские озёра.

НЕОПОЗНАННЫЕ ТЕЛА

1 июля

Среди ночи проснулся: две девушки стоят над нами:

– Добри ве-ечор...

Они хотят проникнуть в дом через дверь, которую мы подперли четырьмя парами мозолистых ног. Самоуправство наше было произведено не без сомнений и даже предварительных споров, но паутина, щедро облепившая дверь, убедила даже щепетильную Верочку, что здесь не живут.

Между тем, я начал делать энергичные попытки вылезти из своих спальных доспехов. Ночью холодало, и всю ночь я наощупь таскал из рюкзака всё, что шло под руку, напяливая свитер на лыжную куртку и майку на свитер. Теперь оказалось, что верёвка от палатки чудесным образом прошла под свитером через рукав и воротник. Я поднялся, бормоча что-то про пауков, Мельчук по веревке поехал вниз, но был остановлен начальственным спальным мешком, из глубины которого послышалось рычание.

Девушки стали смущенно извиняться, говорили, что лучше переночуют у Одарки, чем доставят нам беспокойство, но я царским жестом рванул дверь, и они протиснулись к себе в дом.

Под утро дверь стукнула нас по пяткам. Я открыл глаза. Наши новые знакомые, успешно преодолев дверь, балансировали между рюкзаками. Заметив мой взгляд, они зарделись:

– Добре утро...

Потом они пили с нами какао и смеясь рассказывали, как испугались, приняв нас за пьяных.

Оказывается, председатель сельсовета, обнаружив ночью на веранде наши неопознанные тела, обиделся, что мы обошли стороной его как должностное лицо и не спросили квартиру.

Какие приветливые люди!

Уходим на Синевирские озера. Перед отходом утопили кружку в бурливой и весёлой реке Рике.

Интересно. Мы спали под дверью. Пришли хозяева и приняли нас за пьяных. В Москве вызвали бы милицию. Здесь – пожелали доброго утра и – что поразительно! – извинялись, что их не было дома, и некому было пригласить нас в гости.

Уходим...

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МАРШРУТА. РУСИНЫ

9 ч. утра 1 июля 1955 г.

Здесь живут *русины.* Красивые – с изумительными синими глазами. В шляпах, вышитых рубашках, но все – грязные, обшарпанные, пьяные. Мужчины разговорчивы. Женщины невзрачны и молчаливы.

Поднялись метров на 70-100. Лес. Я совершенно мокрый,

По существу, мы – букет типов. Четверо – и все разные. А посмотреть, как кто идёт под рюкзаком!

Янка – небрежно так, расслабляясь – как прожжённый туристский волк... Руки в боки, губы брюзгливо надуты, скучающий взгляд скользит по сторонам, ноги небрежно отмеряют дорогу, сзади болтается на рюкзаке соломенная шляпка с фиалкой.

Игорь весь мотается из стороны в сторону и без перерыва говорит, сверкая яркой губастой улыбкой. В очках, рыжий, со своим одесским акцентом он иногда походит на местечкового еврея у входа в синагогу.

Верочка – собранная, идёт молча, сжав губы, сощурив чёрные глаза на одну точку.

И в выцветшей широкой рубахе и «амнистированной причёске», в драной шляпе с пером, с гитарой на боку – «иду разгульный я».

Подъёмы. Спуски. Я узнал, что подниматься надо мелкими шажками. На первую же гору я пустился бегом, а потом пускал пузыри, а ребята просто сказали: «Надо медленнее».

...3 часа. Мы – в охотничьем шалаше. Дождь уже полтора часа. Лес. Зелёные пальцы елей с изумрудными ногтями. Мокрые волны лопухов.

Озер ещё нет, но есть тропка.

Говорят, я похож на бродячего музыканта.

Игорь жуёт и рассказывает:

– Два еврея решили справить какой-то праздник. «И чем мы хуже других, давай кутнём по-русски. Вот собрали деньги, пошли в город. Видят – вывеска: «Биллиард».

– О, бИльярд!!!

Заходят. Садятся. К ним подбегает человек. Они заказывают:

– Пару бИльярда!

Тот ушёл, ломает голову. Потом махнул рукой, помочился в пивные кружки и несёт им.

Отхлебнули приятели, смотрят друг на друга...

– Знаешь, Хайм? Если б я не знал, что это бИльярд, я таки сказал бы, что это моча...

Мы куда-то выперли. С травяного откоса – величественная панорама вниз, вдаль и в стороны. На горизонте клочья тумана пробираются сквозь голубые зубцы, а под нами, внизу, между плешивых угрюмых гор – серый гривенник воды.

Я трижды свищу и громко объявляю:

– Если б я не знал, что это бильярд, я бы сказал, что это Синевирское озеро.

Игорь подхватывает:

– Если б я не знал, что это озеро, я бы сказал, что это...

...Какая подлость! Это НЕ Синевирское озеро. Лесорубы сказали. Это – Полянское озеро. Мы сделали идиотский крюк. Крестьяне в Торуни ошиблись, они это озеро приняли за Синевирское, и крок – тоже обманул нас! Он был снят с отчёта другой тургруппы, – и те туристы тоже приняли это озеро за Синевирское.

Идём дальше. О, эти кроки...

Всё ясно. Ошибка была и в наших советских картах, и в австровенгерских, и в кроке тургруппы. То красивое озеро, к которому мы стремились, которое было обозначено на карте и о котором говорил нам в поезде ужгородский профессор Линтур, – это озеро мы видели. Это было Полянское озеро. На всех картах оно обозначено как Синевирское. А то, что здесь называют Синевирским, – искусственное озеро на Чёрной речке. Далеко отсюда.

У Полянского озера – одинокая колыба. К нам вышел паренёк лет 10-12. Красивая венгерская курточка, ряды блестящих пуговиц. Как всё здесь – красиво, но грязно. И бедно. Какие-то самодельные калоши, сшитые. Драные штаны. Однако – шляпа.

Паренёк с трудом понимает по-русски. Он глядит на меня горящими чёрными глазами:

– А це що?

– Авторучка...

– А це?

– Фотоаппарат.

Не понимает. Вернее – *не знает.*

А ведь ему не 12. Ему – пятнадцать лет. Не учился и не учится. Мать померла. Отец отправил сына к лесорубам стеречь *худобу.* Вот он и стережёт. Работает за харчи, старшего лесоруба зовёт хозяином.

Мы сфотографировали парнишку и стали объяснять, что такое адрес.

– Село твоё – Поляны... Так? А улица?

– Нэ знаемо...

– А звать тебя как?

– А?.. Як кликаты? Та Фриган. – Он улыбается.

– А отчество?..

– Нэ знаемо.

– Батьку твоего как звать?

– Няню штоль?.. Его – тож Фриган. Мы уси Фриганы.

– Так это фамилия, – заключает Игорь, в котором проснулся Шерлок Холмс. – И ставит убийственный вопрос:

– А кто ты по национальности?

Парень радостно улыбается:

– Русский.

– О! Ты – *русин!* – кричит Игорь, в котором проснулся Самуил Бернштейн, и что-то яростно пишет в книжечку. – Как все же звали твоего няню?

– Як кликаты? Та Иваном Михалёвым...

– Что? Хм. Теперь мне всё ясно.

Ты – Фриган Иванович Михалёв...

О!! Да ты знаешь, кто ты такой? Ведь ты – болгарин! – кричит Игорь и яростно пишет в книжечку. Парень боязливо глядит на него, а потом, показав на фотоаппарат, робко просит:

– Вы... картинку-то... не отцу шлите... Отец... он не отдаст. Прибьёт ещё... Вы – дяде её... Дядя у меня, Стефан Михалёв и тоже Фриган. Мы уси Фриганы. – Он опять улыбается. – Меня ещё Михаль кличут...

– Зна-чит... Значит, ты – Михаль Иванович Фриган... О!! Да ты – украинец! – кричит Игорь и яростно пишет.

Парень грызёт наш сахар и смеется. Мы уходим. Он идёт в хлев выгонять *худобу.* Маленький, похожий на десятилетнего.

...Ему пятнадцать. Он не умеет писать. Он не знает своего имени.

Какое у него красивое, точёное лицо. И какой добрый и пытливый взгляд.

А у дороги – большое распятие.

Входим в деревню Поляны. Длинные пятистенные избы, дверь посредине. Крутые высокие крыши из щепы нависают на стены: это *стриха.* Стены – из прямоугольного тёса, узкие веранды с перилами – *лавички.* Маленькие окна. Очень характерно – слуховые окошки в крышах – наплывом кровли. На строящихся хатах – в стыке стропил – еловая ветка: *судьба.*

Как красивы русины! Правильные славянские лица, прямые носы, чёрные волосы. Складки улыбки у рта под рыжими усами, и – чудесные темноголубые глаза. У всех. Темноголубые, спокойные, с хорошо заметным красивым верхним веком. Вот наши предки «в чистом виде»?

Говорят, при чехах туристы ездили в горы на мотоциклах, а на острове среди Полянского озера стояла специально для туристов пустая изба. Мы по этим тропкам ездим на пятой точке. Избу в 1945 году сломали наши пограничники. Зачем ей стоять? Ещё *ходить* будут... Так рассказывают здесь.

Сторож Илья Васильевич принёс нам молока и положил спать у *сильску раду.* Мы пригласили его к ужину, но он отказался на людях. Потом вечером, в темноте, ел нашу кашу, сидя на ступенях сильской рады. Сахар, которым мы его угостили, унёс *хлопцеви.*

Вечером в местной пивной Игорь делал доклад о Москве. Он бегал в табачном дыму, как в тумане, между рядами степенных людей в шляпах и разговаривал до тех пор, пока люди не стали клевать носами; мы вывели Игоря из пивной за волосы. (Здесь некая дерзкая рука вписала: «*Не было этого! Чушь!»)*

В руке – подмётка...

2 июня, Поляны

Спали в пустой комнате. Первый голос, раздавшийся утром, был голос Игоря:

– Часы стоят!

Тягостное молчание.

Из спального мешка – заспанный голос начальника:

– Объявляю коммунизм на сон: каждый спит, сколько может!

ПИСЬМО

Милый Вадим!

Пишу тебе из далёкой закарпатской деревушки, что лежит между зелёными горами почти по-кавказски бурливой речки Теребли. Сегодня второй день похода. Рюкзаки ещё тяжелы и ноги ещё болят, но я уже чувствую, что это – второй Селигер! Только тяжелее и потому – серьёзнее. Но пишется так легко, что, боюсь, не хватит бумаги.

В деревнях – красавцы-русины, голубоглазые, в поникших шляпах.

Словом – хорошо!

Как ты там? Надеюсь застать в Москве твоё письмо. Или, если успеешь ответить быстро, то – на адрес: Рахов Закарпатской области, до востребования. Целую тебя. Л.

Берег реки Ростоки. 12 ч. дня. Введены усовершенствования. Плащ кладётся между рюкзаком и «психикой». Плащ теперь называется «напсюшник».

Вообще словарь пополняется. Уборная – «оплот» (имеется ввиду оплот цивилизации). Шляпа, привязанная к рюкзаку сзади и болтающаяся между ногами, единодушно признана «переносным оплотом». Хулиганить за обедом – значит «мель-чучить».

Я уже вполне чувствую себя вьючной лошадью.

От Поляны по Ростоке дошли до плотины к полдню. Здесь меж лесных склонов желтоватое светится озеро. На берегу его мы сбросили ненавистные мешки. И всё прочее сбросили. Понеслись над озером стоны Яны Коршуновой, которая пыталась осквернить ледяные эти воды немытой ногой. Но она отказалась от дерзких мыслей, и мы, тягостно натянув рубахи, вернулись к рюкзакам. И опять пронёсся стон над озером, и дюжее кряхтенье, и через две минуты четыре рюкзака закачались по дороге на восток, вверх по Ростоке.

О, какая грязь!

Вчера, когда мы, переваливая последний из отрогов, тянулись вверх к хутору Озирня, мне казалось, что самое трудное – подъём. Когда от Озирни два часа мы скакали вниз к Поляне, я понял, что спуск – хуже, и утром, разгибая спину, вполне утвердился в этом мнении.

Теперь, после Ростоки, я твердо знаю; самое страшное в туризме – грязь.

Здесь она жидкая и чёрная. Ногами щупаешь в этом месиве брёвна. Балансируешь на эдаком квадратном дециметре,

а он так и ходит под ногой. Ботинок скользит, как насаленный, и тянет в жирную эту хлябь, и вот, не удержавшись, ты, наконец, падаешь – на спину, на рюкзак, на гитару. Теперь самое трудное – перевалиться вперёд и разогнуть ноги под тяжестью навьюченного тела, чтоб долго тянуть потом из жижи тяжёлый ботинок, на носке которого уже висит нечто, угрожающее оказаться подмёткой.

В один из патетических этих моментов мы-таки услышали голос Игоря:

– У меня в руке – подмётка...

Мы остановились, растерянно глядя на него. Он показал нам липкое доказательство произошедшей трагедии и прибавил невесело:

– Как же я пойду? Нести в руках собственную подмётку, вместо того, чтобы нести её на ноге, – это ужасно: она такая мерзкая.

О, рыжее чудо!

Ручей слева. Мостик. Налево и вверх. Лугом и лесом до вершины. *Вореня:* маленькое плато наверху, лужок с кучами... хвороста. Теперь направо – седловиной, мерзкой и скользкой, на *Струнгы,* на лысину соседней горы. Опять подъём, кажется, последний перед границей.

На вершине

Хэлло, крошка! Мы – на вершине этого хребта! Я сижу на полуметровом каменном столбе. С одной стороны его выбито: *Cs 1920* с другой – *P 1923.* Здесь проходила когда-то чешско-польская граница, это так, но теперь здесь проходит граница Закарпатской и Станиславской областей жизнерадостной Радянськой Украины.

Налево я вижу синие горбы чешских гор, направо лохматый шумит польский лес.

Хэлло, крошка! Я чувствую, как сквозь штаны мне вдохновляюще действует на психику холодный гранит пограничного камня.

А ты – чувствуешь? В этот волнующий момент, крошка, с тобой будут говорить участники нашего славного похода. Я предоставляю слово начальнику и волку – Яне Коршуновой:

«Даешь Es/F!!»

(Здесь дотошные комментаторы вписали *«франко-испанская»).*

Хэлло, крошка! Сейчас с тобой будет говорить известный бандит слова Игорь Мельчук. У него можно узнать, что стоит съесть два пуда каши кряду. Слушай!

Покинув свой домашний кров,
Мы нудно ищем гору Гроф.
На этом пограничном камне
Воскликнул я: к чему она мне?!

Слово предоставляется комсоргу Верочке. Сейчас мы услышим политический анализ и оценку событий:

«Гип-гип, ура!!»

Что я могу сам сказать тебе, крошка? Здесь, на этом камне, я думаю о тебе.

(Здесь комментаторы вписали: *«Хм??»).*

На северо-восток

Сваленный лес пересекает дорогу. Толстые – в обхват – стволы висят против глаз, выставив сучья: ни подлезть, ни перелезть.

Они лежат все перпендикулярно к дороге. Мы балансируем: идём по бревну до того места, где оно соединяется с другим, а это другое ведёт нас почти совсем обратно и, может, на какие-нибудь три метра продвигает нас к цели. Так, расходясь и сходясь, перекликаясь издали и с трудом удерживаясь на брёвнах, выписывая над дорогой замысловатый узор, мы идём на восток. К Пескаве.

Лес. Ноги проваливаются.

Жуём хвою. Витамин Це. Ещё есть муха. Лес.

Лес.

Сбились с дороги. Нам нужна река Пескава. Здесь какой-то обрыв, и ничего не видно. Сейчас полезем.

Лесистый, стянутый упавшими стволами, забитый зеленью обрыв. Градусов 75. Не меньше. Спускаемся от дерева к дереву, хватаясь за стволы, за траву, за ветки, вбивая каблуки в сыпучий лесной прах. От дерева к дереву – как из объятий в объятья. Пытаемся шутить:

– Я пробил себе ещё одно анальное отверстие, кто меня накормит теперь такого?

– А ты не падай на сук...

Игорь кричит:

– Если кто-нибудь скажет мне, что Карпаты легче Сванетии, тому я плюну в...

А пока что он, сорвавшись, бодро съезжает вниз на *пятой точке.*

...Сорок минут. Километр спуска. Ручеёк, родившийся там, наверху, окреп и раздвинул зелень. И сквозь ветки открылась нам внизу неширокая хмурая речка...

...Мы выползаем к ней. Пожалуй, это был один из самых романтических кусков пути. Во всяком случае впервые именно здесь я забыл, что рюкзак тяжёл.

Мы у реки. За спиной – зелёный винегрет. Это какая-то клоака – откуда мы выползли.

Ещё бы узнать, что это за река. Кажется, наверху мы сбились.

Темнеет. Выбираем место. Наш первый открытый ночлег.

Топорики, топорики,
Дрова, дрова, дрова.
Так вот она какая –
Эта самая трава...

Засыпая, Игорь декламировал стихи Виктуарда Марии Аруэ де Буканга из буканического цикла поэта Г. Ратгауза:

О, пышущая жиром кулебяка!
О пальцы, по которым жир течёт!
От полюса до Индии широт
Вам не найти вовек такого смака!

Ноги торчали из палатки, чёрные сухари скрипели под ухом, слышался шум речки, которая, наверное, Пескава.

ТРАПЕЗА.

3 июля

Солнце. Второй подряд солнечный день.

Завтрак – одно из лучших явлений походного дня. Довольные, мы сидим вокруг костра и ищем четвёртую ложку. Ложка исчезла... Я ем хлебной коркой.

Великолепный, сияющий Мельчук отправляет в рот добрую порцию каши и начинает:

– Слушайте, я расскажу вам гениальную хохму. Был козёл, никто не мог высидеть с ним в одной палатке более пяти минут – настолько он был... – Игорь запускает ложку в банку с кабачковой икрой, отправляет её в рот и смачно прожёвывает, – настолько он был вонюч. И вот устроили Конкурс народов – кто дольше просидит с козлом?.. Англичанин надел противогаз новейшей марки, полез и... выскочил через двадцать две минуты... Эй, куда ты хватаешь мой хлеб! Учти: я на него уже *выделил...* Да... Француз попрыскался духами, метнул в рот две мятных та-

блетки, напевая из Фигаро, полез... и выскочил через двадцать четыре минуты... Куда ты хватаешь мой хлеб? Я же говорю тебе, что я на него выделил... И вот идёт русский. Идёт просто так...

– Просто как?

– Просто так... Лезет – и через пять минут оттуда выскакивает – козёл.

Девчата визжат. Яна с кулаками бросается на нарушителя общественной нравственности. Нарушитель прикладывает палец к спасительному носу:

– Выделяю...

И нравственность с воплем отскакивает прочь.

Трапеза продолжается. Ищут банку трески. Она оказывается в янкином спальном мешке, в том месте, где ночью располагается её рот. Следует длинное разбирательство: как банка туда попала. Из мешка видны ноги Игоря и слышится его голос:

– А ещё здесь паук.

– А-а-а! Убей его!! – кричит Верочка. Через две минуты из мешка доносится убийственная реплика Мельчука:

– Я на него выделил.

– А он? – ахает Верочка.

– Он – тоже выделил...

...Через пять минут в кастрюле с кашей кто-то выуживает четвёртую ложку. Мы выскребаем миски. Вносят третье.

– На Кавказе, – говорит Игорь, – мы ели кашу из крошек чёрного хлеба...

– Фу! – Заключает видавшая виды Яна, – Дрянь – эпическая.

– Отнюдь! Главное – поперчить: шибает в нос, и никакой дряни не чувствуешь... Все. Я – отвалился...

Игорь встаёт и, качаясь, отходит от костра, в глазах его невысказанная мысль. Он глядит на нас тоскливым взглядом и вдруг разражается оперной тирадой собственного сочинения:

– Десять тысяч ана-а-альных отверстий!..

Девчата падают от ужаса.

(Прим. неизв. читателя: *«Жалко, что не в костёр»*).

Да, завтрак – одно из лучших явлений походного дня. Если бы после него опять наступал ночлег!

АЗИМУТ

Часы стоят, Наверное, полдень. **3-го июля.** Идём по азимуту 130°. Перевалили два хребта. Дороги нет. Продираемся лесом. Обрывы. Людей не видели уже сутки. Сегодня воскресение.

Есть! Около часа спускались с этой Чёртовой хребтины, Это очень похоже на Пескавскую клоаку, только здесь ещё и плывун. Теперь мы внизу, около речки. Наверное, это Ломница. Течёт на северо-северо-запад.

Здесь на гигантском бревне вырезаем мы знак туристов-филологов, наш символ – Юс Большой.

Параллельные хребты идут к югу. Нам – на восток. Азимут 120. Лезем. Ещё один хребетик...

Около 3-х ч. дня. Уже сутки не видели людей. Уже сутки идём без тропы. Уже двое суток – нет жилья. Наши кроки, снятые в турклубе, не соответствуют друг другу.

Лес. Лезем на восток.

Мелькнула человеческая фигура. Мы бросили рюкзаки, побежали, стали звать... Нет. Исчез. Показалось? Или – он испугался нас. Нас?! Маловероятно. Тогда чего он скрылся?

Кто знает... Чужая душа – закарпатский лес...

Лезем выше.

Азимут 120°. Вверх. Хэлло, крошка. Я думаю о тебе.

Сегодня Игорь несёт мою гитару. Несёт – и *мельчукается.* Теперь он поймёт, почему я зову её Стервой.

Как это интересно: идти сухим лесом!.. За спиной – пулемётный треск ломающихся сучьев. Схватишься за ствол – и он мягко валится вместе с тобой.

Вечереет. Мы так и не кончили спуск с этого хребта. Долины почему-то нет, а есть новый подъём. Перекусили наскоро и пошли вдоль склона на юг.

Если бы как-нибудь перескочить на восток через эту длинную гору. Там должна быть долина Быстрицы – наша цель.

Мы, кажется, поднимаемся на тот же хребет, с которого спускались после обеда. Идиотская гора. Круглая. Такое впечатление, что мы идём вокруг конуса. Она отгибает нас к западу, а нам надо на восток.

Пот капает на книжку.

Мы так и не добрались до верха этой Чёртовой горы. Решено ночевать здесь.

Какой первозданный, нетронутый, дикий лес! Огромные мачтовые сосны когда-то росли тут, но вот они умерли – и только остовы их остались, высокие, окаменевшие остовы, из которых давно уже отлетела душа... И кажется, что не из земли поднялись к небу эти гордые великаны, а чья-то озорная рука воткнула их в землю... Молодая поросль уже не растёт у их подножий, а только скользкий дремучий мох, да прадеды

их, что упали здесь и гниют, рассыпаются, чтобы снова стать землей.

Здесь не встанет проблема сухих дров – сучья, чёрные и прямые, торчат отовсюду, и чёрные бороды сухой плесени свисают с них.

Но здесь нет лапника. И – уклон в 30 градусов.

Мы долго и безуспешно ищем кусочек ровного места для палатки. Увы.

Игорь говорит:

– Я могу «переночевать вас» на уклоне в 80 градусов. Это очень просто. Поперёк кладётся бревно, в него упираются ногами и ночью по команде дружно отжимаются, чтобы не съехать.

– Молчи, уклонист, – тоскливо отзывается начальник.

– Здесь не надо вставать, – хнычет Верочка, – здесь эти кошмарные синие улитки...

– Синие улитки? – поднимает брови Мельчук. – Бей синих!.. Вспомним, что мы – красные! Под откос синих! – и палкой он сковыривает вниз огромных и синих, как авторучка, улиток.

НОЧЬ СИНИХ

4 июля

Утро.

Эта ночь войдёт в историю как *ночь синих.*

Палатка стояла на крутом склоне, уцепившись одной рукой за дерево, а другой опираясь на палку, словно старик. Снизу было видно, как оттянуло её вниз мешком белое тело Яны Коршуновой,

Вечер прошёл под лозунгом «Бей синих!» Янка лежала у костра, завернувшись в спальный мешок, и стонала:

– То есть... Если б я не боялась этих страшных синих улиток, то я бы сказала, что здесь можно выспаться эпически...

На что Игорь ей лирически отвечал:

– Молодая, прекрасная Я. Коршунова легла у костра, надеясь выспаться. *Синие* ликовали: они любили нежное розовое мясо.

Янка визжала и замахивалась мешалкой.

Однако надо было ложиться. Стали спорить, куда головами: к окошку или ко входу. Голоса разделились. Игорь и Верочка решили лечь к окошку. Они боялись синих. Мы с Яной – ко входу. Мы боялись соседства с их ногами, но ещё больше боялись духоты. Улёгшись, долго не могли уснуть! Мельчук осыпал нас

насмешками и клялся, что мы не вылежим рядом с его ногами и десяти минут. Я напомнил ему его собственный анекдот и выразил уверенность, что в полночь он сам выскочит из палатки, как тот козёл.

Приятное воспоминание об анекдоте подействовало на неустойчивых сателлитов – Верочка забеспокоилась и сказала:

– Ты не находишь, что у этой палатки слишком маленькое окошко?

– Это одно из *десяти тысяч* отверстий, – стойко ответил неумолимый лидер.

Наконец, стихло. Уже мирно сопела вся палатка, и, казалось, ничто не тревожит трудный сей отдых, как вдруг вновь проникновенно и задушевно зазвучал знакомый хрипловатый голос!

– А там, внизу, окружив нас полукольцом лежат синие и ждут...

Все молчат, но на две минуты прерывается сопенье...

...Я не мог заснуть: ноги мои были выше головы. Через час, не выдержав, я втащил к окошку свой рюкзак и перелёг. Вслед за мной сдалась и Яна. Мы копошились осторожно, чтобы оппоненты не проснулись и не увидели нашего позорного бегства.

Вдруг среди мирной тишины раздался торжествующий вопль от которого дрогнула палатка:

– А-г-а-а!!. Они сдаются!!

– Молчи, Мельчук, то есть, – скорбно ответствовала Яна.

Верочка ткнулась в мой рюкзак:

– Ой, тут что-то появилось...

– Это Лёськин рюкзак! – ядовито отпустил Игорь. – Я уверен, что в него набились синие. Спущай его под откос! – И они ногами скатили мой рюкзак ко входу.

Последним звуком этого дня был тяжёлый вздох Яны:

– Наконец-то я чувствую себя человеком, а не летучей мышью...

...Проснувшись наутро, я увидел Игоря, сидящего у входа в палатку и высматривающего что-то на земле:

– Нету, – шепнул он мне. – Они не приползли...

– Кто?

– Синие. Жаль. Пойдём, найдём и подложим девчатам.

В этот момент четыре мощные ноги выбрасывают нас из палатки. День начинается.

Сегодня мы должны дойти до любого ручья, который течёт на запад. Пройдя по нему, мы непременно выйдем к Быстрице.

Таким образом мы перейдем наконец этот двойной водораздел. А для этого надо сначала вырваться из этой проклятой круглой горы, вокруг которой нет долин.

Мы назовем её *Монте Ажуль* (Гора Синих).

Игорь режет юс.

Хлеб съели. Перешли на сухари.

На Горе Синих оставили тур: банку с запиской:

«В этом прекрасном и диком месте впервые из московских туристов были в этом сезоне филологи МГУ Коршунова, Аннинский, Мельчук, Абызова 4 июля 1955».

ТАК ВОТ ОНА КАКАЯ

11 ч. утра (наверное).

Поднимаемся уже более получаса. Открывается панорама. Всё это – ниже нас. И верхушки гор – маленьких этих смешных гор – они – тоже – ниже нас!

Ещё выше. Ещё выше... Ещё выше!!

Последние метров 700 продирались сквозь ползучую лесную хвою. И вот – самая высокая точка этой всей гряды. Небольшая каменная площадка, и во все стороны – воздух.

Отсюда смешным горбиком кажется гора Синих, туманными полосами вьются те долины, в которые мы подолгу спускались эти дни, а дальше – всё дальше и дальше – один за другим, один смутней другого – синие хребты. А где-то совсем далеко, там, где их мутные оЧёртания смешиваются с мутным зноем, – там что-то клубится, и слышен гром, и дождь этот идёт, наверное, в самом Торуне...

Сколько воздуха! Кругом – воздух! И только на юго-востоке горбится вершина, которая выше нас, и на ней – снег.

Яна хочет, чтобы мы пошли разведать тропу. Вера хочет пить. Игорь говорит, что хочет «к Лёськиной маме».

Вниз. Дикой звериной тропкой. Повисая на ветвях.

Нам нужна речка, текущая на север, любой ручей. Тогда – Быстрица.

А если не найдём?

Мы слушаем, слушаем речку.
Нет; то шумит листва.
Так вот она какая –
Эта самая трава!

Каменные осыпи. Серые камни под ногами, под глазами. Серые капли пота – по камню.

– РУЧЕЙ!– Этот крик невольно вырывается у всех...

Игорь спрашивает Яну:

– Что хуже, чем упасть с рюкзаком?

– Не знаю.

– Упасть с рюкзаком и гитарой!

Он несёт с вершины мою гитару и тоже зовёт её Стервой.

– А что лучше банки сгущёнки?

– Не знаю, отстань!

– Две банки сгущёнки.

Над нами тучи Долго хохотали,

Потом заплакали.

Мы вынули плащи.

Выяснилось, что на этом спуске Игорь потерял плащ-«напсюшник» и поломал очки.

– Чёрт! – Верочка рассматривает ноги. – Вот это царапина!

– Десять тысяч Чёртей! – кричит Яна, колдуя над компасом.

– Десять тысяч ана-альных отверстий! – вопит Игорь над дужками очков.

...Дождь.

Лезем под ближайшую ель. Ждём.

Дождь. Пишу, прикрывшись плащом. Над нами – широкая ель, она растёт прямо на склоне, выгибаясь, и мы, четверо, свободно приваливаемся к ней, не опасаясь упасть.

...Едим сухари и консервы. Выброшен лозунг: не мельчукаться!

Игорь поднимает рыжие брови:

– Это что! Вот в детском саду был в столовой выведен лозунг: «Девочков не надо бить, Надо девочков любить! Трумен – бяка! Атомная бомба – кака!» .

Итак – ручей. Долгожданный ручей, текущий на восток. Он рождается на седловине из снежного пятна – и поворачивает туда, куда нам надо. И мы идём вдоль него. На восток.

Он всё звонче и бурливей, он принимает в себя другие ручейки, он растёт и раздвигает ущелье. Сквозь лес мы проламываемся, треща ветвями, мы скачем по скользким зелёным плывунам и по гнилым стволам, мы проскакиваем над обрывами, схватившись за мокрые руки деревьев, мы удаляемся и приближаемся – но мы всё время слышим говор нашего ручья, весёлого, сильного ручья...

– Наверное, это и есть Быстрица, – говорит Яна.

– Мы видели её рождение, – подхватывает Верочка.

– И не плюнули в исток! – сокрушенно заключает Игорь.

...По берегу пошла крапива. На десяток шагов мелькнуло подобие тропки.

Конский навоз!!! Значит, впереди долина, деревни, люди! И Яна замечает грустно:

– Это значит: конец нашей *ненаселёнке...*

Теперь, когда уже почти бесспорно, что мы вышли из этого горного лабиринта, – она позволяет себе идти в середине, в хвосте группы. А вчера, когда каждую минуту возникали сомнения, и каждую минуту вынимали компас, – вчера она шла только впереди.

Между прочим, Игорь регулярно спорит с Янкой. Обо всём: о маршруте, о том, где встать на ночёвку, о том, из чего следует есть консервы: из банки или из миски. Споры носят односторонний характер: Игорь горячо доказывает, нападает, делает обманные ходы, сокрушает противника потоком аргументов, уничтожает его язвительными насмешками, а Яна идёт молча и делает своё дело, как полководец, слишком умудрённый, чтобы тратить драгоценное время. А через полдня Игорь неожиданно говорит!

– Знаешь, Янка, ты была права, – поднимает руки к небу и изображает на лице скорбь и сознание своей ничтожности. А Яна всё так же идёт впереди.

Идём узкой травяной полоской над обрывом к нашей реке. Вдруг – сильный всплеск: что-то тяжёлое упало в воду. Тягостное молчание. Голос Янки:

– Знаете? Меня спас рюкзак – он зацепился за берег. Тут кусок берега провалился.

Молчание. Яна осторожно отодвигается от осыпи. Опять голос, веркин:

– Игорь, встань Яну!

И, наконец – голос Игоря:

– Она сегодня слишком много ела, вот под ней и валится.

Это – разрядка. Мы идём дальше.

Речушка наша расширилась. Её уже не перескочить и не перейти по камушкам. Перекидываем через неё два бревна. Яна первая переходит на тот берег, я становлюсь посредине «мостика» и, балансируя, передаю ей на тот берег рюкзаки, плащи и Стерву. Вместе с последней охапкой напсюшников бревно сдвигается, и я черпаю ботинком...

...Опять попытка перейти вброд на другой берег. За пятнадцать минут накидываем из камней косу, врезающуюся в речку. С конца косы я перекидываю через неё широкое бревно, и оно, не достав концом берега, мирно уплывает по течению...

...Янка пошла искать переправу. Через две минуте мы увидели её меж зарослей: она стояла на конце толстого бревна, над самой серединой реки, балансируя и не решаясь прыгнуть.

Игорь охнул.

Так же балансируя, Яна сняла рюкзак, раскачала и бросила его на тот берег. Он упал у самой воды. Потом она прыгнула сама.

Покорно и доверчиво идём к «переправе».

– Извиняюсь, но *прыгать* я не умею, – объявляет Игорь, робко ступая на наклонный «бум», – я не в состоянии.

В ту же секунду он шлёпается на бревно вместе с рюкзаком. Уже не помню, как и куда мы бросились в следующий момент, но явственно помню крик Игоря:

– Рюкзак, рюкзак тащите! Я-то как-нибудь... Намок, сволочь!

Вдруг потемнело. Мы бежим по откосу, цепляясь за деревья, проваливаясь на осыпях. Надо вставать на ночь. Ни одного ровного места! Камни, заросли, крутой склон...

И шумит река.

Вечереет?..

Мы цепляемся за камни. И здесь настигает нас эта мерзкая сизая туча, выросшая за спиной. Плащи мешают, цепляются.

Какая-то площадка среди елей. Трава. Так вот она какая.

Времени нет. Бросаем рюкзаки. Темно. Дождь усиливается.

Здесь – палатку. Здесь – костер.

И – издевательский голос Игоря:

– А где мы устроим *оплот?*

ПЕНИЕ ПТИЦ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ

5 июля

Утро. Я просыпаюсь оттого, что мокрая стенка палатки залепила мне лицо. Итак, первый ночлег под дождём. Правая рука и плечо насквозь мокры. Барабанит дождь. И – нескончаемые сухари под ухом.

– Б-р-р, – Игорь начинает день. – Я мёрз!

– Ты – мэрз! – уточняет Яна.

– Хм, – а что это за твёрдая стерва всю ночь лежала у меня под боком? – не унимается Игорь.

– Как это «что за Стерва»? – открывает глава Верочка. – У нас одна Стерва... Я вчера засунула её под палатку от дождя. Если за ночь она сумела под тобой не сделаться мягкой, то Лёська ещё сможет на ней играть.

Я вынужден прервать запись...

...Костёр под дождём. Ломаются спички. Бумага тлеет и дымится, мокрые веточки сворачиваются красными жгутами и гаснут... Ещё несколько спичек... Дымится бумага. Голубой огонёк трусливо облизывает её край... Мы наклоняемся над ним, мы просим его, мы подкладываем ему самые тонкие, самые хрупкие, самые вкусные веточки.

С неба падает отвратительная, жирная капля:

– Пшшшш!

Жалкая струйка дыма – и всё сначала.

Ломаются спички... Я держу над костром свою шляпу, мокрую, дырявую шляпу. С неё идёт пар, на неё плачет дождь, а под ней – хитро прищурился призрачный огонёк – залог горячей и вкусной рисовой каши.

Идёт дождь.

Поют глупые птицы.

(Прим. Неизв. критика: Птицы не могут петь во время дождя).

И так вся жизнь проходит...

Утром пересчитали запасы. Маловато. Наверное, ошибся в расчёте. Решили поднажать до Рахова. Там нас ждёт Джан Дорри со сгущёнкой.

Девчата дали зеркало. Впервые за эту неделю я увидел себя. Круглое красное лицо, жидкие пёрышки волос – и – борода. О, какая борода!

...Дорога!! Впервые за трое суток – так что можно идти нормально, не рискуя ежеминутно соскользнуть, зацепиться или сорваться.

Не могу забыть, как сегодня вечером я подпирал стенку палатки прутьями, чтоб не падала на лицо. Со вчерашнего вечера бесконечный и нудный дождь.

Ну вот, мы и встретили людей. Мы не видели людей трое суток. Как было хорошо.

...Это не Быстрица!!! Это – Довга Поляна. И дорога эта – не в село Быстрица, а в село Осмолоды... Мы где-то промахнулись. О, эти начальники!

Оказывается, гора, на которой мы вчера были, – одна из вершин Попадьи – третьей горы Закарпатья. Ай да Яна, ай да начальница!

Кончилась плёнка, и негде перезарядить аппарат.

5 ч. дня. Ризарня. Вышли сюда по шпалам узкоколейки из ущелья реки Довга Поляна. Общежитие, о котором в Поляне Илья Васильевич говорил нам, что до него от границы 2 км, прошли в 2 ч. дня – через *трое суток* после границы. О, начальники... От Ризарни через Дарив попробуем на паровозе доехать до Брустуры и опять вернуться в Закарпатье с этой дождливой и обманчивой Станиславщины.

А пока – мы сидим в шалаше у костра, и украинцы-лесорубы шумно обсуждают наш маршрут.

Что-то трогательное и, вместе с тем, неловкое – в том, как один из них вызвался проводить меня «у тимну хату», чтоб я мог перезарядить фотоаппарат, как осторожно вел меня через грязь, следя, чтобы я не оступился, и придерживал одеяло у меня на коленях, когда я сидел на ящиках в тёмной конюшне. А когда я спросил позволения переодеть майку, сказал пацану:

– Выйдемо. Они переодеваться хотят. – И ушли. И было во всем этом нечто трогательное и – неловкое, даже неприятное.

И ещё: Попадья была вовсе не та!

И Брустуры – тоже вовсе не те...

Здесь всего – по два экземпляра.

Вечер 5-го.

Теплушка на узкоколейке. Втиснулись в тёмный вагончик, набитый людьми и мешками, затарахтели к югу. Сели на рюкзаки и чьи-то ноги. Вынули гитару. Игорь обратился ко всем окружающим:

– Сейчас вы нам что-нибудь споёте.

Все смущённо отказались. Кто-то на ходу выскочил из вагона. Какая-то маленькая девочка заплакала.

– Ну, тогда мы вам споём...

Стало тихо.

– Давайте «Пятую точку», – предлагаю я шепотом. Комсорг Верочка сильно бьёт меня в бок:

– Ш-ш-ш... С ума сошёл...

Мы поём что-то высокоидейное...

Проходит час. Теплушка прочно стоит, и слышно, как где-то впереди перекликаются машинист с кочегаром о каком-то Ваське, который пожалел какого-то угля. Люди с мешками по-

степеннно сходят. Оставшиеся с любопытством и ожиданием глядят на нас.

– Ну? Что мы ещё споём?

– «Пятую точку»...

Кулак комсорга Верочки снова обрушивается на мой бок. Я сдаюсь и предлагаю «Белла чао» – песню красных итальянских партизан. Комсорг Верочка наклоняется ко мне:

– Ты с ума сошёл! – шепчет она чуть слышно, но зловеще. – Надо знать психологию местного населения. Что они о нас подумают, если мы запоём тут на незнакомом языке...

Мы поём что-то высокоидейное...

...Второй час стоит теплушка. Ночь спустилась. Мы уже одни в вагончике, только лесной сторож, пообещавший пустить нас переночевать, сидит в углу, да маленькая девочка дремлет на мешках.

Мельчук пристально смотрит на Верочку. Он голоден! Мы не обедали сегодня. Комсорг Верочка отодвигается в дальний угол. И остервенело рыжий дьявол поёт *по-испански гимн анархистов!!*

...Вот уж больше двух часов стоит вагончик. Тишина кругом. Мы сидим на мешках и уныло поём «Пятую точку», и комсорг Верочка не бьёт меня в бок кулаком.

...Ещё полчаса. Комсорг Верочка пытается выпрыгнуть в окошко, а мы, повиснув на её руках, торжественно и победно поём ей в самые уши:

Быть может, старая!!
Тюрьма Таганская!!
Опять же ждёт тебя!!
Под Новый год,
Та-ган-кааа!!!

Вот уж полночь, наверное. За окошком теплушки – чёрная ночь. Шумит маленький водопадик, от которого мы никак не можем отъехать. А в вагончике – при свечках – Игорь Мельчук по ладони предсказывает судьбу комсоргу Верочке...

6 июля

Мы в Полянах. Но не в Синевир-Полянах, как 1-го, а в «просто Полянах». Сколько же здесь Полян! Яна рвёт и мечет. Игорь, напротив, доволен; в этих обильных Полянах чудится ему древний Киев.

Лесник привёл нас в «общежитие». В узкой долине между лесистых гор построено три барака и названо Поляной. Тут живут лесорубы.

Тёмный душный сруб. На двухъярусных полатях спящие парни и девчата. Тусклая лампа на стене. И опять что-то неловкое в том, как закопошились люди, как стали отползать по полатям в угол, освобождая нам лучшие места, как извинялись за то, что уже израсходован весь кипяток.

Утро. Выходим умываться. Под ногами – грязь, смешанная с навозом. Над головой отвратительно тяжёлое, мутно-серое небо. Мы решили не уходить, пока не починимся и не обсушимся капитально и «эпически». Нас отвели под маленький навес с печуркой, Юля – девочка лет 15 (ещё даже не смущается) – брызнула на дрова бензином. (NB! Брать в поход бензин!) и в печке зашумело. Сразу все пространство под навесом наполнилось паром, носками, рубахами и жалобами бреющегося Игоря. Через пять минут он уже опять был «цельнобритый», сияющий и неотразимый.

Какой обложной, мерзкий дождь. Набиваем рюкзаки и вздрючиваемся. Мимо проходит сторож, устроивший нам ночлег:

– Ну, как, обсушились?

– Слава богу, Василь Николаич!

– И что же – опять в дождь??

– Опять, Василь Николаич...

– Так чего ж вы так сушились???

– Такова жизнь туриста: обсох – и снова мокнешь, и ищешь места, где б обсохнуть, чтоб опять намокнуть...

– Д-а-а, – старик качает головой, – *и так вся жизнь проходит...*

К МОКРЕ!

Идём на юг. Три километра по мелким скользким шпалам, два перехода через речку, баланс на брёвнах.

Каблук – аут.

Вошли в лес. Вода по щиколотку. Идём на юг, в Мокрю – снова в Закарпатье. Мокря! Она у меня в ботинках!

Дорога свернула к западу. На юг от неё сбегает с горы скользкая тропка. Мы в нерешительности. Объявлен военный совет.

Первой берёт слово начпох Яна Коршунова:

– То есть я за то, чтобы эпически перелезть эту гору. Она – в направлении. Топаем.

Второй говорит комсорг Верочка:

– Знаете, братцы, как хотите, но я – за дорогу. На горе можно заблудиться. Там мокро. И вообще – я боюсь животных.

Гитаро-фото-аннальщик молча указывает шляпой на гору. Мнение Мельчука должно решить спор. *Главхох* стоит, подняв брови, и ждёт. В душе отважного бродяги и пирата – борьба: или подлая дорога в обход, или горная тропа прямого пути. Верочка никнет. Когда пауза делается нестерпимой, брови Мельчука смыкаются, рот сжимается: он принял решение. В наступившей тишине твёрдо и просто звучит его хрипловатый голос, заставляющий нас содрогнуться:

– И что же вы себе думаете? Я-таки да – за дорогу!

Однако, взвесив все «за» и «против», надо решать: нет ничего важнее и ответственнее в походе, чем правильный выбор пути; всё зависит от этого; здесь – вся мудрость начальников, вся их мысль, весь прозорливый гений.

Мы оборачиваемся к Янке. В исторический сей момент гремит неумолимый голос начальника:

– Бросай жребий!

Слышится возня, потом дрожащий голос:

– В левой...

В наступившей тишине раздаётся хриплый хохот, потом звучит плевок, и четыре пары ног шлёпают по *дороге.*

...Сегодня самый сырой, самый противный день. У меня насквозь мокрые штаны. И не только.

Мы на высшей точке водораздела.

Поваленный лес. Чёрные сучья торчат, словно из земли. Отсюда опять видно Закарпатье. Серые лысины гор плавают в сером тумане, и серый частокол леса перевит этим серым туманом, словно клочьями ваты. Вот оно, вожделенное Закарпатье...

О, с меня совсем свалились штаны!

...Спускаемся на юг старой заброшенной горной дорогой. Уже можно болтать.

Игорь:

– Я не понимаю таких женщин, как Кэтрин. Это в «Дипломате» Олдриджа. Я их не понимаю. Чего им от нас надо? То она бросается тебе на шею, то – поворачивается к тебе *психикой.*

– Делает психикой, как Яна делает ручкой.

– Кэтрин не виновата. Это – в природе у них: женщина не может время от времени не поворачиваться к нам *десятью тысячами*...

– Тьфу на вас! – не выдерживает Верочка. – Что за жаргон! Это называется: туристы вышли из ненаселёнки.

Вечер.

15 км от Молочной полонины до деревни Немецкая Мокря – по берегу Тересвы. Дождь, грязь.

В Мокре – ночлег?

Голубоглазые дровосеки ласково улыбаются нам:

– До Мокри? Та недалече... Одиннадцать километрив.

Идём.

Какой-то старик в городской соломенной шляпе качает головой:

– До Мокри? Далеко-о... Десять километров!

Идём.

Неуклонно приближаемся к Мокре. Неуклонно! Ночлег, ночлег!..

Семь километров... Четыре...

Мокря уже в ботинках...

Полтора...

Течёт, течёт, течёт за ворот... Километр остался.

Дождь. Дождь. Дождь.

...Сквозь туман проступают дома. Мы входим в Немецкую Мокрю. Аккуратная, ровная шеренга лип. Как по линейке – угрюмые дома. Срезанные с углов крыши, как скошенные лбы, нависают над окнами. Одинаковые окошки в белых кантиках – по два в каждом доме – одинаково, как через очки, уставились на пришлецов. И в каждом окне – как бельмо – занавеска, и два-три равнодушных лица.

– Переночевать?.. Та нема мисту...

Мрачная, мрачная деревня. Массивные заборы, как ошейники, равняют в цепь бульдожьи головы домов – с этими нависшими лбами, с белыми глазами окон, с белыми фундаментами, похожими на губы, прижатые к траве...

– Переночевать?.. Нема мисту.

А дождь льёт.

Школа на замке. Директор в отъезде. На стене его дома подвешена под крышей аккуратная лесенка – как карандаш за ухом хитрого торговца.

Две белёсые девушки в чёрных жакетиках испуганно глядят то на нас, то на часы. Мы нелепо стоим среди улицы под дождём.

– Ди нахт фербринген?..

– Да, да, мы совсем вымокли...

– О, нихт плац... Найн.

Мы угрюмо отходим. Рихтихь... *Порядок...* Нихт плац. Здание школы добросовестно выбелено. Напротив – кирха, во всей лютеранской выправке. Тоже выбелена.

Темнеет. Прошли всю деревню. Последний дом. Вывеска: «Лесничество». Какая-то коричневая изба. По окнам текут струи, сбегают вниз и красиво волнуют лужу. Как быстро стемнело!

Распахивается окно лесничества. Голубоглазое круглое лицо. Широкая улыбка. Мальчишьи усики по углам рта. Мы бессмысленно глядим на эту улыбку...

– Туристы?.. Заходите с заднего крыльца...

ЗУБАНЮК

И вот мы в комнате. Перед нами – Николай Филиппович Зубанюк, двадцатипятилетний заведующий лесничеством.

Печка. Николай Филиппович колет дрова. Колет артистически – как играет. А мы стоим рядом и светим ему фонариками. Топора не даёт.

Тепло. Наконец-то этот бесконечный дождь – позади.

Хозяин глядит на нас, улыбается:

– Завидую я вам, туристы. Хоть и сам бы с вами пошёл. Когда я в техникуме в Черновицах учился, у нас тоже была коммуна: три начальника и один подчинённый... Хорошо... – Он улыбается светлоголубыми глазами. – Ну, обсыхайте, согревайтесь... *Туристы...*

С ЗУБАНЮКОМ

Вечер.

Николай Филиппович сидит с нами за столом, пьёт чай, молодой, милый, чем-то напоминающий мне Вадима. Не без юмора рассказывает о том, как полгода назад его сделали здесь лесничим. Поле деятельности тут было воистину не пахано: все пили и все шатались. Лесничество так и называлось: *пьяное* лесничество. По воскресениям в Калачаве – непременные драки, без убийств, но не без членоувечий. Как-то двое лесорубов задумали *избить немца,* и уже нашли такового, но пока они для полноты удовольствия накачивались перед этим в буфете, дошлый немец сбежал. Не пропадать же энергии! – молодцы эти так обработали *друг друга,* что один из них был отправлен в больницу. Буфетчица (между прочим, хозяйка хаты, которую снимает Н.Ф. – слушает его вместе с нами и с удовольствием

сама вспоминает) проявила тогда замечательную находчивость и спасла деревню от неминуемого побоища, мгновенно заперев дерущуюся пару и лишив таким образом воинственных односельчан возбуждающего зрелища.

В этих-то условиях начал работать 19-летний лесничий. Убеждал, уговаривая, выгонял с работы, скручивал в бараний рог – добрейший голубоглазый парень, и пред ним склонились понемногу. Опомнилось пьяное лесничество, и лесорубы его ревностно стали беречь дело, и пошла из земли хрупкая завязь, которую любовно и ласково зовут здесь: *лесной молодняк.* В этой округе был уже у него защитник.

Вот он сидит перед нами. Наш ровесник. Улыбается. Пьёт чай и рассказывает нам о лесе, влюблённо перебирая названия деревьев. Чуть иронически жалуется на то, как трудно совмещать работу с заочным отделением Львовского лесного института; тормозит немецкий, а в отношении спецдиспиплин институт даёт не намного больше техникума.

– Курсы – те же, только в институтских программах воды больше. Думают, без этой воды лес не вырастет.

Так сидим мы до глубокой ночи. Говорим о Москве – и о чудесном закарпатском лесе.

– О, если б не эта горилка, – говорит Н.Ф. – А то ведь из-за неё приходится мне воевать с хозяйкой этой хаты. У меня – план, а у неё – свой план: продать зелья побольше..

– Да-да! – доносится с полатей притворно сердитый голос буфетчицы. – Ты мне не срывай дела, у меня ведь тоже – *план.* – И они начинают шутливую перебранку.

До 1949 г. в этой деревне жили немцы, сбежавшие было в 1944 году в Швабию, но милосердно приглашённые победителями вернуться в родные места. Их встретили оркестром и речами, а через два года всех выслали в Сибирь. Только две немецких семьи остались в деревне: их дома можно узнать по цветочкам на подоконниках.

Один из этих немцев ночью вышел к нам в одних трусах, чтобы дать пилу, топор и немного дров, которые попросил Зубанюк для товарищей туристов.

Больше нет немцев в деревне Немецка-Мокря. Одни лишь тупоносые, просторные дома остались, да само название... «А Марко уж нету, от Марко одна только песня осталась...» Впрочем, и название уже, кажется, сменили.

Вот и конец дня. Лесничий крепко жмёт нам руки и уходит. Нет, но какое лицо! Какие глаза! Какая улыбка! И – какой человек!

2000. Два десятка лет спустя только смог я попасть снова в эти места: впервые решились мы оставить подросших дочерей на попечение моей мамы: шестилетнюю Катю и двухлетнюю Настю, – и тогда рванули в Закарпатье *на неделю:* мы с Шурой и Володя Друянов. Пошли из Ясиней в Рахов и дальше на север. Меня поразило, с какой лёгостью и точностью попадали мы в нужные места – те самые, какие никак не умели найти в 1955-м: Синевир, граница... Конечно, не могли мы обойти и Немецкую Мокрю. Старый лесник охотно показал нам дорогу. Под конец недлинного разговора я, почти не веря, что такие совпадения возможны, спросил, не помнит ли он Николая Филипповича Зубанюка, который работал тут в незапамятные времена.

– Зубанюк? Знаю его. Год назад вышел на пенсию и уехал в райцентр...

Горячая волна ударила мне в грудь: привет из юности!

Мы простились.

Последнее, что тихо сказал мне старик-лесничий:

– Пил он много, Николай Филиппович. Тосковал.

ИЗ МОКРИ В ЧЁРНУ

7 июля

Утро.

Дом, в котором мы ночевали, – большой и крепкий, немецкой постройки. Три просторнейших комнаты. Две из них пусты совершенно, в третьей – кровать, две лавки и столик с радиоприемником: здесь живёт хозяйка-буфетчица, весь её скарб умещается в углу одной из комнат. Я прошёлся по замысловатым закоулкам и коридорчикам просторного немецкого строения. Выбитые стёкла, заржавленные шпингалеты на окнах. Отдельная уборная внутри дома – с «предбанником» и двумя дверьми – уже без задвижек...

Говорят, когда-то была в деревне специальная изба для туристов. Потом – развалилась. Хорошо! Туристы должны уметь спать в палатке!

...Сейчас, когда я пишу эти строки, сидя за столом в поглядывая на бородатое лицо в зеркале, – на полу ещё спят мои друзья. Но вот зашевелился спальный мешок, обнаружив в своём отверстии начальственный нос Яны Коршуновой, и до меня донёсся её заспанный голос:

– Лёська, щелкни хозяйку...

Я перестал писать. Хозяйка, гремевшая посудой у печки, посмотрела на меня, потом на топор, что лежал у моих ног, и тихо вышла.

– Ой!! – Донеслось из спального мешка, и он лихорадочно задвигался. – Чего она ушла?

– Ты велела её *щёлкнуть...*

– Я же про фотоаппарат.

Из-под соседнего одеяла раздался знакомый хриплый хохот. Дождь.

Мы уходим в Усть-Чёрну. Хозяйка, стоя на пороге, провожает нас сочувственным взглядом:

– Да неуж вы по своей воле так идёте?

– По своей, хозяюшка.

– О, господи...

Мы оставляем ей пачку сахару. Она ведёт нас к дверям через замысловатые немецкие коридорчики, через пустые комнаты, мимо пустых окон, на одном из которых – последним впечатлением – запоминается недопитая бутылка.

Русская Мокря. ОРС закрыт. Продавщица уехала. В лавке ревизия. Наши рюкзаки трагически полегчали.

При выходе из Русской Мокри – арка, на ней – почерневший от времени и фимиама портрет. Под самым портретом, чуть слева – свежевычищенное распятие. Вождь на портрете демонстративно глядит в противоположную сторону.

Мельчук запел. Верочка взглянула на него с ужасом:

– Игорь! Ты соображаешь что-нибудь?.. Услышат! Немедленно прекрати петь это... и *вообще молчи.*

Идём дальше. Дождь.

Мы в Усть-Чёрной. Даю телеграмму. Натекла лужа. Меня разглядывают. Игорь и Яна пошли в магазин.

Впереди, в ущелье – сизые тучи спустились вниз и вцепились в землю. Нам – туда. До Рахова 90 км.

Вернулись Игорь с Яной.

В магазине:

а) три сорта рыбных консервов,

б) два сорта варенья по 10 р. банка,

в) искусственное кофе «Нежность»,

г) рис по 19 р. вместо 8,

д) водка,

е) молодой лук.

Всё.

...Готово. Я стёр обе ноги. И – как мне жалко мою гитару. Когда-нибудь кончится этот дождь? Яна мечтает обсушить «хотя бы морду».

Опять у дороги распятие. «ИНРИ»..

– У Клоделя есть роман... Ну и пакость!

– Н-н-о! Социалистический реализм! – загадочно ухмыляется Мельчук.

– То есть это дрянь – эпическая.

Комсорг Верочка вступает в разговор:

– Прелесть, правда?

Яна глядит на неё долгим сосущим взглядом:

– То есть... Я всё-таки утоплю тебя в кювете...

– Ты что?! Я же не про Клоделя! Я – про распятие!

И это – голос комсорга. Фу, как нетипично.

Из Усть-Чёрной наш путь – в Озерелы.

Седое ущелье. Дождь. Трут ботинки. Сочиняются стихи:

Шукав у звира Озерелы,
Мы, як ци звиры, озверелы...

ЦИ ЗВИРЫ

Вечереет. Посреди миниатюрного, полного цветов луга, около заброшенного шалаша решаем, идти ли дальше. Верочка стоит «на голой ноге» и выжимает штаны, изображая «проект памятника В. Абызовой на полонине Погарь». В стороне Игорь делает попытки бить Яну, которая не соглашается вставать здесь на ночлег. Спускается туман.

...Мельчук-таки добился своего. Когда мы уже совсем решили двигаться дальше и взялись за рюкзаки, он пошёл на последне средство и высморкался вокруг нас кольцом, так что зачарованные, боясь сделать шаг через колдовской круг, мы вынуждены ставить палатку...

8 июля

Это был *тот ещё* вечер!

Мы остановились на полонине Погарь, на маленькой мокрой лужайке, окружённой деревьями. Игорь и Яна ушли искать воду, а мы с Верой остались ставить палатку и разжигать костёр из сырых веток. Внизу, в долине, всё было залито молоком, полз на запад густой и вязкий, как сгущёнка, туман, и стояла тишина. Костёр гас. Мы стали звать их, потому что уже пора бы

им вернуться с водой. Туман стал подниматься всё ближе, проглатывая сначала дальние, затем ближние деревья, подползли длинные белые его пальцы, и сразу всё отсырело и наполнилось мутью; палатка отяжелела в руках.

Наконец, вынырнули из тумана Игорь и Янка, злые и мокрые, с ведром драгоценной воды, которую они нацедили где-то – за полкилометра. Началась «борьба за огонь».

Туман чуть поднялся, и стали видны огни в долине, опять пошёл мелкий дождик.

О, это был вечер!..

Внизу, там, где уже прошёл туман, – там за стенами было сухо, горели печки, и ползали сытые, теплые тараканы, а здесь, на мокрой лужайке, прыгали под дождём несчастные промокшие насквозь туристы и держали дырявый плащ над несчастным, промокшим насквозь костром, и пели свои дикие песни, чтобы не было так им зябко под звёздами.

А звёзды проступили где-то на западе и перемигивались.

Игорь прыгал у костра, сучил от холода волосатыми ногами и кричал, так что слышали даже звёзды:

– Не надо смущаться! В таких же самых условиях мы однажды прекрасно переночевали в подмосковной двухдневке! Всё было чудесно, и единственное, что беспокоило некоторых из нас, – это эпический *причинный* запах... Мы с фонариками весь вечер ходили вокруг палатки и безуспешно пытались найти *причину...* Запах нас мучил всю ночь, а наутро, сняв палатку, мы увидели, что она стояла как раз на придорожном общественном *оплоте цивилизации,* покоясь шестью колышками, как на десяти холмах, – на шести кучах... Утром к палатке подходили мирные путники. Ничего не подозревая, они шли к знакомому месту, безмятежно расстегиваясь, а потом спасаясь паническим бегством. Наш лагерь был неприступен.

Звёзды спрятались.

Мы сидели в палатке и при свечках пили какао, и говорили о том, какие олени и медведи живут в туманных этих лесах, и слушали странные лесные звуки.

Игорь высказал предположение, что недалеко от нашей палатки медведи устроили оплот, и вылез наружу.

– Да, да, – сказал я, – он прав. Слышите? Это медведи урчат и визжат от удовольствия. Тс-с-с... С л у ш а й т е...

Все притихли. До нас явственно донеслось журчанье.

– Что я говорил? Это медведь! – объявил я и высунул нос из палатки.

О, это был, таки-да, медведь! Страшный удар его могучей рыжей лапы в ту же секунду обрушился на мою шею, медведь влез в палатку и насел на меня, издавая хриплые рыки. Этот невиданный медведь был в очках и сучил от холода волосатыми ногами.

О, я не могу больше писАть! Проснулся Игорь. Он заглянул в тетрадку и волосатыми ногами катит меня к выходу!!!

– Как вкусно пахнет.

– Это сгорела моя рубаха!!

– Есть! Он утонул!

– Где?

– В какао.

– Кто?

– Паук... Я его сейчас спасу...

– Хм... Попробовал бы кто-нибудь из нас в Москве выпить какао после паука.

– А что вы думаете? У нас на Кавказе однажды уронили в какао носок. Стали спорить, кому достанется кружка. Но больше всех спорили хозяин кружки, хозяин носка и тот, кто уронил: каждый хотел заполучить носок, чтобы выжать его к себе в кружку...

– Ужас какой! Не уступить товарищу...

– А вы знаете... Не трожь мой хлеб!.. Вы знаете две стадии загрязнения носков? Первая: брошенный в стену, он прилипает. Вторая: снятый с ноги, он сохраняет её изящную форму...

– Что ты делаешь? Это некультурно: лазить в кружку пальцем и вылавливать козявок. Что ты за *мельчукча!* Изволь цедить какао сквозь зубы и аккуратно сплёвывать.

– Соседу в тарелку...

– А вы знаете три стадии протирания носок? Первая: можно обрезать ногти, не снимая носков. Вторая: можно мыть ноги, не снимая носков. Третья... Куда ты лезешь? Я туда выделил. Третья: можно снять носки, не снимая ботинок.

– Вот здорово-то! Не расшнуровывать!

Солнце! Впервые за четыре дня.

Игорь считает, что от Озерел есть более короткий путь на Шанту: не по Графской дороге, а по левому берегу речки – и вверх, направо, на полонину Конец. Он ссылается на каких-то двух сторожей со станции. Наверное, врёт.

12 ч. дня. Озерелы.

Местные решительно советуют идти на Шанту через Красную. Дорога через Графскую и Шпаньску трудна в запутана:

знающие люди идут два дня с ночёвкой, а через Красную до Шанты – три часа ходу по тракту. Какое искушение...

Янка хмурится. Это от волнения. Неужели за *нас?*

Янка спрашивает: «Как ноги?»

Решено: мы идём через Шпаньску. Как они глядят на нас!

Я иногда думаю: если вдруг выломиться за пределы нашего турпохода, выйти из этого круга: палатка – дорога – хохма у костра, – и заглянуть глубже, чем та форма, какую неизбежно турпоход накладывает на всех нас, – *если* – то Игорь по существу бесконечно грустный человек.

(Примечание проницательного читателя: *«Это верно»*).

А що нам, цимборочку...

Иду в тапках. Мораль: если дождь, – подальше прячь ботинки и иди в тапках, ибо, намокая равно и успешно, последние сохнут скорее.

Наконец-то выглянуло солнце – и вмиг мы обвешались носками, ботинками, платочками. Нет такой петельки, зацепочки, на которой не болталась бы какая-нибудь мокрая тряпка. От нас валит красивый пар. Мы всё выше поднимаемся в горы. Впереди чернеет белая майка Яны Коршуновой.

Вьётся тропинка над обрывом, жарит солнце, дремлют горы. И вдруг в этой бескрайней тишине чуть слышна песня. Ещё неясен мотив её, и лишь далёкие слабые звуки доносит до нас ветер, но как хорошо ложатся они в величавую эту и чуткую тишину, как вяжутся они – нежные переливы молдавской песни – с обрывом, с далёкими горами, с этим жарким звенящим воздухом. Она всё ближе и слышнее, и всё отчетливее неторопливые переливы. Звуки обгоняют нас и плывут дальше, и отзываются, и тают далеко в горах, – кажется, звучит ей в ответ весь этот мир, а потом прячет песню в голубых горизонтах. Какое волшебное впечатление! Мы невольно замедляем шаг и слушаем, как догоняет нас песня. И вот уже зацокали подковы за спиной, мотив оборвался, и из-за поворота выехал пастух.

– День добры!.. То ж вы и есть. А я вас ещё там внизу у Озерела бачив, да не чуяв, що вы сюда идёте... Ну, вешайте ваши торбы!

Девчата навьючивают на лошадь рюкзаки. Я фотографирую пастуха.

– А как вас звать?

– Сидый... Михайло Андреев Сидый, – он смеётся и показывает нам седую голову.

След медведя. Как блюдце. Ободранное дерево.

Шпаньска полонина совсем близко. Вдруг нависли чёрные тучи. Спешим. Уже видны сараи. Метров 200... Бегом! И тут – бешеная гроза...

4 часа дня. Шпаньска. Мы у пастухов. Сруб. Лежат на сене здоровые загорелые девчата. Костёр. С потолка к нему – ведро на цепи. Пастухи смеются, показывают на меня:

– Шибко пишет... Учёный.

Тепло. Сушимся.

Сейчас восстановил путь от Усть-Чёрной. Какой глупый крюк! Игорь утверждает, что оттуда есть короткий путь через Менчул, и ругает каких-то двух сторожей на станции, у которых они с Янкой узнавали дорогу. Яна говорит, что сторожа были красивые. Мельчук уверяет, что пьяные.

С улицы подошла намокшая собака и положила на порог печальную морду. Жарко тлеет толстое бревно посреди пастушьей *колебы.* Идёт дымок, шумит дождь по крыше. Отсыревшая гитара глухо даёт фон песне. Доярки поют нам. Тихими певучики, голосами – закарпатскую песню на древний чешский мотив.

В зелёном гаечку пташечки спивают,
А мово милова на войну волают,
Волают-волают, коника седлают.
– На кого мя лышешь, мой милый? – шукаю...

Поют и смущенно переглядываются.

Лышаю тя то-ому, що нейде на вОйну,
За рик, за пивдруга вернуся до дому...
Два рички минуло, хлопцы с войны идут,
С пид мово милова лышь коника ведут...
Ведут его, ведут – вин начерно крытый,
Наверно, мой милый на войне забитый...

Шумит дождь, вьётся дымок от костра, всё тише и грустней звучит песня, всё жалобнее вздрагивает голоса в переливах хрупкого мотива.

Но вот что-то новое – прямое и насмешливое – является в нём...

Не жалей ты, девка, на войне одного!
Е нас тут сто тысяч – выбирай любого!

И опять певуче льётся мотив, но теперь он громче и звонче, и как-то несгибаемее в красивой своей грусти:

Аж бы вас тут было, как песку морского,
Не было й не будет милого такого!
Аж бы вас тут было, как во поле овса,
Не было й не будет моим дитям отца...

Замерла песня. Игорь – расцвёл. Его глаза светятся, уши горят от восторга. Он протягивает мне какую-то серую штучку и говорит срывающимся от волнения голосом:

– Я так счастлив! Наконец-то!! Наконец-то это случилось... Оторвался мой гнилой ноготь, который я отморозил ещё под Архангельском! Посмотри, какая прелесть!..

...Мы поём девчатам наши песни. Поём «Позёмку» и «Барбарисовый куст», и «Парус», и славную «Бригантину». Им нравится, они просят ещё и живо обсуждают мотивы. Игорь вслушивается в их говор и вдруг подскакивает:

– Сколько румынских слов! Почему в вашем диалекте *столько* румынских слов??

Доярки смущены. Они не знают, почему в их диалекте *столько* румынских слов.

Затем начинается профессиональная запись закарпатской песни. Выпускник Гнесинского училища по классу фортепьяно и руководитель факультетского испанского хора И.А. Мельчук вооружается карандашём и бумагой, дипломница дирижёрского отделения Московского музыкального училища В.В. Абызова – моей гитарой. Доярок просят спеть первый куплет, и уже через минуту колеба наполняется божественными звуками:

– До-о-о-о! Ре-е! Фа-а-а-а! Со-оль... Ла-ла-лам-пам-пам!!! Ещё раз! Ты слышишь: это бемоль!

– Это бекар!

– Нет, бемоль!!

Собака встряхнулась и ушла с порога. А девчата уже поют нам коломыйки – закарпатские частушки – задорно, весело:

А що нам, цимборочку,
Из вечера сьего,
Когда нету милёнка
Ни твово, ни мово...

Вдруг прыснули и закрылись до глаз одеялами. В дверях стоит молодой пастух, победно улыбаясь.

9 июля, утро

Видел, как доят коров. Крутил ручку сепаратора. Из одной дырки льётся «перегон» для свиней, из другой валится сметана

для людей. Дергал ручку маслобойки. Видел, как из неё вынули потом кусок первозданного масла, какого не встретишь на прилавке.

Вчерашний вечер – один из самых сибаритских за весь поход. Костёр, тепло, лежанка из сена. Молодой пастух Штефан, сидящий в углу и терпеливо втолковывающий нам:

– От медведя можно убежать только вниз, под обрыв, бо у него ноги передние дюже коротки, – кувырнётся вин под обрыв. А вверх – ни-и... Не убежишь.

В крышу сруба барабанит дождь. У костра пар идёт от ботинок.

– А щё вчера в обед на цим поле волки овцу утащили...

Со двора доносится мычание коров и пение доярок.

– А на свиней волк не нападает. Если одна свинья будет, то зарежет, а если много – то не-е... Не тронет. Бо их запаха вин не вытерпит.

В дверь впёрлось свиное рыло и прядёт ушами.

– Сэ-эр! – говорит мне Игорь...

...Здесь необходимо пояснение. В походе между собой мы объясняемся в основном по-русски. Дорогу спрашиваем – по-украински. Песни поём по-итальянски и по-испански. Но когда разговор касается таких тем, где моим собеседником может быть только Игорь, мы переходили на английский:

– Sir? I wont you to go with me and drink away, wont you?

– Yes, of course. I'm glad to eat out too...

Сначала Янка с Веркой не понимали, затем поняли и при одном слове «сэр» бросались на нас с кулаками и наконец, поразмыслив, стали время от времени называть друг друга «леди».

...Итак, «сэр», – сказал я, и, перекинувшись двумя изысканными фразами, мы выступили.

И тут же – *вступили.*

То есть: едва переступив порог сруба, по щиколотки утопли в холодном жидком навозе. Дно этой бескрайней лужи оказалось безукоризненно скользким, и мы плавно поехали под уклон, размахивая руками и не находя сил ни удержаться на месте, ни позвать на помощь. Свиньи меланхолично тыкались нам в ноги пятачками и поворачивались задом.

– How are you, sir? – спрашивал я Игоря, стараясь удержать падающую штанину.

– Thanque you! Very well, – отвечал он, делая попытки вытереть о плечо нос, уже почему-то вымазанный в навозе.

– Be careful, sir! – продолжал я, хватаясь за край забора, мимо которого мы как раз проплывали.

– I'm happy because of your care of me, – говорил он, причаливая к забору вслед за мной.

Здесь мы посмотрели друг другу в глаза и перешли на русский язык.

– Может, вернёмся? – дрожащим голосом спросил Игорь.

– Допустим. А дальше? – спросил я.

Этот убийственный вопрос наполнил нас решимостью.

– Что ж... Let's go, – уныло спикнул Игорь. Мы оттолкнулись от забора и поплыли дальше под уклон.

«Да, оказывается, путь к банке сгущёнки и к пачке масла в ГУМе устлан этим навозом, – думал я. – Более того, через него лежит путь даже к тому молоку, которым нас сегодня угощали пастухи...»

Между тем, мы выплыли к какому-то сухому месту и выкарабкались на траву. Перед нами расстилалась гладкая лужайка без единого кустика. Сверху, от сараев, откуда, наверное, видно вокруг на десять километров, – неслись насмешливые *коломийки:* там доили коров. Мы грустно огляделись и решили подождать темноты...

...Увидев нас, Яна и Вера переменились в лице: леди поняли, что им предстоит.

Сегодня начпох вышла к столу в спальном мешке.

Ну, вот, мы и уходим отсюда. Туман. Штефан проводит нас до хребта, по которому можно добраться до Шанты. Какой туман! Коровы удивлённо разглядывают нас из этого молока.

Идём по хребту

Кругом туман, из него возникают впереди кустики можжевельника, и растворяются идущие впереди фигуры.

Туман рассеивается. По мере того, как ветер развеивает его в клочья облаков, – внизу, словно географическая карта, проступает панорама.

Снег!

По законам горного туризма здесь полагается *извлечь цимес.* Это одно из самых больших удовольствий похода и весьма торжественный момент. Набирается миска снега, в миску выливается банка сгущёнки, в очаровательное месиво бросается кусочек лимонной кислоты, и праздник начинается. В целомудренной тишине скребут ложки, и, довольные, урчат желудки. Пропало всё: пропал маршрут, пропали начальники и рюкзаки, – осталось одно наслаждение. Эти десять минут священны.

И тут хриплый голос начинает:

– Вот точно так же мы однажды ели эту штуку на Кавказе, на перевале Бассан. Ели и наслаждались, и думали, что через полдня будет нам долина, тёплый душ и куча цимесов. А потом выяснилось, что мы сунулись не в то ущелье и заблудились. И мы три дня шли без продуктов. Чуть не умерли с голоду. Так что это месиво – предзнаменование...

Не подействовало. Все слишком увлечены «мороженым». Тогда Мельчук пускает в игру единственный и всемогущий свой козырь. Он встаёт на хребте, делает нам *психикой* и громко провозглашает:

– *Выделяю!!*

И не успеваем мы опомниться, как он пускает из левой ноздри струю в ту бездну, что обрывается к северо-востоку, а затем из правой – в ту бездну, что на юго-западе.

Ухватив консервный нож, Яна устремляется за осквернителем святыни.

А потом мы мечем жребий: кому делать *файн-обработку* посуды. Это – большая честь. Получивший право «файна» имеет право вылизать все миски и даже банку из-под сгущёнки.

Идём дальше. Хребет отгибается к юго-западу. Это нам не нужно.

Справа туман совсем рассеялся, и открылась освещённая солнцем панорама: хребты, седловины, ручейки, дорожки, домики – всё игрушечное, как макет.

Надо бы узнать дорогу. Слева на полонине – стадо. Слышен глухой лай. Верочка меняется в лице. Игорь подливает масла в огонь;

– О, Верочка, там и коровы, и собаки! Они и бодаются, и кусаются. А ты такая вкусная.

Скидываем рюкзаки. Яна угрюмо предлагает мне сопровождать её к пастуху. Идём навстречу лаю,

– Возьмите с собой хлеба! – кричит Верочка. – Вы им бросите!

– Мы лучше возьмём *тебя!* – мрачно отзывается Яна.

Мы выходим на полонину. Из-за деревьев выносятся большие белые собаки с маленькими жёлтыми глазами и начинают прыгать вокруг нас. Полтора десятке коров разом повернули головы и провожают нас печальным взором, Яна идёт впереди и время от времени говорит ласково:

– Ну, что ты гавкаешь, я же не профессор Зозуля.

У шалаша пастухи. Один из них, увидев наш эскорт, сказал:

– Тю.

Собаки мгновенно отстали. Одна из них легла на траву, вытянула морду и прикрыла глаза. Сразу стало видно, что она устала.

Мы приступили к расспросам.

...Итак, это Шанта. Пастуха говорят, что до *железницы* 4 км. Пустяки.

Чёрт. За два шага до железной дороги, за полдня до Рахова – такой дикий, без тропы, спуск. Градусов 70. Мерзкий, промокший слой прошлогодних листьев, реденькие прутики. Держишься за такой прутик руками, а ноги уезжают вперед. Болит всё.

Ручей перескочили по камням. Отчаялись выбиться на тропу. Решили лезть напрямик через хребет.

Лезем. Трещит под ногами. Потом трещит за спиной.

Дико крутой подъём. Отдыхаем через каждые 20 м. Шнур от гитары впервые держал в зубах.

Когда же кончится этот идиотский рыжий лес?

Я не подозревал, что у моей гитары такой солёный шнур.

Игорь, наверное, думает, что это – наше Бассу. Ах, зачем мы ели сгущёнку со снегом!

Как обидно, ведь Рахов – в каких-нибудь тридцати километрах. Там нас ждёт Джан Дорри и много сгущёнки.

Середина дня, а мы ещё не вышли из этого леса. Идиотство. В Озереле один русин, знающий эту «дорогу», говорил, что он плутал здесь целый день.

У Игоря скончался ботинок. Он стянул его ремнём. Ремень слетает. Игорь молчит – впервые за весь поход. Воображаю, как этот ботинок бесит его.

...Лезем в гору, с которой только что спустились. Какого Чёрта!

Блондинка в голубом любит говорить «какого Чёрта?» и – «оставь!».

Игорь уверяет, что этот подъём – последний.

...Всё! Всё!

Мы ползли на эту гору, думая, что если наверху нет дороги, то... Мы ползли на эту гору и иногда, схватившись руками за ветку, беспомощно сучили ногами, стараясь за что-нибудь зацепиться. Мы ползли на эту гору и видели вверху только зелёный и рыжий лес. Потом мы увидели небо. Очень хорошо помню момент, как поскользнувшись и съезжая вниз, я закричал:

– Вижу небо!!

Потом девчата – наш авангард – влезли на гребень. Игорь ковырялся внизу и кричал мне:

– Тут опять тропка!

– Это бобёр к лисе в гости прошёл...

Мы шутили, потому что всё ещё копошились в безнадёге, а наши девчата уже влезли на гребень и радостно кричали вверху.

– Что они кричат?

– Они кричат «ура».

– И всё?

– Они поют гимн...

– Ги-имн?! Что бы это значило?

– Они кричат «дорога».

– Они брешут! Я их сброшу вниз, – отвечает Игорь, перевязывая свой ботинок.

– Они поют «Чиплёнок жареный»!

– Что?! Значит, они не брешут!!

Мы устремляемся вперёд. Ещё немного усилий, – и мы на гребне...

Эпическая дорога! На юго-восток! У девчат посветлевшие лица. Это – *наша* дорога, мы потеряла её на Шанте.

И мы идём по ней. Справа – голубая панорама реки Шапурка, от которой идёт узкоколейка в Рахов. Голубое небо. Свист коршуна. Малиновые звуки колокольчиков. Трембита пастуха.

Издалека – слабый гудок паровоза.

Вот и всё...

...Последний открытый обед перед Раховом.

Топтались на лужайке у ручья и не могли сесть: из *десяти тысяч отверстий* к нам лезли рыжие муравьи. Подлый Мельчук говорит, что это – предзнаменование.

Последняя банка консервов съедена.

Железная дорога! Вон она внизу, среди ветвей! *Они спустились с гор.*

Я придумал крепить гитару и нести её без помощи рук. Какая ирония судьбы: теперь, когда можно сесть в поезд и доехать до Рахова...

Какого чёрта, сегодня поездов больше не будет. Ай-ай-ай...

Яна пошла узнавать, что завтра.

Завтра поездов тоже не будет. И послезавтра – не будет. Во-первых, суббота, во-вторых, возить некого, потому что лесорубы в выходной не работают, и в-третьих, ну их всех к Чёрту.

Последний поезд на Рахов ушёл полчаса назад. Это *он* гудел!!

О, этот рыжий лес!

Мельчук торжествует. Он говорит, что если б муравьи были бы не рыжие, а чёрные, мы успели бы на поезд.

Идём по шпалам

До Кобылецкой Поляны 20 км, оттуда до Рахова наверняка есть автобусы. Да, сам бог, видно, печётся о нашей туристской честности. Надеялись часть маршрута проехать – ан нет.

Что ж, идём по шпалам.

Первый полустанок. Вера пошла купить чего-нибудь – у нас остался один сыр и последняя банка сгущёнки.

Ужасно: магазин на замке. Все в городе. Опять суббота подвела нас. Издевательский плакатик: «Мой руки перед едой». Обходим избу. Другая дверь. Опять замок. И ещё более издевательская надпись: «Не пей сырой воды!».

Вечереет. Прошли 7 км. Остается ещё 14.

Идти по шпалам – самое нудное дело.

В глазах уже больше не рябит. Потому что темно. Видно только две стальные полосы рельс.

Осталось 7 км. Спорят.

10 июля

Шли до глубокой ночи. Стали считать шаги и метры. Два шага – метр. Насчитаешь сто метров и кричишь: «Есть!» И начинает свою сотню метров Игорь. Девчата идут впереди.

Так шли мы в темноте, считая шаги, и слушая через равные промежутки:

– Есть!

И каждый раз тот хриплый голос прибавлял:

– *Выделяю!..*

Понемногу, чтобы создать приятный самообман, я стал считать за метр четыре шага. Проверил: Игорь тихонько делает то же самое.

Одинокий дом у дороги. До Кобылецкой Поляны ещё 5 км.

Осмотрели замки на дверях. Посветили фонариком: внутри никого. Над хлевом соблазнительный чердачок и охапка сена рядом.

Здесь разразился самый крупный за весь поход *междусобойчик.* Позиция Яны: ночевать здесь, а утром добираться до Рахова. Выигрыш:

а) идиотский путь по шпалам проходим не ночью, а днём;

б) в автобусе едем не ночью, когда его может не быть, а днём, когда его не может не быть.

При прочих равных это два безусловные выигрыша, тем более, что здесь у нас *уже есть* ночлег, а в Коб-Поляне (если до Рахова не будет автобуса), нам ночевать будет негде – это же город!

Никогда ещё Мельчук не спорил так бешено:

– Мы немедленно должны идти в Поляну, хотя бы всю ночь идти, а там будет ночной автобус. А чем ты поручишься, что он наверняка будет днём? А вдруг его и днём не будет? А вдруг автобусы ходят только ночью?

Яна терпеливо спорила с оппозицией:

– Ну, хорошо, а если нет ночного автобуса, где мы там переночуем? В кювете?

Здесь Игорь вводил прямо-таки водородный аргумент?

– А там что-нибудь придумаем!

Мельчук – прожектер и авантюрист. «Авось, ништяк»! Послушать его! Что за вопли! И странно: этот дикий план поддерживает Верочка – человек всё же здравый и спокойный, предпочитающий и умеющий играть без риска.

Спор был жаркий, Яна понемногу теряла олимпийское спокойствие, и уже были произнесены слова «Ты мне весь поход кровь портишь». Власть начальника спасла истину: мы стали располагаться.

Тогда оппозиция от эсхиловских методов перешла к лукиановским. Забравшись на наш чердачок, Игорь объявил, что спать здесь негде, что под нами хлев, и что волы давно уже ждут того момента, когда Верочка свалится к ним на рога в щель между досками.

Мы уже дремали, а он всё не мог успокоиться и бурчал, что его *«психика* всосалась между досками», и нюхал воздух, и ядовито оповещал: «О! Ветер принёс издалека...»

Утро.

Я слышу удивленное: «О!» – и поднимаю голову. Старуха и девочка стоят перед сараем и, задрав головы, глядят на нас. Хозяева!.. Скандал!!! У старухи выпученные глаза и улыбка юродивого, увидевшего копеечку.

– Здравствуйте, – вкрадчиво начинаю я.

– Добрый день... Вам не душно було спаты?

– О, нет, отлично...

Помолчали.

– Ну, будьте здоровы...

– До свиданья.

Они уходят. Только здесь возможен такой разговор, когда на чердаке обнаруживают незнакомого бородатого человека.

Быстро собираемся.

Даёшь Рахов!

11 утра. Шпалы, наконец, кончились.

Кобылецкая Поляна.

Ни автобусов, ни машин сегодня до Рахова не будет. Ни ночных, ни дневных.

Перед нами – десятикилометровый путь через перевал. Там, за хребтом – Рахов. Деньги и аккредитивы. Джан Дорри и сгущёнка. И письма. Мы сидим в полянской пивной и тянем кислый крюшон, а из соседней комнаты несётся гуцульская, шатающая стены пьяная песня... Вышитые воротники. Чёрные шляпы, красные цветы. Ещё один мир.

Поднимаемся на хребет. Там, за хребтом – турбаза, горячий душ и постель. Там, за хребтом – письма. Вот только подняться на этот хребет – и мы увидим всё это.

Жарко. Напрасно мы пили так много крюшону.

...Второй привал. Прошли четверть подъёма. Сняли ботинки и облились водой. Идти легче.

Двадцать минут назад на извилистой каменной тропке, где не разойтись двоим, видели мы странную картину. В колючей траве валялся рюкзак. Рядом лежало тело. Обеими руками человек держался за живот и весь скрючился; голова его была в кустах. Мы раздвинули кусты: распугивая пауков, человек глодал ягоды. Это был Мельчук. Мы присоединились к нему.

Какая это была эпопея! Мы ползли, захватывая в рот ягоду за ягодой прямо на корню, и считали. Набрав 20-25 штук, останавливались и, глядя друг на друга масляными глазами, жевали. Потом перекатывались на спину и лежали...

Так уползали мы всё дальше от дороги. А там, за хребтом, лежали письма, и ждал нас Джан со своею сгущёнкой.

Последний привал перед вершиной, откуда мы увидим Рахов.

...Мы на гребне.

Сзади, в горловине зелёного ущелья, далеко внизу – голубеет долина и синие бугорки деревьев. Бурливая Шапурка похожа на серую в дождь рязанскую дорогу. Словно комья грязи, темнеют на ней островки, и горстью сухих спичечных коробков – Кобылецкая Поляна. Мы смеёмся над ней: ведь стоит нам сделать по гребню десять шагов – и мы увидим Рахов. Даже не хочется делать так быстро эти десять шагов – мы оттягиваем удоволь-

ствие. Кто знает, может быть, не хотим кончать чудесную эту главу?.. Ведь увидеть Рахов – значит увидеть конец похода...

– К рюкзакам!

Начпох Яна улыбается синим от черники ртом. Сейчас она выдаст традиционное:

– Вздрючивайся!..

Надо кончать.

Мы взваливаем рюкзаки.

Мы идём.

Ужасно.

Чёрт. Какой это был *момент.* Какой это был ужасный момент, когда мы сделали десять шагов через гребень и вместо долины Тиссы и Рахова увидели перед собой ещё один тупой зеленый хребет. Рахов отделен от Поляны *двойным* хребтом! Что можно сказать о наших чувствах? Мы потащились вниз, в дурацкую эту щель, уже не взывая к богам – боги неумолимы!

Сейчас полезем вверх. Чёрт. Я боюсь предсказывать! Может, там окажется ещё десять хребтов!

Не так-то легко попасть в город Рахов. Чёрт.

До перевала 800 м. Но ведь должен же быть там Рахов, чёрт возьми!

До перевала 600 м. Рядом лежит Игорь. У него совершенно белые брови и ресницы. Девчата сидят невдалеке и что-то поют... Ага. Они гадают на ромашках: любит – не любит. Кажется, не любит. Я советую им гадать по-новому: любит – полюбит.

Кажется, любит.

До перевала 400 м. *Какого Чёрта* тут эти хребты!

До перевала 200 м. Самый тяжёлый – последний подъём.

До перевала 100 м.

50 м до перевала. Хочется пить. Нету. Ну...

Вон она – змея. Белая. Вьётся вниз. Там, внизу, Джан и сгущёнка. Вон она вьётся вниз – дорога на Рахов. Мы делаем здесь, на гребне, *привал презрения.* Пить расхотелось.

ТУРБАЗА

7 ч. вечера. Рахов. Пишу эти строки за столом директора турбазы. За гладким полированным столом цвета какао.

Вот что произошло за этот час. Да, всего час назад злые, потные, мы добралась наконец до гребня, до дороги. Сбросили рюкзаки и упали на них. Я облокотился о придорожный камень и писал в книжечку: «Пить расхотелось». Потом я сказал Игорю:

– Сэр! Не изволите ли пойти со мной полюбоваться на закат?

Игорь лежал на спине. Он приоткрыл глаза:

– Лень.

И опять закрыл.

– Что ж... Я пойду один... Как это ни прискорбно, сэр...

Янка не выдержала!

– Иди, любуйся, только *скорее!!*

– Я мигом! – ответил я, удаляясь. – У меня практика: я с самого утра начинаю любоваться на закат.

– Ну, это уже верх падения, – откомментировала Верочка.

Едва я спустился под откос на два метра, как сверху донёсся начальственный крик:

– Лёська!.. МАШИНА!!!

– Врёшь, – отозвался я, не веря, что в такой момент судьба заставит меня выполнять мои обязанности «наркоминдела».

Тогда сверху раздался такой вопль, что весь испанский хор факультета разбежался бы от страха. Я *поверил* и полез вверх...

Грузовик! Грузовик с людьми в сторону Рахова! Он всё ближе и ближе. Он фыркает. Я встаю посреди дороги, растопырив руки. Я тоже фыркаю. На мне мокрые трусы и рубаха неопределенного цвета. На ней белая заплата, пришитая у Озерела чёрными нитками; сквозь рыжую дыру, прожженную на Горе Синих, видна исцарапанная грудь; сбоку висит клок, выдранный в лесу перед Молочной Полониной. У меня нет причёски – космы торчат во все стороны. У меня борода двухнедельной давности. Я стою посреди дороги, растопырив руки...

Грузовик ворчит и стихает, из кузова меня с опаской рассматривают подкрашенные глаза. Это едут *туристы-чемоданщики* – предмет вечных насмешек всех диких туристов...

2000. Не могу не добавить, как срифмовалось это «место» с походом 1976 года, двадцать один год спустя. *Место* оказалось то же – межгорье близ Рахова, только шли мы из Ясиней, и действительно *шли* верхами, а не ловили попутку на дороге. Мы – это Шура, Володя Друянов и я, возглавлявший группу. Вид у нас был вполне горный. Навстречу нам попалась группа, поднимавшаяся с раховской турбазы: классические «чемоданщики», в кофточках, плащиках и чуть ли не с зонтиками. Мы решили уступить им тропу и сели на камнях, но они, расцепившись, остановились полюбоваться видом на Рахов, расстилавшимся внизу.

Вдруг их ведущий, инструктор с базы, громко объявил:

– Не туда смотрите! Вот сюда гляньте! – и он указал на нас. Группа послушно повернулась и, образовав полукольцо, стала нас рассматривать.

– Вы думаете, что вы – *туристы?* – продолжал инструктор. – Ошибаетесь. Вы – не туристы. Вы – путёвочники! *Во-от туристы!* – и он простёр руку в нашу сторону.

И опять горячая волна толкнула меня в сердце – оттуда, из юности.

Загорелый шофёр подмигивает и кивает нам: шофера знают, кому сочувствовать... и грязная наша орава вваливается в кузов, оттесняя с чистых этих скамеек черепашьи чемоданы и зонтики с изображением обрыва.

– Сэр! А как же ваш закат? – Кричит мне заботливый комсорг. – Уж не собираетесь ли вы любоваться на него на кузова?..

...Мы едем вниз. Мы заняли вою заднюю скамейку. Мы переодеваемся на ходу и поём. А они – слушают, понимающе улыбаются, пишут в книжечки.

Там, где пехота не пройдёт,
Где бронепоезд не промчится, –
Турист на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!

Туристы, громче песню пой!..

Внизу в долине блеснула Тисса, и запестрел муравейник города.

– Итак, *состоялось!* – провозглашает Яна одно из любимых своих словечек. Мы въезжаем в Рахов. Узкая улочка, деревья, домики... Турбаза!

Мы спрыгиваем с машины. Яна поднимает свой рюкзак и, указывая на огромное жёлтое пятно, торжественно объявляет:

– Товарищи, наше масло – состоялось...

...Турбаза. Наши, университетские. Историки. Смех. Такая встреча – доброе предзнаменование. Едут от Ясиней на Воловое. А поют, о, чудо какое: «Чутко горы спят, Южный Крест залез на небо...»

2000. Ещё два года, и я узнаю странную фамилию автора этой песни.

Джан и сгущёнка!!

Джан Дорри – дипломник филфака, в прошлом – чемпион Ирана по плаванию среди мальчиков, в будущем...

2000. В будущем – крупный иранист, переводчик с персидского, член Союза писателей...

...И – горячий душ, да, да!

Игорь моется и поёт, как тогда, у Ростоки:

Я сижу на берегу,
Мою левую ногУ,
Не ногу, а просто нОгу, –
Все равно отмыть не мОгу!..

Вечером поём с историками и съедаем вдесятером пять обедов, что удалось выпросить у повара.

11 июля

Письма!

Игорь брился 1 час 15 минут.

Джан Дорри рассказывает нам о выпускном вечере нашего факультета, прямо с которого он выехал к нам. Одной посуды там было набито на 400 р. Л. Егоршилов сумел набить на 250 р.

Мы уходим в последний маршрут. Мы берём с собою сгущёнку и тушонку. И Джана Дорри. Мы оставляем здесь мою гитару, мою милую Стерву.

На нас смотрят с любопытством. С завистью. С уважением. Когда я шёл от турбазы к ресторану «Говерла» – нашему сборпункту, – какой-то чистенький пацанёнок в носочках так и юлил вокруг меня. Он забегал вперёд, заглядывал в глаза, отставал и снова забегал, рассматривая во всех подробностях.

Студента-туриста можно узнать сразу. По штурмовке или по ковбойке. По буханке подмышкой.

Знакомства – мигом:

– Москва?

– Харьков! Университет! На Говерлу?

– Да, на царицу Карпат...

– Счастливый путь!

– Счастливо...

И вот уже разошлись по своим дорогам...

Сидим у ресторана «Говерла». Над нами дерево. Перед нами лужа. Ждём Игоря и Джана, чтоб войти в последнюю главу этого похода. Девчата держат оставленные парням два худеньких пирожных и вздыхают:

– Ещё пять минут – и я начну есть...

– Давай так: через две минуты съедаем треть. Ещё через две – вторую треть...

– На всякий случай давай пока что оближем бумагу...

ЦЕЛЬ – ЯСИНЯ

...6 ч. вечера. Село Богдан (но не город Селифан).

Тряслись в кузове. Какая-то тётка везла уток, непонятно было: живые они или чучела; из другого угла на нас строго глядела свинья; Верочка отвечала ей взглядом, полным любви. Яна, взлетая на ухабах, ориентировалась по компасу. Джан рассказывал, как на Кавказе они вместо 15 р. заплатили шофёру 3 р. и 200 метров слышали за спиной мат, но предвкушали обед в столовой. Игорь, при каждой встряске паря выше борта, кричал:

– Я состоялся!!! – и норовил схватиться за мою бороду.

Опять дождь. Опять грязь. На Джане чистая рубашка. Хм.

Дикий визг. Это на верёвках спускают с машины свинью. Глупая свинья, правда?

Дальше удалось подъехать на лесовозе. Вот что значит цивилизованные места! Ветер в грудь. Дождя нет. Поём:

Тра-та-та, тра-та-та,
Мы везём с собой кота,
Игоря-собаку,
Лёську-забияку...

Темп песни нарастает:

Абыз-Яну, попугая...

Навстречу – бородатый гуцул. Я провожу рукой по щеке:

– У меня больше!

Смеётся и машет рукой.

Настроение – файн! Вдали гигантским горбом синеет нечто величественное. Может, это и есть Говерла...

У реки гуцул лёгким, как трость, топором раскалывает бревно в два обхвата. Серая речка. Чёрные обрывы. Угрюмые, дымные горы.

Вечер.

Ночуем под Говерлой в одиноком гуцульском доме. Две ночи назад наши историки, двигаясь на Рахов с Говерлы, пекли здесь блины и пели про Мадагаскар.

Из окна видна многоэтажная деревянная плотина, сжавшая горло речке Говерле. За ней проступает из тумана серая лысина полонины Туркуль. Сама Говерла левее. Завтра мы и штурманем царицу Карпат с этой базы.

Интересно колют дрова гуцулы. Со стороны это похоже на колдовство. Какой-нибудь старикан похаживает вокруг толстенного бревна, как муравей вокруг карандаша, покуривает трубочку и машет игрушечным топориком. Глядишь – а бревно уже и распалось на две ровные половинки.

Бук – дерево ровное, без сучков, колется упруго и вязко прямыми, чистыми трещинами. Это дерево не взять силой, как берёт суковатую ель наш русский массивный кривой топор. Гуцульский топор – маленький, легкий на длинной прямой ручке. Им легко попасть даже в маленьку трещинку на теле дерева. Он, как оса, впивается в полено – точно по волокну, и теперь кувалдой его вгоняют в дерева всё глубже и глубже, пока огромное это полено не распадётся надвое с покорным треском.

...На полу у стены расстелили палатку. Новичок Джан никак не мог улечься. Долго рассматривал меня, потом спросил:

– Ты – вдоль или поперёк?

Я подумал и ответил:

– Я в основном вдоль.

Комсорг Верочка, усмотрев что-то в нашем разговоре, сказала:

– Это хорошо, что ты вдоль. Если бы поперёк, тебе пришлось бы плохо. Ибо всё к лучшему в нашей жизни.

Джан смутился:

– Собственно, я имел в виду одеяло...

Перед сном в темноте вполголоса спели испанскую песню «Скотный двор». Джан нашёл, что это похоже на персидскую молитву.

12 июля

Сегодня праздник св. Петра. Люди ушли в город, и пастушьи колебы стоят пустые.

Вначале повальная религиозность удивляла. Помню чистенькое распятие, любовные крестики из соломы на стенах изб. Помню ещё одно распятие – под портретом Сталина в Русской Мокре.

В дверях избы – малыш. Он в одних трусах, стоит на пороге, живот его жёлто выделяется на чёрном квадрате двери. Виднее всего на животе большой медный крест.

Всё утро дождь. Лежа на полу, спорили, кому мыть кастрюлю. Когда решили, что мыть будет Игорь, он великодушно согласился нести грязную.

Потом над лесом взошло в серое небо голубое пятно. Этс значило, что наше сибаритство подходит к концу. Дождь кончился. Надо идти.

Мы у подножья. Опять проливной дождь. Идём босиком.

Весь день поднимались к перевалу извилистой скучной дорогой. Солнце чередовалось с дождём, подсвечивая последние брызги. К концу дня – стадо. Впереди молодой пастух гонит молодого быка. Возьмёт с земли булыжник, запустит в рыжий бок, послушает гулкий шмяк удара и новый булыжник ищет, а бык, *сделав психикой,* отбегает на три шага и ждёт.

Потом пошли коровы с собаками. Верочка не знала, куда деться, между тем, как Мельчук на этом новом фоне выступал очень браво. Вид у него неотразимый: засаленное кепи, засаленные очки, красный нос, а поверх всего – платком обвязан кусок клеёнки, словно у пленного немца. Вот он подмигивает какой-то черноглазой корове, та, сбычиваясь, пускается бежать, а Верочка падает без чувств.

...Перевал. Холодно. Пятна снега. Пастух объясняет нам дорогу к царице Карпат. Какой-то бычок жуёт край моего плаща и глядит вопросительно. Козы блеют тонким стариковским смехом. Завтра мы покорим Царицу.

Изумительное место для ночёвки, Джан и Игорь скрылись. С трудом я нашёл их под ёлочкой. Боже, какие у них сделались лица, когда я расстегнул кобуру фотоаппарата...

ПЕРЕД ШТУРМОМ ГОВЕРЛЫ

13 июля

Первая ночь в палатке впятером. Я проснулся оттого, что на мне лежали чьи-то ноги. Когда рассвело, мы оценили весь хаос перенаселения. Вместо строго научного расположения тел, когда все лежат на правом боку и сгибают ноги только по команде начальника, мы обнаружили первобытную анархию. Все лежали в виде вопросительных знаков и не знали, что делать дальше. Стали разбирать ноги. Это было в 9 ч.

В 9-30 – дождь. После краткого и бесповоротного раздумья Яна объявила, что по объективным причинам штурм Говерлы откладывается. Поднялась какофония: пять человек запели

пять разных песен. К 10 ч. удалось добиться некоторого единства, и лес огласился дружной симфонией:

Ходил по ресторанам с ней,
Пил кофе-лимонад,
И время проводили с ней
Коленками назад...

Дождь не прекращался. *Маразм крепчал.* В 11 ч. начался спор: кто вылезет наружу и принесёт остатки вчерашнего какао? Палатка заходила ходуном. Затем из неё вылетели две пустые консервные банки, миска и чья-то нога. Ещё через 10 минут, поёживаясь и охая, из палатки вылез помятый Мельчук. Яна ждёт какао, лежа в индивидуальном спальном мешке рядом со мной. Она некоторое время водит носом, потом кричит:

– Эй, Мельчучело, принеси-ка мне ещё и кашу!

Молчание. Голос Мельчука:

– А где она?

– В кастрюле под сухим деревом. Скорее! Я голодна!

Опять молчание. Затем до нас доносится смачное чавканье и хриплый довольный голос:

– Какой восторг!..

11-30. Барабанит дождь. В палатке тихо. Джан Дорри рассказывает:

– Вот Серебренников объявил, что на восточном отделении зачёт по учению Сталина о языке он будет принимать на любом из тюркских языков. А таджикского он не знает. Вот пошёл сдавать Гафуров, сел перед ним и давай читать молитву по-таджикски. Читает, читает, а потом вставит «Марр семасиология» и опять бубнит молитву. Слушал, слушал его Серебренников и – поставил зачёт. Вышел Гафуров, ребят собрал и хвалится: как, говорит, я сейчас Серебренникова надул, молитву ему прочёл, а? Тут его Петька ногой. Оборачивается: а у него за спиной Серебренников и всё слышит.

– Ну?! Пересдавать заставил?? – замирает Верочка.

– В деканат заявил? – деловито осведомляется Яна.

– Зарезал! – предполагает Мельчук.

– Где там! – довольно сопит Джан. – Удрал! Чтоб скорей все забыли, что он таджикского не знает!!

...Заяснилось. Идём. Вещи оставляем здесь, с собой – только деньги, паспорта и священную банку сгущёнки.

От лагеря пошли на северо-восток и карабкались на зелёный хребет, скрывавший от нас Царицу Карпат. Лезли вверх по камням. Двуглавый Петрос насмешливо глядел на нас с запада глазами снежных пятен.

Хребет. Серые скалы, красные брызги цветов. В небе перемешано голубое и серое, туман разорван в лоскуты, как дым на московских улицах. Дождь размывает солнце.

Ещё несколько шагов – и нам открылась Говерла. Среди зелёных хребтов и полонин она кажется гигантским серым булыжником, по недосмотру упавшим в это царство хребтов и седловин. И эта тупорылая круглая гора – царица Карпат?! Срам!

Падает завесой туман и заволакивает царицу.

Мы начинаем подъём. На вершине можно различить тур, похожий на пивную бутылку.

Туман рассеялся. Теперь на челе царицы видны пятна: бурые, зелёные, белые. Ломаным шрамом – дорога. Здесь, у подножья, мы находим обёртку от сыра. Какая пошлость.

Ещё выше. Без рюкзаков легко подниматься.

Внизу, как макет, полонины; облака волочат тени зелёными кляксами.

До вершины – метров 200. Здесь мы находим дамский каблук на микропористой резине.

О, царица Карпат!

Ещё вьше. Уже хорошо виден деревянный тур. Ветер сильнее. До вершины не более 50 метров. Здесь мы находим пуговицу от кальсон. Какое святотатство!

Мы на вершине. Высота – 2058 метров. Небольшая полянка. Деревянная пирамидка вся изрезана. «Мы – из МАИ!»... «Ура МВТУ!». «Вася Подъяичников из Одессы»... «Оля и Саша». Не хватает только похабщины. Рядом мы находим коровий навоз. О, зачем я не корова! О, царица Карпат...

С вышки – панорама. Каменные волны и волны облаков. На западе – двуглавым шатром – красавец Петрос. Ветер.

Яна в знак презрения делает стойку на руках. Верочка и Джан пытаются схватить её за ноги. Игорь *выделяет,* забравшись на вышку.

Становится холодно. Мы идём вниз, в лагерь. Насмешливо глядит с запада красавец Петрос.

«Полноте, и это – Говерла?!» (Подписи, дата).

В пять часов вернулись из этого великого восхождения. Ура!! Вещи целы.

Курс – на Ясеня. Обеда нет, хлеба нет. Сухарей тоже нет, Джан не привёз сухарей. У меня кончились чернила. Пишу из лужи. Ясиня – наш финиш.

Голос Мельчука:

– А была ли каша-то? Может, каши-то и не было?

А сыр есть?

14 июля

Очевидно, последний день похода.

Пытались завести переговоры насчёт ночлега в колебе, но поскольку переговоры вёл Джан, а он всякие переговоры начинает фразой: «У вас сыр есть?» – то приняли нас не очень любезно. Пришлось ночевать в лесу, а вместо сыра есть перловую кашу.

Перед сном Джан своим меланхолическим тоном сообщил:

– Ночью придёт Гена.

Мы не решились спрашивать, какой Гена придёт ночью, ибо на филологическом факультете, где царит Геннадий Николаевич Поспелов, имя «Гена» считается священным, и подобные вопросы рассматриваются, как нескромные.

Наступила ночь. Далеко-далеко слышен лай собак, шумит ручей, и что-то потрескивает в лесу,

– Слышите треск? Это Гена идёт, – вещает Джан, а девчата тихо скулят.

Среди ночи Игорь вдруг вскинулся и завопил:

– Гады, кто щёлкнул меня по носу?! Я сейчас выбью кол из палатки!!!

Мы прислушались. Снова раздался явственный звук щелчка. На этот раз охнула Верочка. После взаимных обвинений мы решили спать, держа друг друга за руки. Но не успели стихнуть, как я получил щелчок в лоб.

– Чёрт, или я начну верить в привидения, или кто-то шестой есть в палатке!

– Неужели это собака? – поёжилась Верочка.

– Это корова! – сонно ответил Игорь.

– Нет, это всё-таки собака, – сказала Яна, готовясь восстановить справедливость и высвобождая правую руку (собакой она иногда зовет Игоря).

И тут донёсся из угла меланхоличный, полный скрытого ликования голос Джана:

– Это Гена...

...Особенность Карпат – неустойчивая погода. Никогда нельзя быть уверенным, что не будет дождя, какое бы ясное

утро ни встречало вас. Солнце и дождь могут чередоваться до трёх-четырёх раз на дню.

Странные дороги здесь. Идёшь – и она вдруг распадается на коровьи тропки, а коровьи тропки, как известно, отличаются тем, что идут «и туда, и сюда». Конечно, это из области юмористики, но на таком обсиженном туристами участке, как Говерла – Ясеня, где даже чемоданщики могут найти дорогу по указателям, мы умудрились запутаться к потеряли Игоря с Верочкой. А все этот непролазный лес! За полдня до Ясеней, до конца похода!

Игорь и Вера кричат снизу...

Они набрели на колебу, Игорь и Верочка. Сначала мы услышали её голос:

– О, тут сарай, и огонь, и люди!

Подходим, готовимся к переговорам. Всех опережает Джан:

– У вас сыр есть?

В четыре пары рук хватаем наивного персюгу, грубой своей прямолинейностью готового лишить нас последней надежды наесться.

К нам выходит пастух и здоровается по-русски. Садимся на брёвнышки. Заводим речь о погоде. Справляемся о дороге. Выдерживаем вежливую паузу. Кажется, можно *начинать.* Джан набирает полную грудь воздуха:

– А... у вас тут вода есть?..

Парень с готовностью идёт в дом и выносит кружку. Это придаёт решительности нашему дипломату; ласково улыбаясь, он ставит следующий вопрос:

– А у вас здесь... поди-ка... и помидоры есть?

– Есть, а как же, – говорит парень, но не идёт в дом за помидорами.

Джан пьёт пустую воду и продолжает искусный допрос:

– А у вас здесь, поди-ка, и молоко есть?

– Есть и молоко, – улыбается парень. – У нас тут всё есть.

Джан тяжело вздыхает и, покраснев от волнения, наносит решающий удар:

– А у вас тут, поди-ка, и сыр есть? – и замирает, как охотник, израсходовавший последний патрон.

– Есть и сыр, – отвечает парень и глядит на Джана доверчивыми голубыми глазами. Пауза становится невыносимой. Джан смотрит на Яну полным ужаса взглядом, Яна делает вкрадчивый шаг вперед:

– Мы хотели бы купить у вас немного сыра...

– Так это в Ясинях! – радостно кивает парень. – Там, знаете, богато в магазине-то! И помидоры, и молоко есть, а сыру – целый отдельный магазин! – и улыбается счастливой улыбкой патриота. – У нас край богатый!

– А у вас... *здесь...* ничего нету? – спрашивает Яна с последней надеждой.

– Здесь? Не-е-е... Мы здесь временно, – начинает парень, но тут же смолкает, удивлённо провожая взглядом четыре рюкзака, решительно удаляющиеся в сторону Ясиней.

Лесосека. Через полчаса отсюда на Ясиня должна пойти машина.

Вот и всё.

Машина. Походу конец...

Ясиня. Четырехэтажное бревенчатое здание турбазы. Нас направили ночевать на лыжную станцию, но она оказалась забита. Ломать не решились.

А помните...

15 июля

Нас впустили в маленькую пустую комнату напротив кабинета директора турбазы. Матрасы положили между какими-то ящиками.

Среди ночи кто-то впёрся, опрокинув стул, которым была забаррикадирована дверь.

Впёрся и спросил:

– Вы тут спите?

– Спим, – честно сознались мы.

– Ну-ну, – ответил голос и удалился, поняв,что мы не поджигаем турбазу.

Минута молчания. Голос Джана:

– Это был *Гена...*

Утром вставать не хотелось, Мельчук выковыривал из ящиков какие-то бумажки, монотонно объявлял:

– Накладная. Никто не хочет *использовать?*

Яна пыталась ударить его двумя ногами сразу.

– Но ведь накладная – это от слова «наложить». Директор наклал резолюцию! – защищался Мельчук, хватая Яну за ноги. И тут начальником была произнесена фраза, облетевшая впоследствии весь факультет:

– Мельчук!! Ты не смеешь! Я обнажена!

На секунду даже Игорь растерялся. А мы взвыли от восторга.

Яна смущённо оправдывалась:

– Что вы прицепились к фразе? Надо учесть контекст! Ведь всё говорится неспроста!

Молчание. Голос Джана:

– Это к *ней* ночью приходил Гена.

А Игорь продолжает меланхолически перебирать бумажки:

– Приход – расход... Гениально! Если с вечера был приход, попробуй-ка утром без расхода!

– Фу, Мельчук, то есть! – возмущаются девчата.

– О! – взкидывается Игорь. – Я вам спою:

Как на турбазе рвали мы журнальцы,
Зачем листочки, к чему листочки?
Мы обойдёмся тем же самым пальцем
Для пятой точки...

– Игорь, ты окончательно распоясался! – замечает комсорг В. Абызова. – Контра ты скрытая!

– Товарищи! – неожиданно провозглашает начпох.– Это что такое? Это – АБЫЗличка! Распоряжаюсь вас всех встать!

– Я вас всех СХОЖУ В, – угрожает Игорь, продолжая рвать бумажки. – Мы не встанем: ведь поход кончен.

Задумчивый голос Джана:

– Одного три года лечили от желтухи, а потом оказалось, что он китаец.

Мечтательный голос Яны:

– Мне снились пирожки...

– А мне – общежитие на Станиславщине. Помните? *И так вся жизнь проходит...*

– А помните, это там мы видели летние сани! – говорит Игорь.

– А помните, это там мы ели сладкую рисовую кашу, – отзывается Яна.

– А помните – ночь синих... Сгущёнка со снегом.

– А помните...

А помните. А помните.

Вот, всё это уже воспоминания...

Мы влезаем на грузовик, чтобы ехать к вокзалу. Старушка в белом халате подходит к нам:

– Я забыла вас вчера предупредить, но лучше поздно, чем никогда. Дело в том, что вы ночевали в помещении архива турбазы, там стояли ящики с бумагами; так вот: это бумаги нужные, трогать их нельзя.

– Да, да, мы так и поняли сами, – заверяет Джан, на всякий случай зажимая рот Мельчуку.

Старушка радостно кивает уходящему грузовику, нашим бородатым ухмылкам.

Мельчук оборачивается к нам:

– Того Гену, который ломился к нам ночью, я узнал утром по голосу. Это директор турбазы. Теперь я понимаю, зачем он приходил среди ночи в помещение архива...

ИНТЕРВЬЮ НА ФИНИШЕ

Опять Рахов. Залитый солнцем вокзал. Через несколько минут мы разъедемся... Яна и Джан – в Москву, мы с Игорем и Верой – в Ужгород – посмотреть, что там.

Бородатые туристы! Объявляю последнее интервью.

Что скажешь на прощание ты, рыжее чудо, полиглот и главхох, что скажешь? Тебе – первое «последнее слово»:

О, подлый заостритель! Из любви к острому словцу ты готов говорить и писать что угодно! Но в общем ты не так уж плох, бородатый монстр! Только б ты поменьше любил свой АННАЛ, да свою рваную шляпу, да заплаты на своей рубахе, да песню про «Скотный двор», да... Но ништяк! Мы перезимовали. До свиданья, заостритель души моей! Будь здоров! И.М.

– Что думает комиссар?

Думаю, что ты не только заостритель, но и исказитель. Я решительно протестую против твоих попыток создать из меня образ какой-то цыпы, коих я презираю до глубины души. Абыз.

Берегитесь и прячьтесь, пастухи и доярки, свинодёры и сыроделы: слово получает Джан Дорри:

О, друг, ты едешь в Ужгород? Узнай, а сыр там есть? Д. Д.

Капитан последним покидает корабль. Начпох Яна Коршунова, в просторечии прозванная Карр-шунихой:

Последний приказ по Вездеходу ТГ-54.

Часть 1 – эпическая.

1. По случаю окончания похода объявить амнистию и заменить Мельчуку И. А. штрафной батальон ссылкой в Ужгород и далее в курортное село Апшу.

2. Возложить на В. Абызову ответственность за искоренение в ссыльном авантюризма и беззастенчивости.

3. Довести до сознания Л. Аннинского известную одесскую поговорку: «Высунься, высунься, посмотрим, ЧТО ты всунешь обратно», – связав эту поговорку с фактом вступления его на стезю крупномасштабного бродяжничества – туризма.

4. Джану Дорри – удвоить запас анекдотов типа 1 – рассказабельных в любом обществе.

5. Начальнику похода – сорвать с себя знаки отличия, потерять компас, сдать маршрутную книжку и ликвидировать себя таким образом как должность.

Часть 2 – лирическая.

За отличное выполнение боевых поручений объявить благодарность аннальщику – юноше с бородой патриарха, с глазами трёхлетнего ребёнка, в одежде одесского босяка.

Вот и всё. Остается только получить у врача справку, что я *могу быть допущен в поход,* вписать в маршрутку моё имя вместо имени «Ганиев», под которым я был утверждён, и задним числом получить в турклубе дотацию.

И пусть простят мне цивилизованные дамы тот мельчуковатый юмор, который спасал нас на Синевирском спуске и на горе Синих, в дождь под Мокрей и в рыжем лесу на Шанте. А не простят – не надо: хватит и того, что мне прощали клочковатую бороду, расстроенную гитару и рваную рубаху наши милые девчата.

2000. Одну встречу я едва не упустил тогда записать. Хотя то была, можно сказать, высшая точка студенческой солидарности: в Рахове на турбазе мы встретили, наконец, «своих»: тургруппу историков то ли из института востоковедения, то ли из педагогического.

А может, потому и не записал, что встреча выпала из атмосферы «дикого скитания», принятого мной в сверхзадачу «анналов»: нам улыбались скуластенькие загорелые девчата с выгоревшими до льняной белизны чёлками, и создавали они, конечно, отнюдь не «турпоходный» контекст.

Сличили маршруты. Попели друг другу песни. В основном дурацкие: про «пятую точку» и «как поперлися мы сдуру».

Но одна песня, ими спетая, выпала из стиля:

Чутко горы спят... Южный Крест залез на небо,
Спустились с гор в долины облака.
Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был –
В таинственной стране Мадагаскар.

Что-то героически нездешнее. Как «Болотные солдаты». Киплинг? – блеснул я эрудицией. Они назвали другую фамилию, столь же экзотичную. Я её тотчас забыл.

А песня прицепилась:

Чутко горы спят... Чуть колышутся лианы.
Мы тьмой со всех сторон окружены.
Осторожней, друг! Бьют туземцы в барабаны –
Они нас ищут на тропе войны!

– Бьют студенты в барабаны! – глумился Мельчук, и я, обезьянничая, изгалялся вслед за ним: – Бьют доценты в барабаны! Импотенты! Охломоны! Аспиранты-басурманы!

– Это очернение действительности, – морщилась Верочка, а Янка философски замечала:

– Это типичные самохарактеристики.

Мы орали и хохотали.

Фамилия парня, сочинившего песню, закатилась куда-то в память. Через десять лет она выкатилась и запрыгала в устах моей тёщи:

– Этот ваш с гитарой, как его? Изверг.

Ещё через треть века эту фамилию знали тысячи слушателей, и мальгашские студенты в цветных тюрбанах пели под приветственный хохот концертного зала «Россия»:

Чьютко горы спьят, на востоке воздух сьерый,
Но вскорэ солнце встаньет из-за скал!
Осторожньей, друг, тьяжелы и мьетки стрэлы
У жьителей страны Мадагасар!

Над ними реял Первый Спутник, и сверкали на большом экране буквы:

«Планета Визбора».

ПОСЛЕ ПОХОДА

15 июля

От Рахова до Солотвина едем на грузовике с молоденькой работницей Раховского райкома комсомола Мирославой. А устроилось так. Мы шли по улице: Яна, Мирослава и я. Шофёр проходящего грузовика крикнул нам:

– Девчата! Куда же вы с *такой бородой!?*

– В Солотвин! – ответил я, не дрогнув.

– Давайте подкину!

Едем вдоль Тисы. Тот берег – румынский. Румынские горы, румынские деревья, румынские домики.

А где же пограничники с собаками?

Нету.

Но: «висунься, висунься – посмотрим, шо ты всунешь обратно».

Смешно, потому что рядом со мной в кузове – две румынки, и я не понимаю, что они говорят.

Солотвин. Маленький, чистый городишка с соляными шахтами, в том числе действующими. За четверть часа встретили: румына, мадьяра, украинца и гуцула.

За рекой – румынский город Сигет. «Буна зиуа». Около шахт – мадьярский говор: «Кесенем!» Утром гуцул-инструктор пел нам в вагоне тирольские ёдли. А с Мирославой мы здоровались: «Здоровэньки булы!»

Поезд на Ужгород – в 0.45.

Какая неустойчивая погода. Никогда нельзя быть уверенными, что не хлынет дождь, какое бы утро не встретило вас. Более того, солнце и дождь могут чередоваться три, четыре раза.

И ещё особенность: грязюка, «болотца». Даже высоко на полонинах.

Всё время переставляем часы. Во Львове время московское, в Торуни – плюс два часа, в Станиславщине – минус один, опять Закарпатье – опять плюс два. А в Румынии – опять же только час вперёд. Этот винегрет – своеобразное отражение политической истории края: поляки, австро-венгры, румыны, чехи, русские...

16 июля

Ужгород. Бойкий узкоулый торговый центр, извозчики. Чистая, зелёная, аккуратно спланированная административная часть, новенькие белые здания обкомов, облисполкомов, МВД.

В Немецкой Мокре – кирха напротив школы. В Ужгороде во дворе университета – прекрасная греко-православная церковь, одно крыло которой занято под университетскую читальню. Так что при входе можно повесить: «Направо пойдёшь – богу помолишься, налево – Плеханова прочтёшь».

Смущает (чтобы не сказать: возмущает) то чрезмерное, предвзятое уважение, с каким глядят здесь на всякого москвича, особенно университетца.

...Сценка.

– Выпей! Ну?! Без разговоров!

Официант – маленький и хилый – смотрит жалобно, разводит руками:

– Я не...я не.

– А ну!?

Съёжившись, официант опрокидывает стопку, дважды стучит ею об стол в знак благодарности и убегает.

За столом – довольны. Милиционер с расстёгнутым воротом.

Мукачево. Завтра воскресенье – как оно нам портит жизнь. Весь поход портит! Сначала мы запоролись на горе Синих и шли наугад, не у кого было спросить дорогу: ни одного лесоруба, ни одного пастуха – все на воскресенье ушли вниз, в город. Второе воскресенье: мы спустились с Шанты к узкоколейке. Движения нет – пошли к Рахову по шпалам.

И вот настаёт третье воскресенье. Мы с Яной стоим перед начальником мукачевского вокзала и мнём в руках маршрутную книжку и студбилеты. На московский поезд мест не предвидится. Начальник советует:

– Билет берите до Москвы, а поезжайте до Львова, в поезде компостирует билеты поездной контролер... ах, нет, завтра его не будет: завтра воскресенье. Ну, подождите сутки!

Львов. Хвост в камеру хранения. Парнишка-армянин. Отец их с матерью бросил, сын подрос и из Баку поехал к отцу во Львов *знакомиться.* Отец – военный – выкинул сына за дверь. Парнишка рассказывал мне это, дергал кулаками и клялся, что прирежет отца. Не за себя, а за мать, которую отец осыпал бранью.

– Не здесь, так на Кавказе подстерегу. У нас – так!

Я стал ему говорить о дикости кровной и прочей мести и о том, что существуют суды, тюрьмы и прочие средства удержания человека в рамках человеколюбия. Он слушал внимательно и кивал согласно. Потом сказал:

– Всё равно зарежу.

Ему семнадцать.

Мы проговорили с ним несколько минут. Он меня тоже раскусил:

– У нас в Баку хулиганов много. Как танцы – так ножи, драки. – Всмотрелся в меня и успокоил: – Но я не хулиган, нет!

Город, оказывается, красив. А когда из Москвы приехали, ночь стояла, идти надо было по какой-то горбатой улочке с фонарями. Запахло губернскими очерками Щедрина. Да и Москва

не лучше – только шагни с главного проспекта. Один Ленинград – *город* до мозга костей, до окраин.

От Львова – ещё два впечатления. Во-первых, заспанное лицо женщины в окошечке справочного бюро, она пялила на меня испуганные злые глаза и выкрикивала:

– Нет! Нет ничего! Ни билетов, ни поездов! Оставьте меня в покое! Чего вы на меня так смотрите?!

Во-вторых, парень в камере хранения. Это ещё по пути *туда.* Парень не хотел взять наши рюкзаки на полчаса. Мы уговаривали:

– У нас полчаса до поезда, мы хотим город посмотреть!

Он сказал, указывая на Янку:

– Пусть она с вещами посидит.

– Да она с нами в город идёт!

Парень замешкался. От него требовался, конечно, из ряда вон выходящий аргумент. И аргумент явился. Парень посмотрел на Яну, посоображал и радостно оповестил нас:

– Ну и вот!

Весь поход мы ржали над этим перлом. Бывало, прокричит Янка:

– Вздрючивайся!

Игорь лежит и отвечает лениво:

– Подожди, Вера ещё не собралась.

– Нет, я собралась уже! – подаёт голос Вера.

– *Ну и вот!* – изрекает Игорь, продолжая лежать.

18 июля

Завтра – Москва. Десять дней до лагеря. Повидаться с Таней Н. Проявить плёнки.

Мельчук, в отличие хотя бы от Верочки, сразу демонстрирует себя во весь рост, без хитростей, «потолок» его настолько высок, что он не боится его показать. Поэтому Игорь отдаёт всё своё сразу, ничего не «придерживая», не интригуя и не отмалчиваясь «глубокомысленно».

Он дал мне очень, очень много. Хотя кое-что настораживает меня в нём по пустякам.

Я заметил, что при всей его ядовитой иронии, при изощрённом умении всё выворачивать в шутку и издёвку, в том числе и над Яной, иногда он говорит:

– Язя... – так странно нежно и смущаясь.

Однажды ночью, когда что-то не спалось, он сказал мне:

– Девушки любят красивую внешность.

Вздохнул и прибавил:

– Что же я могу поделать?

А утром опять встал весь ощетиненный шуточками.

ПИШИ МНЕ В ЛАГЕРЬ

17 июля 1955 г.

Милый мой путешественник!

Открыточка твоя добиралась очень долго, десять дней; пишу на Москву, хотя не знаю, когда приедешь и сколько осталось до лагерей.

Позавчера уехала Ирина, а накануне мы звонили домой и узнали, что ты собираешься задержаться у красавцев-русинов. Когда-нибудь (может, в лагере) будет минута, и настроение, и ты напишешь мне о зелёных горах, бурной реке Теребле, тяжёлых рюкзаках и обо всём хорошем, на что хватило или не хватило бумаги. Я чувствую, что открытка написана спешно, как взгляд в сторону, когда видишь интересное. Уверен, что это интереснее Селигера именно потому, что серьезнее. Сколько новых мыслей, сколько хороших песен, сколько впечатлений – я на всё претендую по праву почётного ценителя.

Сегодня у нас воскресенье и идёт дождь (а у вас?), с моего четвёртого этажа видны все лужи на Уралмаше, на них от дождя пузыри. Приходится верить приметам, если это продолжается целую неделю.

Я по привычке встал рано и для поднятия бодрости завёл магнитофон; в моей фонотеке по-прежнему одна дежурная лента, на ней Ив Монтан, Шульженко, Гаспарян... Надеюсь, что Ирина привезёт кассет.

Лёська, почему ты сорвался с места и не известил о своем летнем расписании? Я совсем не в курсе дела. Давай, делай толковое письмо.

Что нового, как литературные перспективы?

Я много работаю, хотя в течение месяца – неодинаково, как-то получается, что когда что-то становится ясно, уже не хватает времени. Числа с 20-го до 1-го приходится работать вечерами, а первая половина месяца – моя, то есть вечера – мои. В это время я занимаюсь. Как раз перед отъездом Иринки закончил одну работу; в основном математика и теоретическая механика, но исходит из нашей насущной практики. Кажется, это будет в съедобном виде. Съедобное – это значит такое, что имеется непосредственный, близкий

и легко осуществимый выход в практику, то есть начальство должно быть заинтересовано. Материал лежал под ногами, надо было только взяться. Дело касается методики расчёта упоров с учётом ударного погружения (обычно такого расчёта не делают, потому что «удар – дело тёмное»). Помимо самостоятельного значения, это дело должно подготовить начальство к приёму материала, для меня значительно более интересного и перспективного, но менее съедобного (это старая история о прокатке в фасонных калибрах).

Окромя перечисленного, собираюсь более регулярно работать с периодикой, в том числе старой и реферативной. Вот.

Лёська, Иринка пробудет в Москве дней десять, ты бы её сводил куда-нибудь. Ну, целую, жду ответа, привет всем тёткам. Вадим.

29 июля 1955 г.

Милый Вадим!

Письмо твоё получил 19-го, сразу по приезде, но с ответом тянул, дабы описать тебе семейное торжество 28-го.

Но по порядку.

Очень, очень рад за тебя в связи с твоими индийскими станами. Ирину допрашивал с пристрастием. Узнал, что ты пишешь статью. Вадим, это же и есть главное, самое главное в жизни. Эти твои успехи радуют более всего. Двигай свою машину!

Сообщил о твоих успехах Розе, она отдыхает в Звенигороде. Её ответ: «Я всегда была уверена, что Вадим будет хорошим инженером и крупным специалистом своего дела. По-видимому я не ошиблась и очень этому рада».

Это – обзор печати.

Теперь о планах и перспективах.

Закарпатье позади. Десять дней печатал снимки и переваривал впечатления. Все это настолько интересно, многообразно и сложно, что не успел кончить даже предварительных наметок для фотоальбома. Остаётся всё каким-то разноцветным клубком.

Привёз из похода обширные записи, которые получили у нас странное название «анналы» – не по аналогии с ежегодностью, а по созвучию с анальностью (мельчуковский юмор): две записные книжки, писанные и под дождём (под плащём), и на пеньке, и при свечке в палатке, и на рюкзаке. Получился эда-

кой разнопёрый паноптикум, но зато – там ВСЁ, и ничего не прибавить. Высылаю их тебе сегодня бандеролькой, почитай, может, будет интересно. Сначала читай красную книжку, потом белую. Что скучно – пропускай. Учти, что записи отрывочны, потому что писались на коротких привалах.

Вот. Очень прошу: верни мне эти «анналы» до 20 августа: приезжают с юга наши походные девчата и потребуют их читать. И напиши, как тебе понравилось.

Завтра в 6 утра выезжаю на сборный пункт – и в военный лагерь. На 30 дней, до самого сентября. Заманчивая перспектива – кричать по вечерам: «...надцатому дню лагерной жизни пи-и-и...ец!» – помнишь? Ты мне рассказывал про этот обычай после твоего лагеря. Я это два года назад передал нашим ребятам на первых сборах, и вскоре это орали уже во всех палатках, включая сержантские.

Уверен, что в этом году традиция продолжится.

Теперь вот о чём. В Ужгороде СВОБОДНО продаются магнитофоны «Днепр-5», а также портативные – по 1000 руб. Хотел купить тебе плёнки и катушки, но отдельно не продавали.

Иринка уезжает сегодня в 8 вечера. Выглядит она получше, чем зимой. Настроение хорошее. Вчера она встретила на вокзале «Гогу и Магогу», то есть кузенов Гогу Смоленского и Толю Крисилова, а вечером у вас на Донском был дан в честь дня рождения твоей мамы, а моей тётки, бал.

Я сидел за столом в ожидании гостей и жадно смотрел на полные блюда; голод не тётка, но моя тётка, а твоя мама, была, видимо, не голодна и не позволяла есть до полного сбора гостей.

Наконец в коридоре послышался иркин голос и звуки поцелуев. На пороге явилась высокая женщина с приятным взглядом – гогина жена Галя. Затем показался необъятной ширины белый костюм, по степени измятости похожий на пижаму, а когда костюм протиснулся в дверь, я увидел усталые чёрные глаза и добродушную улыбку: Гога.

Достали твои письма, прочли вслух.

Потом пили за именинницу и за гостей. И за тебя пили, отдельно и обильно.

Сидели до двенадцати. Гога рассказывал про сумасшедших, потом посмотрел на часы и сделал Гале страшные глаза. Но было так хорошо, что уходить не хотелось. Тогда Гога стал кружить вокруг стола за спинами гостей, большой, похожий на Пьера Безухова, а именинница радушно предлагала:

– Ну, Гога, посидите ещё вот на этом стуле.

Хороший был вечер. Хорошие люди.

Ну, кажется, всё описал.

Сейчас три часа дня. Осталось десять часов до конца моих последних студенческих каникул, и вообще каникул. Потом – лагерь, диплом, суетня учебного года, распределение...

В газете «Московский университет» предвидится работа в отделе литературы и в отдела сатиры. Но это – если не упекут в бюро. А хотят упечь.

Крепко целую тебя. От мамы привет.

Пиши мне в лагерь – я вышлю адрес.

Лёська.

г. Москва

Сергей КРИВОРОТОВ

ТЕНЬ ЛАТИНСКОГО КРЕСТА

Католическая экспансия на Нижней Волге

Впервые посланцы папы римского проникли на Русь одновременно с православной верой, перенятой от Византии. Во все времена монахам-католикам было свойственно активное вмешательство в местные политические дела и воинствующая пропаганда. При этом для достижения своих целей они использовали любые доступные им средства. Это отличало их от более умеренных представителей других течений христианства, например, протестантов. Поэтому не случайно отношение к ним местного населения и православного духовенства. Если протестанты ещё при Иване Грозном пользовались правом строить кирхи в местах своего проживания, включая Москву, то католики смогли возвести первую деревянную церковь в России лишь в конце XVII столетия и без официального на то разрешения.

Отношение к католикам заметно меняется лишь при Петре Первом после его возвращения из пятнадцатимесячной поездки в Западную Европу. Приступив к основательной перестройке государства и уже начав Северную войну за выход к Балтике, Пётр обнародует 16 апреля 1702 года высочайший манифест о вызове иностранцев в Россию, «дабы наши поданные могли тем более и удобнее научиться поныне им неизвестным познаниям и тем искуснее становиться во всех торговых делах». Но главное, без иноземцев невозможна была реорганизация армии на европейский лад, создание собственного флота и победа над Швецией.

Чтобы сделать царскую службу и поселение в России более заманчивыми, для них предоставлялась наряду с другими льготами и свобода вероисповедания. Во 2-м пункте манифеста говорилось: «Станем смотреть, чтобы по-прежнему обычаю никто как в своём публичном, так и частном отправлении богослужения обеспокоен не был». И далее: «при чём мы по просьбе

таковых единоверцев, им дозволяем и в других местах строить новые церкви».

Расчёт Петра оправдался – иноземцы массами устремились в Россию и стали оседать в разных городах и селениях. Некоторое время спустя католические миссионеры добились особой льготы: указом от 2 декабря 1705 года им был дозволен свободный проезд через Россию в Китай и Персию.

Неизбежно они должны были обратить особое внимание на Астрахань – важный стратегический центр на пути в Персию. К тому времени посланцы Рима уже вели широкую пропаганду в Персии и в Закавказье среди местных христиан, зачастую не без успеха убеждая их в преимуществах католического вероучения перед прочими. Во время своих миссионерских вояжей латинские патеры неоднократно останавливались в Астрахани и, наконец, решили попрочнее обосноваться в этом городе. Их привлекло выгодное географическое положение Астрахани, а удалённость от высшей административной власти и разнородность населения сулили успех насаждению здесь католицизма.

Надо отметить, что в Астрахани, задолго до петровского манифеста создались благоприятные условия для поселения иностранцев. Почти одновременно с православными русскими в низовьях Волги появились католики и протестанты. Астрахань являлась не только военнно-политическим и экономическим, но и религиозным русским форпостом среди формально российских, но фактически мало контролируемых поволжских степей. Ещё в 1689 году в наказе астраханским воеводам предписывалось призывать в Астрахань всех иноземцев, «чтобы по призывам тех иноземцев населилось многое число, и чтобы от того многолюдства в Астрахани торги меж ими и купецкими людьми множились, а астраханские всяких чинов люди полнились и богатели, а казне великих государей таможенный сбор нажился».

Особо многочисленной и процветающей к прибытию латинских миссионеров являлась армянская колония. Со времени завоевания Астраханского ханства в царствование Ивана Грозного армяне вместе с другими иноземцами начали приезжать сюда с товарами на судах, а потом и сухим путём через Моздок и степи у реки Терек. В XVII веке русское правительство, преследуя свою выгоду, разрешило им селиться в Астрахани в строго очерченной зоне на так называемом Садовом бугре. Предприимчивые армяне быстро захватили в свои руки почти всю астраханскую торговлю и, сделавшись посредниками между Персией и Россией, создали в 1673 году Джульфинскую ком-

панию, которой было предоставлено право торговать сырцовым шёлком и другими товарами не только в Астрахани, но и внутри России.

Ввиду отсутствия в здешнем крае природных католиков именно богатые армяне показались латинским патерам наиболее заманчивым объектом для их религиозной пропаганды.

О появлении первых католических миссионеров в Астрахани сохранилось письменное свидетельство одного из них, некоего Антония Марка, прибывшего в Астрахань из Персии в апреле 1718 года при астраханском оберкоменданте Чирикове «от духовного чина папы римского и от кардиналов по указу». При этом у самого Антония Марка не имелось ни надлежащего разрешения, ни даже паспорта. В городе уже находились два его коллеги – Бонавентура, умерший вскоре в Москве, и Иоанн, отбывший позднее миссионерствовать в Бухару. Не имея костёла, патеры эти, по словам Антония, совершали богослужения в домах без царского на то указа, а единственно с позволения папы римского.

Об этих патерах и присоединении к ним ещё одного, Патриция Медиоланского, сообщает впоследствии и хроника местного костёла, в которой говорится также о приобретении ими 11 июня 1716 года дома в Астрахани за 100 рублей. В доме этом была устроена часовня, где совершались католические службы, но дом вместе с часовней будто бы сгорел во время пожара в 1718 году.

Достоверных сведений о том, находился ли в Астрахани до этих патеров кто-либо из католического духовенства, Антоний не имел, но слышал от армян-католиков, что прежде при воеводе Апраксине (около 1708 года) проживал в Астрахани какой-то патер, неизвестный даже по имени.

Однако в местной церковной хронике упоминалось, что ещё в 1687 году заезжал в Астрахань по пути в Персию иезуит Тадеуш Красинский.

Как бы то ни было, до патера Антония от прежде бывших его коллег в Астрахани не осталось никаких вещественных следов.

Антоний Марк первым начал обдумывать план постройки латинского костёла. Что это было с его стороны? Костёл в городе, совершенно чуждом католичеству… Авантюра? Нет, то был трезвый и уверенный расчёт, «будет двор, будут и овцы». Костёл значительно укрепил бы положение патеров, да и немногие рассеянные по городу католики оказались бы сплочены. План этот требовал времени и денег, и Антоний остался в городе для его воплощения.

В феврале 1719 года капуцин Патриций Медиоланский отправился к царю с ходатайством о дозволении строительства костёла в Астрахани. Царь Пётр, не видя ни от костёла, ни от самих патеров особой пользы для государства, не спешил с официальным ответом. И капуцин остался в столице ожидать царской милости.

Тем временем в 1719 году была учреждена Астраханская губерния, роль Астрахани как торгово-политического центра на юге ещё более возросла. Воспользовавшись покровительством первого губернатора, патеры усилили католическую миссию, в августе 1721 года патер Антоний поспешно выстроил деревянный костёл. «И для знаку на том костёле поставлен крест с ведома губернатора Артемия Волынского». Расследованием этой тёмной истории занялся созданный в 1721 году святейший Синод, высший государственный орган, ведавший делами православной церкви, в частности борьбой с иноверцами и еретиками. Основанием для расследования послужил донос астраханского епископа Иоакима. Одновременно Преосвященный пожаловался и на миссионеров-протестантов: «Лютеранский пастор Яган Сикилис близ православной церкви построил свою церковь и чинит сим помешательство». Единственным результатом и этой жалобы явилось только то, что ревностный православный святитель впоследствии впал в немилость у императора.

Для поддержки Антония из Петербурга прибыли сразу четыре капуцина – Казимир, Удальрик, Фиделий и Романус, обратившиеся для этого непосредственно к царю, поясняя, что «по ординации папежа римского ординованы они для экзерцыцы католической веры в России». При этом они обосновали своё прошение тем, что «в Астрахани капуцинского закона капуцинов 3 человека обретаются тому лет за пятьдесят (?!) и из них ныне там токмо один, а двое померли; да к тому же войска Вашего Величества от кавалерии рязанского полку капитан Шарге нам объявил, что в Низовом корпусе офицеров и всякого чина людей и служителей римского исповедания обретается многое число, а духовника через продолжительное время не имеют и желают, дабы для исповедания и у них нам пребыть».

Прошение было передано в Синод, который, не рассматривая его, распорядился в коллегии иностранных дел расследование «о даче паспортов учинить, какие указы повелевают».

Коллегия прежде навела справки. Было получено донесение Ивана Кикина от 2 марта 1722 года с копией показаний патера Антония и рапорт Волынского от 19 апреля того же года.

Кикин сообщал, что по записям в торговых книгах губернской канцелярии и таможни в Астрахани «римского закона купецких людей – французов, цесарцев, немцев, как приезжих, так и постоянных жителей нет, а есть ныне в католической вере из армян, которые приехав из Персии, живут в Астрахани. А раньше сего приезжали ль таковые купцы в Астрахань, о том губернской канцелярии не известно и справиться не с чем».

Патер Антоний Марк, кроме сведений о себе, о прежних патерах и о костёле, подтвердил донесение Кикина о том, что других католических купцов, кроме армян, в Астрахани действительно нет и были ль прежде, он не знает, а «означенных католических армян будет с 12 дворов и те имеют у себя жён и детей, а прочие католического закона армяне, которые не имеют жён и детей, приезжают в Астрахань за торгом на время, и те живут на гостином армянском дворе в наёмных лавках».

Губернатор Волынский, приводя в своём рапорте данные патера Антония, усилил их, указав ещё на служилых людей, отметив, что «в службе Его Императорского Величества иноземцы, цесарцы и прочих народов римской религии есть в Астрахани, также и купцы армяне того же закона многие».

Волынский безоговорочно высказался за приезд новых патеров и не только не ожидал от них никакого вреда, а напротив предвидел получить даже большую пользу для астраханцев, «понеже из здешнего такого сурового народа обучаются от них молодые дети латинского и прочих языков».

С учётом благоволения Петра I к иноземцам и столь благоприятного для патеров отзыва астраханского губернатора капуцинам были выданы паспорта и разрешён проезд в Астрахань, куда они прибыли в июле 1722 года. С этого времени католичество закрепилось в Астрахани.

19 июля того же года царь Пётр отправился с войсками в Персидский поход. Его двукратное пребывание в Астрахани и царское недовольство епископом Иоакимом как бы наложили законную санкцию на своевольные действия патеров. Вскоре по возвращении царя в северную столицу «за некоторые Его Величеству известные причины велено по Именному указу от 13 января 1723 года его (Иоакима) вывести и определить в которую пристойно епархию викапием».Существованию костёла не могла теперь угрожать никакая опасность со стороны руководства православной церкви.

Губернатор Волынский предоставил патерам широкое поле воспитательной деятельности в среде русского юношества, чем

они с охотой воспользовались. Была создана школа капуцинов при костёле. Об успехах патеров на этом поприще свидетельствует тот факт, что из этой школы вышел первый российский академик В. К. Тредиаковский.

Борьба духовных властей против капуцинов развернулась уже после Волынского при епископе Варлааме с 1728 года. Поводом явилось публичное служение литургии патером французом Иоганном Баптистом в кремле в доме самого губернатора Фон-Менгдена. Но усилия местного православного духовенства наталкивались на сопротивление светских властей, продолжавших из своих интересов покровительствовать капуцинам.

Первый католический костёл в Астрахани просуществовал недолго. В донесении 10 февраля 1739 года губернской канцелярии в коллегию иностранных дел упоминается, что построенный «собственным иждивением патера Антония костёл обветшал» и в 1734 году по прошению католицкого патера Иосифа сломан, а на том месте построен новый «их же патерским и мирским того закона подаянием и иждивением, в котором и поныне службу они, патеры, отправляют».

Как уже отмечалось, не имея определённой паствы, астраханские патеры усиленно занимались пропагандой своего учения среди приверженцев других вер и исповеданий, в особенности среди армян. Официальное запрещение пропаганды они в какой-то мере соблюдали лишь в отношении урождённых русских. Перед прочими национальностями они не считали себя связанными каким-либо обязательством. За подобную практику выслали из Астрахани патера Рудольфа, вынужден был уехать патер Иоаннес, однако на смену им в 1748 году прибыли римские капуцины Франциск-Мария-Агроне и Габриэль Авви Лафорио, продолжавшие их дело с большей скрытностью и осторожностью.

Патеры разъезжали по разным прикаспийским городам и везде с успехом вербовали себе новых последователей, пользуясь любыми дозволенными и недозволенными средствами. С каждым годом число вероотступников у армян увеличивалось. Это в первую очередь затрагивало интересы армянского духовенства, и оно не сидело сложа руки.

Так, армянский архиерей Стефан повёл против капуцинов настоящую войну. В донесении архиепископу Иллариону 14 апреля 1755 года он сообщал, что проживающие в Астрахани патеры Франциск-Мария, Гавриил и Сотер только в этом году отторгли от армянской веры и совратили в своё папежство многих

находящихся здесь и в Кизлярской крепости армян, приезжая из Астрахани в Кизляр, «что по присяжной моей должности нестерпимо мне оказалось».

В другом донесении архиерей Стефан обвинял тех же патеров в том, что «они чинят армянской церкви и народу обиду», приводил при этом ряд фактов о насильственном обращении армянских детей в католическую веру.

В марте 1756 года патеры Франциск-Мария и Сотер в свою очередь отправились в Петербург и подали в Синод жалобы на Стефана с контробвинениями.

Стефан последовал их примеру и также обратился лично в Синод с изложением всего дела с поимённым списком армян, «совращённых патерами в католичество».

Капуцины были признаны виновными «в совращении и крещении природных российских подданных в свой римский закон» и по их желанию отпущены из России – Сотер в Турцию, Франциск-Мария в Италию. Причём, в коллегии иностранных дел заявлено было, что «им обоим по таким их непристойным и неспокойным поступкам впредь в здешнюю империю въезжать запрещается», о чём дано знать во все пограничные города, в том числе в Астрахань и Кизляр, для того, чтобы «те оба капуцина из-за границы в Россию отнюдь пропущены не были».

Только вмешательство Римско-Императорского (Австрийского) чрезвычайного посла графа Эстергази спасло от дальнейшего преследования третьего капуцина Габриэля Авви Лафорио, против которого также были возбуждены следственные дела. Астраханской губернской канцелярии коллегией иностранных дел было предписано соблюдение осторожности в отношении патера «не по иному какому случаю, но единственно в рассуждении чинимого от Римско-императорского посла за капуцинов заступления». Такое внимание к послу объяснялось тем, что он представлял Австрию, с которой Россия была тогда связана договором о совместной войне против прусского короля Фридриха II.

Одновременно Синод решил окончательно разобраться «о оном римском костёле, что надлежит ли оному впредь быть или упразднить его следует».

По представленным из губернской канцелярии сведениям на 27 апреля 1760 года «цесарцев в Астрахани в жительстве никого не имеется, а есть особые европейцы, но и те состоят в лютерском, а не римском законе». К католической же церкви принадлежало всего 308 мужчин и 11 женщин и все из местных,

причём, 178 из них не являлись российскими подданными. Донося об этом в Синод, тогдашний епископ Мефодий заключает: «и тако за неимением в римском законе природных того закона людей вышеписанному римскому костёлу в Астрахани быть подлинно не для чего… и дабы имеющиеся при оном костёле патеры… в свой римский закон впредь совращать не могли, оный их костёл всемерно упразднить, и тех патеров с прочими их духовными чинами из Астрахани выслать следует».

Но оставшийся в Астрахани патер Габриэль, опередив епископа, обратился в иностранную коллегию. Ссылаясь на указ Петра I от 1720 года, дозволявший якобы построить им, капуцинам, церкви, он сообщал, что «ныне… в Астрахани деревянная совсем обветшала». Почему он от всего капуцинского ордена и именем римско-императорского посла Эстергази просил, чтобы дозволено было им построить каменную.

Никакого подобного указа в 1720 году Петром не давалось, а потому его не оказалось в архиве. Иностранная коллегия была поставлена в затруднительное положение.

Пока продолжалась бесплодная переписка по этому вопросу, в Астрахань прибывают новые патеры, капуцины ордена св. Франциска Канутус, Кресенциус и Ромуальдус с паспортами от Римского императорского двора с визами Венгеро-Богемской королевы Марии-Терезии. В городе они появляются в 1760 году, а 15 января 1761 года астраханская консистория сообщала губернской канцелярии, «что оные капуцины о превращении в свой закон из разных иноверцев стараются неусыпно, ходят по дворам и не только иностранному народу, но и русским больным людям дают лекарства, неизвестно откуда получаемые». Таким образом, патеры расширили поле деятельности, не ограничиваясь уже пропагандой и обучением. Уместно заметить, что новый руководитель миссии патер Тиснарий Пётр Ромуальд а Понто имел степень доктора медицинских наук.

В губернской канцелярии был найден указ из коллегии иностранных дел от 30 октября 1760 года, коим велено «по требованию калмыцкого хана Дондука-Даши из вышеназванных капуцинов одному Ромуальдусу для лечения в калмыцких улусах больных из Астрахани к нему, хану и ездить позволить, и лекарства, какие по представлению его будут надобны, из здешней аптеки за деньги его ль собственные или ханские отпустить; да и впредь, буде хан когда его требовать, будет и сей патер на то согласится, в том ему не запрещать».

Вместе с лечением телесных недугов патеры приступили к распространению своей пропаганды в калмыцких степях. Духовные власти не могли равнодушно смотреть на это, не без их вмешательства следует отказ астраханской аптеки отпускать медикаменты по рецептам католической церкви.

Потерпев поражение в побочном предприятии, патеры не пали духом и ловко использовали изменение обстановки с воцарением Петра III в 1761 году. Новый император, будучи голштинского происхождения, ненавидел православную церковь и благоволил ко всему иностранному. Стремясь навечно закрепиться в Астрахани, патеры поспешно возводят вокруг имевшегося деревянного костёла каменные строения.

В следующем году с приходом к власти Екатерины II для них открылась возможность получить законное разрешение на новый костёл. Уже начатая постройка требовала больших денег, которых у малочисленных астраханских католиков, естественно, не могло хватить. Приходилось изыскивать средства на стороне, в первую очередь в Закавказье и в Персии. Так, с этой целью руководитель капуцинов Ромуальд в 1763 году отправляется в Персию. При новой императрице иностранцы всякого христианского исповедания стали объектом особой заботы правительства, и он получает официальное разрешение на поездку. Вернувшись через год, Ромуальд продолжает строительство костёла, не ослабляя усилий по розыску нужных денег. Благодаря его изобретательности постройка продвигалась вперёд. В 1773 году следует указ Синода о невмешательстве в дела иноверных христиан, теперь уже ничто не могло помешать завершению костёла.

В 1776 году префектом католической миссии Ангелусом, находившимся в Астрахани уже тринадцать лет, были торжественно освящены и установлены кресты на двух колокольнях нового костёла. В ноябре того же года Ромуальдус получает разрешение от папы Пия VI освятить завершённый храм. Но это торжественное событие происходит лишь два года спустя в день Святого Франциска. Толпы астраханцев всех проживающих в городе национальностей и сословий, представители светских властей наблюдают этот триумф католической миссии. Дело Ромуальда завершено. В память о его заслугах портрет, писанный масляными красками, установлен впоследствии на одной из стен, а самого Ромуальда после смерти погребли там же, внутри храма.

С построением величественного и просторного каменного костёла жизнь католиков стала спокойнее. Патеры умерили

активность своей пропаганды, что нашло признательность у руководства астраханской православной церкви. Одним из свидетельств этого явилось разрешение в 1799 году патеру Антоновичу преподавать латынь и французский язык в астраханской духовной семинарии.

В начале XIX столетия в Астрахань вместо капуцинов прибыли иезуиты – Вайцвило, Мамве и Вадзевич. С их приездом католическая пропаганда среди населения вновь оживилась, причём, теперь, как вообще свойственно иезуитам, большее внимание уделялось воспитанию детей. В 1807 году с разрешения учебного начальства при астраханской католической церкви открылся благородный пансион от Плоцкой иезуитской Академии. Большинство учащихся составляли дети армян. Последователи Игнатия Лойолы вновь распространили католическую пропаганду за пределы города на калмыцкие улусы. Но в 1816 году их представителей выслали из Москвы и Петербурга, а в 1820 году последовал указ о высылке всех иезуитов за пределы Российской империи. Однако в Астрахани они оставались ещё три-четыре года благодаря доброжелательности к ним местных светских властей и населения.

На их место прибыли патеры францисканского ордена. Кроме главной церкви в 1820 и в 1844 годах были выстроены две каменные часовни. В конце XIX века создалось Астраханское Римско-католическое Благотворительное общество, просуществовавшее до конца 1917 года. В его задачи входила помощь неимущим католикам, содержание детской школы для детей католического вероисповедания.

Вопрос о том, утвердился ли латинский крест на астраханской земле или посланцы папы потерпели поражение, остаётся спорным. Несмотря на длительные усилия папских миссионеров – капуцинов, иезуитов, францисканцев, их просветительскую, лечебную, пропагандистскую деятельность, католицизму не удалось завоевать широкой базы среди населения. Он остался чужд подавляющей массе астраханцев. И всё же несколько цифр: на 1900 год в городе насчитывалось менее 2.000 католиков, в основном армян. К концу 1914 года в школе астраханского римско-католического благотворительного общества состояло всего 45 учащихся.

В 1917 году в России пришли к власти большевики, и Римско-Католическая Церковь разделила участь всех остальных Церквей и религиозных организаций, исключая синагоги, которых погромы чудесным образом, а точнее по воле новых хозяев

страны не коснулись. Однако в стране, называвшейся теперь СССР, костёл в Астрахани был разграблен и закрыт только в 1936 году, что само по себе свидетельствовало об авторитете католической миссии среди местного населения. Какое-то время в его помещении находился мучной склад, что предотвратило более значимые разрушения этого уникального архитектурного памятника.

Только в 1991 году встал вопрос о возвращении костёла верующим. Начался новый расцвет католицизма в низовьях Волги. Возобновлённая культурная (концерты, библиотеки и т. д.) и социальная (помощь малоимущим, старикам, летние лагеря для детей) деятельность находит всё большее признание у местного населения. Католические приходы становятся всё большими центрами притяжения для верующей молодёжи и приобретают авторитет у властей, несмотря на крайнее недовольство современных православных владык подобным «католическим прозелитизмом».

В 1998 году Ватиканом была учреждена должность викарного епископа по южному региону с резиденцией в Саратове, что фактически означало возрождение Саратовской католической епархии. Католическая экспансия на юге России возобновилась, не только восстанавливая утерянные за годы советской власти позиции, но и завоёвывая новые.

г. Астрахань

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 2015 ГОД

ПРОЗА

Бородина Мария
Лесной город. Повесть . . . . . № 7-9

Габова Елена
Станция «Поздно» . . . . . № 1–3

Гаммер Ефим
Медальон. Рассказ . . . . . № 4-6

Журавлёв Сергей
Зимние яблоки. Рассказ . . . . . № 1–3

Изборцев Игорь
Свадьба. Огуречный тракт. Рассказы . . . . . № 10-12

Канев Андрей
Беженцы. Рассказ . . . . . № 1–3

Козлова Елена
Над обрывом плакала гармонь. Рассказ . . . . . № 1–3

Ломбина Тамара
Люблю, как десять жизней. Рассказ . . . . . № 1–3

Михайлов Игорь
Мост через время. Цикл рассказов . . . . . № 4-6

Моргулис Михаил
Изабелла. Рыжий Чарли. Рассказы . . . . . № 10-12

Полугрудов Алексей
Васькино счастье. Рассказ . . . . . № 1–3

Спичак Григорий
Танец. Рассказ . . . . . № 1–3

Столповский Петр
Дед Ермил. Рассказ . . . . . № 1–3

Сукачёв Вячеслав
Спящий в ножнах. Роман . . . . . № 7-9, № 10-12

Сухнев Вячеслав
Поворот Днепра, или Русские на луне. Роман . . . . . № 1-3, № 4-6

Титов Александр
Царствие ему небесное… Пой, труба!.. Рассказы . . . . . № 4-6

Ульянов Александр
Хмурая осень. Рассказ . . . . . № 1–3

ПОЭЗИЯ

Аврутин Анатолий
Неподкупные звёзды . . . . . №4-6

Алейников Владимир
Сохраняют деревья силы . . . . . № 10-12

Афанасьева Елена
Два неба в глазах . . . . . № 1–3

Беликов Юрий
Ранний выплеск лавы.
Вегин Петр. Об авторе. Даже в яркие дни. № 10-12

Бутырева Галина
Высота твоя, Господи . . . . . № 1–3

Вьюхин Валерий
Судьба рисковая . . . . . № 1–3

Евтушенко Евгений
Не теряйте отчаянья . . . . . № 10-12

Калашников Геннадий
Восходят наши души . . . . . № 7-9

Карабинская Инга
Путеводная нить . . . . . № 1–3

Коркунов Владимир
Из заката – в апрель . . . . . №4-6

Кудимова Марина
Соглашаюсь на однажды . . . . . №4-6

Лебедев Гарри
Вровень с неба синью. Книга в журнале
Петров Виктор. Об авторе. Богатяновская муза . . . . . № 10-12

Мирошниченко Надежда
Для травы не бывает оков . . . . . № 1–3

Могутин Юрий
Отчая десница . . . . . № 7-9

Нестругин Александр
Пристрелянный век. . . . . №4-6

Петрушкин Александр
Стебли чужих дыханий . . . . . № 7-9

Попов Андрей
Русские думы и веси . . . . . № 1–3

Салтанова Валерия
Две полярных стороны. . . . . №1–3

Степанов Евгений
Ты – это я. Из лирической тетради . . . . . № 7-9

Тимин Владимир
Сто развилок. . . . . № 1–3

Тихомиров-Тихвинский Виктор
Мирские углы . . . . . № 7-9

НАШ ШОЛОХОВ

Петров Виктор
Перо на постельном белье. Ответ члену редколлегии журнала «Дон» Валентину Осипову. Послесловие на сайте газеты «День литературы» . . . . . №7-9

Ушаков Николай
Причастность. Поиски рукописи «Тихого Дона» . . . . . №7-9

СМЫСЛ

Бубнов Александр
Жанры, строфы, стили, языки…. . . . . №4-6

Сафронова Елена
Критика в тридевятом царстве . . . . . № 1–3

Терёхина Наталья
Точка перед взрывом Вселенной.
Особенности прозы Николая Иванова . . . . . №4-6

Уайльд Оскар
Критика сама искусство (Публикация Владимира Соколова) № 7-9

СРЕДИ КНИГ

Библиосфера . . . . . № 1–3

Коркунов Владимир
«Ростовский текст» Виктора Петрова . . . . . № 1–3

Попов Михаил
Русский поезд на крутом повороте . . . . . № 1–3

ИМЕНА

Лосева Наталия
Принципиально провинциальный.
Судьба романа Юрия Красавина «Письмена» . . . . . № 7-9

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕСТА

Петров Виктор
Третья арка . . . . . №4-6

МИНУВШЕЕ ОБЪЕМЛЕТ

Аннинский Лев
Полонины Карпат . . . . . № 10-12

Калинина Наталья
Война была так близко… Моя Елена Образцова . . . . . № 4-6

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Яровой Александр
И на камне взойдёт жито… . . . . . №4-6

ДОСЫЛ

Аро Юлия
Я живу в Донецке . . . . . № 1–3

ЭКСКУРС

Сергей Криворотов
Тень латинского креста.
Католическая экспансия на Нижней Волге . . . . . **№ 10-12**

СЕВЕР-НА-ДОНУ

Петров Виктор
Вот он, край земли! . . . . . **№ 1–3**

ВОРКУТИНСКИЙ ПОСТСКРИПТУМ

Петров Виктор
Небеса Валерии Салтановой . . . . . **№ 1–3**

«ДОНУ» ВЫДАЧИ НЕТ!

Петров Виктор
Знамя и крест журнала . . . . . **№4-6**

О НАС ПИШУТ

Север на «Дону» . . . . . **№4-6**

Издаёт
ООО «Донское
книжное издательство»

Учредитель
и главный редактор
Виктор Петров

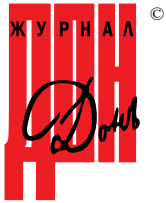
Редколлегия:
Анатолий Аврутин
г. Минск
Лев Аннинский
г. Москва
Владимир Берязев
г. Новосибирск
Валерий Дударев
г. Москва
Наталья Калинина
х. Пухляковский
Диана Кан
г. Новокуйбышевск
Пётр Краснов
г. Оренбург
Виктор Лихоносов
г. Краснодар
Игорь Михайлов
г. Москва
Александр Нестругин
с. Петропавловка
Михаил Попов
г. Архангельск
Вячеслав Сухнев
г. Москва
Аршак Тер-Маркарьян
г. Москва

Адрес: 344000 г. Ростов-на-Дону,
Красноармейская, 23
Телефон: 8-928-152-59-45
E-mail: donliter@yandex.ru

Рег. номер ПИ № ТУ61-00771
(зарегистрировано Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Ростовской области)

Редакция рассматривает все обращения,
но вправе не рецензировать
и не возвращать рукописи

Подписано в печать 10.11.2015
Формат 84 X 108/32
Печать офсетная. Усл. п. л. 13,5
Тираж 500 экз.
Заказ №
ЗАО «Книга»
344019 г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 57



Подписаться на Российский литературно-художественный журнал «Дон» можно по Объединённому каталогу Пресса России (зелёного цвета), индекс 42258.

Интернет подписка на журнал «Дон» также на сайте www.arpk.org.

Журнал «Дон» представлен на порталах:
«Читальный зал» – reading-hall.ru
«Мегалит» – promegalit.ru

Газета выходит к читателю с 2004 года и соединяет культурное пространство донского края. Тематика – музыка, искусство, литература, краеведение, профессиональное и самодеятельное творчество...

Адрес редакции:
344000 г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 23.
Тел.: 8-928-152-59-45
E-mail: donliter@yandex.ru